МАРШАК

Матвей Гейзер

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Самуил Яковлевич Маршак — талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу доктора филологических наук, профессора М. М. Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже «нового» Маршака — яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше (в 1904 году), чем принято считать.

- Гейзер М. Самуил Маршак
  - МОЙ ПУТЬ К ЭТОЙ КНИГЕ
  - ИЗ ДАЛЕКОГО ДАЛЕКА
  - ОТ ЧИЖОВКИ ДО ВИТЕБСКА
  - ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК
  - И СНОВА В ПУТЬ
  - КОГДА ЗВЕЗДЫ УЖЕ НЕ СТАЛО
  - ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УСПЕХИ
  - ПРОЩАЙ, ОСТРОГОЖСК!
  - В. В. СТАСОВ: «ТЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕМЕНИШЬ СВОЕЙ ВЕРЫ…»
  - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
  - НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
  - «И ТОЛЬКО РАННЯЯ СВОБОДА…»
  - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И РЕШЕНИЙ
  - ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
  - В АНГЛИИ
  - СНОВА В РОССИИ
  - НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1917 ГОД
  - НОВАЯ «ШКОЛА ПРОСТОЙ ЖИЗНИ»
  - В ЕКАТЕРИНОДАРЕ — КРАСНОДАРЕ
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТРОГРАД
  - «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТЫ ОТДАВАЛА ДАРОМ…»
  - МАНДЕЛЬШТАМ, МИХОЭЛС, МАРШАК
  - ЧУКОВСКИЙ И МАРШАК
  - ЛАУРЕАТ ЛАУРЕАТОВИЧ
  - ШЕКСПИРОМ ЗАВОРОЖЕННЫЕ…
  - «ЗАБЫТЬ ЛИ ДРУЖБУ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ?..»
  - «ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ…»
  - «ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ»
  - ФАДЕЕВ И МАРШАК

- «ЖИТЬ И В ПУТИ УМЕЙ»
- МАРШАК И ГЕЙНЕ
- МАРШАК, АХМАТОВА, БРОДСКИЙ
- О МОЛОДЫХ ПОЭТАХ
- ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
- «НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ТИШИНЫ…»
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С. Я. МАРШАКА
- ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Я бесконечно благодарен Иммануэлю Самойловичу Маршаку — без его участия этой книги не было бы вообще или она была бы совсем иной.

Особая благодарность Юдифи Яковлевне Маршак-Файнберг, Марии Андреевне Маршак, поведавшим мне много нового и интересного о Самуиле Яковлевиче.

Автор признателен внукам С. Я. Маршака — Алексею, Александру и Якову. Алексей Сперанский-Маршак, равно как и литературовед Эра Мазовецкая, помогал мне в поисках материалов о Маршаке в библиотеке Иерусалимского университета.

Я также благодарен В. Д. Берестову, В. Е. Субботину, В. И. Глоцеру, Р. М. Шавердовой], Б. И. Камиру, А. П. Межирову, Ю. Г. Круглову, Б. М. Сарнову, И. И. Эренбург за их советы и рассказы о С. Я. Маршаке.

Не хвастай, время, властью надо мной.
Те пирамиды, что возведены
Тобою вновь, не блещут новизной.
Они — перелицовка старины.

Шекспир

МОЙ ПУТЬ К ЭТОЙ КНИГЕ (Вместо предисловия)

Нет карьеры поэта — есть судьба поэта.

Самуил Маршак

Со стихами Самуила Яковлевича Маршака я познакомился задолго до встречи с ним. Немало лет прошло с тех пор, но я хорошо помню ту мартовскую ночь 1944 года. Маленькая комната на окраине гетто в местечке Бершадь на Подолии. За окном — кусочек черного неба, усыпанного звездами. Мне кажется, что звезды золотыми угольками летят ко мне. В испуге я отворачиваюсь, но какая-то неведомая сила поворачивает мою голову снова к звездам, и теперь уже я лечу к ним. Закрываю глаза ладонями, но становится еще страшнее: снова вижу улицу гетто; тысячи скорбных глаз провожают взглядом арбу с телами людей, расстрелянных немцами. Все это я видел совсем недавно — днем… Я хочу уснуть, но не могу — сон убегает от меня. Открыв глаза, вижу над собой маму. Она гладит мою голову, слезы навернулись на ее печальные карие глаза. «Спи, спи», — шепчет мне мама. Она пробует отвлечь меня, что-то рассказывает, но сказки, которые я любил всегда и под которые так быстро засыпал прежде, в ту ночь не утешили меня… И вдруг мама своим теплым голосом читает мне стихи о несчастной обезьянке, привезенной матросом из жарких стран. Уже много лет спустя я узнал, что стихи эти читала мне мама на идише — по-русски я тогда еще не говорил, — оказывается, их перевел друг моего отца поэт и педагог Бениамин Гутянский и подарил моей маме, работавшей воспитательницей детского сада, еще до войны. Вскоре, когда меня определили в детский сад, я читал эти стихи на русском языке:

Сидит она, тоскуя,
Весь вечер напролет
И песенку такую
По-своему поет:

Чудесные бананы
На родине моей.
Живут там обезьяны
И нет совсем людей.

А в ту бессонную ночь, когда услышал их впервые на идише, случилось необъяснимое — я почувствовал, как ушло оцепенение, охватившее мою детскую душу…

Такой была моя первая встреча со стихами С. Я. Маршака.

Закончилась война. Минуло еще несколько лет нелегкого послевоенного детства. 7 ноября 1948 года, в 31-ю годовщину Октября, меня принимали в пионеры. До сих пор помню, с каким воодушевлением читал я в тот день стихотворение «Наш герб»:

Мы не грозим другим народам,
Но бережем просторный дом,
Где место есть под небосводом
Всему, живущему трудом.
Не будет недругом расколот
Союз народов никогда.
Неразделимы серп и молот,
Земля и колос, и звезда!

Текст этого стихотворения мне вручила пионервожатая, и только когда я прочел его «под бурные аплодисменты» одноклассников, наша учительница объявила: «Эти стихи написал замечательный детский поэт Самуил Яковлевич Маршак».

В тот день я попросил в школьной библиотеке книгу стихов Маршака, но на абонементе книг не оказалось — все были на руках. Заметив мое огорчение, первая моя учительница, замечательная Евгения Трофимовна Райская принесла мне из дома тоненькую книжечку, изданную после войны. На обложке я прочел: «С. Маршак. Сказки. Песни. Загадки». Вскоре я уже знал почти всю книжечку наизусть; и еще я почувствовал непреодолимое желание сочинять стихи. Когда учился в 5-м или 6-м классе, прослыл среди своих однокашников, да и во всей школе, поэтом. В нашем классе, где никого не обошли прозвищами (был у нас Ленька — паяльник, Ваня — Соловей-разбойник), мое имя казалось, забыли все, а я откликался на прозвище Ямб Хореевич. Стихи писал обо всем и обо всех: громил двоечников и космополитов (!), славил отличников и хорошую погоду.

Старшеклассники заказывали мне стихи для любимых, и я выполнял их заказы в течение одного урока. Хотя я был физически слаб, не боялся никого, даже Соловья-разбойника и «королей» школы — послевоенных переростков, севших за парту в «солидном» возрасте. Еще бы! По заказу Славы Воронина,

прозванного Дубом, я написал «поэму», которую он выдал Наде Смотровой, самой красивой девочке в школе (в нее были влюблены все мальчики), за свою. В тот же день был удостоен ее поцелуя. И возник детский роман…

Я так много писал «по заказу», что не оставалось времени влюбиться самому. И все же «пора пришла». Я влюбился в Риту Иванову и посвятил ей стихотворение, отдельные строки которого помню и сегодня:

Среди трав в одичалом поле
Маргаритка росла одна.
Ветер ей напевал о раздолье,
Но не слушала пенье она.
А однажды сорвавшийся ветер
Маргаритку с собой унес.
Никого на пути не встретив,
Маргаритка грустила до слез…

С легкой руки Риты Ивановой стихотворение это стало достоянием всего класса. И тогда весь наш 6 «А» решил: дальше нельзя скрывать мой «талант» (а может быть, он гений!); нужно, чтобы обо мне узнали в Москве. Девочки аккуратным почерком переписали мои стихи из стенгазет, альбомов и послали это «собрание сочинений» из 27 стихотворений в «Пионерскую правду».

Долгим и томительным было ожидание ответа. На переменах дежурные отправлялись в киоск за свежим номером «Пионерки» и жадно искали в каждой газете мои стихи. Едва ли не в каждом номере были стихи — но, увы! — не мои.

Наконец, месяца через два, ответ из Москвы пришел. Очень короткий. Меня хвалили за искренность, умение видеть окружающую жизнь. Рекомендовали читать стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. А печатать стихи еще рано…

Возмущению моих одноклассников не было предела. Кто-то предложил послать в Москву делегацию пионеров во главе с директором школы. Но до директора дело не дошло. Выход предложил мудрый и всегда спокойный Дима Мурзиди: «Нам может помочь только один человек на свете — Самуил Яковлевич Маршак».

Сказано — сделано: на следующий день Дима отправил письмо с моими стихами по адресу: «Москва, любимому нашему поэту Маршаку». И оно дошло до адресата, и ответ пришел очень скоро. Самуил Яковлевич подробно разобрал одно из 27 стихотворений, не оставив «камня на камне». Ответ его

заканчивался словами: «Хорошие читатели нужны не меньше, чем хорошие писатели».

С тех пор стихи я писал лишь изредка, но чтение стихов осталось моим любимым занятием, и я совершенно по-новому открыл для себя многих поэтов.

Со временем я забыл и о письме от Самуила Яковлевича, и о том, что я был Ямбом Хореевичем, но судьбе, видимо, было угодно не разлучать меня с Маршаком.

Не помню, кажется, в 1960 или 1961 году в каком-то толстом московском журнале я прочел подборку стихотворений Самуила Яковлевича. Среди них было такое:

Не надо мне ни слез, ни бледных роз —
Я и при жизни видел их немало.
И ничего я в землю не унес,
Что на земле живым принадлежало.

Я почти физически ощутил состояние Самуила Яковлевича в ту пору. Решил послать ему письмо. Не удержался от соблазна — вложил в конверт несколько своих стихотворений. Вскоре получил от С. Я. Маршака очень доброе письмо. Он благодарил меня за внимание, просил писать и звал в гости…

В 1963 году я был в Москве и за день до отъезда отважился позвонить Самуилу Яковлевичу.

— Это Марк[1]? Из Аккермана? Где вы сейчас? Я жду вас, немедленно приезжайте!

Самуил Яковлевич говорил еще что-то, кажется, подробно рассказывал, как ехать к нему, но от волнения я уже ничего не воспринимал.

Я уже хорошо знал дом № 14/16 по улице Чкалова. Войдя во двор, я долго в нерешительности простоял у 13-го подъезда. Гулявшие во дворе люди уже с подозрением поглядывали на меня.

Наконец, я поднялся на третий этаж, увидел справа от лифта квартиру 113 и, протянув руку к кнопке звонка, услышал за дверью голос Самуила Яковлевича. Он кому-то говорил: «Сейчас придет ко мне Марк, и мы вместе пообедаем».

Я позвонил. Дверь открыла пожилая женщина: «Марк? Меня зовут Розалия Ивановна». Из комнаты, расположенной справа от прихожей, опираясь на палочку, вышел Маршак, маленький, очень худой, по-детски беспомощный.

Хорошо сшитый из плотной ткани серого цвета пиджак буквально висел на его плечах. И только по взгляду — удивительному маршаковскому взгляду, знакомому мне по

фотографиям, я узнал Самуила Яковлевича.

— Ну наконец-то, голубчик, вы пришли. Я ведь объяснил вам, как скорее добраться. Ну, ничего! Раздевайтесь, Марк. — И он помог мне снять пальто и сам повесил его на вешалку, расположенную в прихожей слева.

Розалия Ивановна, воспользовавшись занятостью Самуила Яковлевича, сказала:

— Вы, наверное, устали и давно не ели. Мы не обедали в ожидании вас. — А потом украдкой шепнула: — Самуил Яковлевич ничего не ест, может быть, с вами хоть что-то перекусит.

Мы вошли в маленькую комнату, в ту, из которой только что вышел Маршак.

Первое, что бросилось мне в глаза, — обилие книг, и на стене справа от двери — ковер с вытканным на нем портретом Роберта Бёрнса.

— Это подарок моих шотландских друзей.

Вскоре Розалия Ивановна вкатила в комнату столик на колесиках, на нем была еда. Особенно аппетитно выглядела миска с солеными огурцами. Я даже сглотнул слюну.

— Самуил Яковлевич, вы как хотите, а Марка надо покормить, он с дороги.

Маршак будто не слышит ее слов и обращается ко мне:

— Так вы в школе работаете? Читают ли дети? Чем интересуются?

Я отвечаю как-то невнятно, не слыша сам себя.

— А стихи по-прежнему пишете? Это хорошо!

Чувствую, что кровь прихлынула к вискам, и в ушах — шум.

— Не пишу я стихов, Самуил Яковлевич, давно не пишу, и не хочется! Стихи, которые прислал вам в последнем письме, давнишние.

— Но в них есть неплохие строки… — И Самуил Яковлевич прочел по памяти:

Якир! Бой неравный под Лиски.
Сраженья. Победы. Любовь.
Бойцом, а не обелиском
Мы в жизнь возвращаем вас вновь!
Нет, жизнь по годам не считают.
И тем только дань отдают,
Кто смерть навсегда побеждает
В неравном и смелом бою.

Я ничего не мог понять, даже растерялся: неужели к моему

приходу Самуил Яковлевич перечитал мое письмо и выучил стихи наизусть? (Много позже, в воспоминаниях писателя Л. Пантелеева о Маршаке я прочел: «Поражала фантастическая, какая-то колдовская память Маршака… Он с единого раза, пробежав глазами страницу вроде „Ночного обыска“ Хлебникова, запоминал ее всю и на другой день читал уже наизусть почти без запинки»).

— А это помните? — продолжал Самуил Яковлевич:

Я в жизни многого изведал.
Не зная сам, чего желал,
Мечту свою ласкал и нежил,
И всюду радость бурь искал.
Я против ветра шел упрямо,
Не гнулся, не смотрел назад
И даже там, где был не прав я,
Был все же новым бурям рад.

Даже сквозь толстые линзы очков внимательные глаза Самуила Яковлевича излучали доброту.

— Как многие одесситы, Марк, вы любите «родительного падежа». Теперь-то, голубчик, вы воистину «многого изведали», коль перестали писать стихи… А читать стихи продолжаете? Шекспира читали?

— Даже знаю наизусть!

В день нашего знакомства я получил от Маршака первый «шекспировский» урок. О нем рассказано в главе этой книги «Шекспиром завороженные».

— Есть еще один поэт, которого я очень люблю и перевожу уже десятки лет, — рассказывал мне при первой встрече Самуил Яковлевич. — Это Блейк. За пятьдесят с лишним лет я опубликовал переводы произведений многих поэтов, а книгу переводов из Блейка пока не решаюсь. Хочется еще побыть с Блейком наедине. Правда, однажды — но это было давным-давно, в 1916-м, — я поместил в журнале «Северные записки» цикл переводов из Блейка — восемь стихотворений. А в 1927 году, когда после длительного перерыва в нашей переписке я получил письмо от Алексея Максимовича Горького из Италии, он в нем спрашивал, продолжаю ли я работать над переводами из Блейка… (Быть может, Горького мучили угрызения совести? Ведь именно он несколькими годами раньше, как пишет в своем Дневнике К. И. Чуковский (запись 31.08.29), когда «Маршак предложил во „Всемирную“ свои переводы из Блейка…забраковал

их (из-за мистики)…» — М. Г.). Удивительный поэт и замечательная личность. Он был сыном ремесленника и всю свою долгую жизнь провел в праведности и труде. Поэт, гравер, художник, глубоко религиозный человек… Вот уже пятьдесят второй год пошел с того дня, как я веду беседы с Блейком.

В 1963 году, когда я навестил Самуила Яковлевича, он был уже тяжело болен. Дышать ему было трудно, а говорить — еще труднее. Он много курил, и от этого приступы кашля учащались. Я несколько раз пытался уйти, но Самуил Яковлевич не отпускал меня. Розалия Ивановна под разными предлогами заходила к нам и очень вежливо, но настойчиво повторяла: «Уже темно. Марку далеко ехать. Он завтра придет. Правда, Марк?» — «Постараюсь», — говорил я, зная, что это невозможно: уезжаю завтра в первой половине дня. И больно мне становилось при мысли, что, вероятно, я больше никогда его не увижу…

Он попытался встать, чтобы проводить меня, но кашель не позволил ему подняться. Отдышавшись, Самуил Яковлевич сказал:

— Побудьте еще несколько минут, я хочу проводить вас до лифта. — Он был очень бледен.

И снова я вспомнил войну, маму, читающую мне стихи Маршака. Неужели этот человек, такой печальный сегодня, когда-то написал стихи:

Весной поросята ходили гулять.
Счастливей не знал я семьи.
«Хрю-хрю», — говорила довольная мать,
А детки визжали: «И-и!»

В этих раздумьях провел я какое-то время. Самуил Яковлевич снова закурил и сказал:

— В молодости я работал воспитателем. Знаете, что самое главное в педагогике? Не подгонять взросление детей! Природе угодно, чтобы дети оставались детьми. Еще в далекой древности реб Аба, знаменитый толкователь Торы, поучал: «У детей учитесь мудрости». Сейчас, мне кажется, в школе подгоняют «взросление». Не спешите с этим и передайте это своим коллегам!

Я уже забыл об усталости Маршака и почему-то рассказал ему эпизод из своего детства. Мой дедушка, собрав последние гроши, купил мне скрипку и повел к учителю Илье Израилевичу. Я не хотел играть на скрипке. После второго занятия выменял ее на бутсы и футбольный мяч. Месяц я обманывал дедушку — говорил, что иду к Илье Израилевичу. Но потом не выдержал и

признался. Слезы навернулись на бледно-голубые глаза дедушки; растирая их по лицу, как обиженный ребенок, он проговорил: «Наверное, ты прав, внук мой. После детства в гетто мяч нужнее скрипки…» В комнату вошла бабушка. «Что с тобой, Гершка, почему ты плачешь?» — спросила она его. «Я не плачу, — ответил дедушка. — Слезы сами льются. Плачется… Сегодня ночью я думал о Мойшелэ (так звали моего отца, погибшего в гетто). Знаешь, что бы он мне сказал? „Я вымолил у Бога вашу жизнь, и я хочу, чтобы мой сын был счастливее меня. Не заставляйте его играть на скрипке. Купите ему мяч и ботинки, и пусть он играет в футбол“…»

В этот момент улыбка буквально озарила лицо Маршака.

— Знаете ли вы, Марк, что о вас писал сам Роберт Бёрнс? — И прочел мне стихи, которые до того дня я никогда не читал.

Беспутный, буйный Вилли
Поехал на базар.
Продать хотел он скрипку,
Купить другой товар.

Но, скрипку продавая,
Заплакал он над ней.
Беспутный, буйный Вилли,
Вернись домой скорей!

— Продай свою скрипку, Вилли.
Продай и смычок, старина.
Продай свою скрипку. Вилли,
И выставь нам пинту вина.

— Ах, если бы продал я скрипку,
Безумным меня бы сочли.
Не раз мы счастливое время
Со скрипкой моей провели!

Прочитав эти стихи, Маршак уже не улыбался, а буквально хохотал. Он снова закашлялся, но на сей раз не от сигарет, и продолжал смеяться, даже кашляя. Что-то непосредственное, искренне-детское было в этом смехе, и я в тот миг подумал, что умение возвращаться в детство — все равно что умение возвращаться в прошлую, вечную правду…

— Умница ваш дедушка, ох, умница! О, эти замечательные местечковые старики! Сколько мудрости, юмора и печали хранили они в своих сердцах!.. Помню, мой дедушка — кстати, он

был прямым потомком известнейшего талмудиста XVII века Аарона Шмуэля Койдановера, часто повторял: «Бедняк радуется тогда, когда теряет, а потом находит то, что потерял».

Слова эти, как я понял позже, не случайно вырвались у Самуила Яковлевича. Слушая рассказ о моем дедушке, он, конечно же, вспомнил своего витебского деда Боруха Гиттельсона.

…Нашу беседу прервал телефонный звонок.

— Кто звонит, Розалия Ивановна? Элик?

Самуил Яковлевич снял трубку.

— Элик, у меня гость. Марк из Белгорода-Днестровского, да, да, из Аккермана, того самого пушкинского Аккермана, помнишь:

Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль) —
Тогда боялись мы султана,
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана…

Самуил Яковлевич протянул мне несколько листков своих переводов из Блейка, не прекращая разговора по телефону. На одном из них я прочел стихотворение «Школьник». Как учитель, обратил внимание на его актуальность, даже переписал две строфы:

Но днем сидеть за книжкой в школе —
Какая радость для ребят?
Под взором старших, как в неволе,
С утра усаженные в ряд,
Бедняги-школьники сидят.

С травой и птицами в разлуке
За часом час я провожу.
Утех ни в чем не нахожу.
Под ветхим куполом науки,
Где каплет дождик мертвой скуки.

Самуил Яковлевич положил телефонную трубку.

— Это звонил мой сын, единственный оставшийся в живых из моих детей. Очень способный! Лауреат Лауреатович! Днем он физик, а по вечерам и по ночам — литератор. Уже больше десяти

лет работает над переводом романа Остин. Это замечательная английская писательница. Жаль, что пока ее у нас не знают… Да и Блейк нашим читателям известен очень мало. Он был не только великий поэт, но и прекрасный художник и выдающийся философ. Как часто повторяю я его афоризм: «Вечность влюблена в творчество времени». Я мечтаю издать сборник стихов и афоризмов Блейка в моих переводах, проиллюстрированный рисунками автора…

Этой мечте Самуила Яковлевича, увы, не суждено было осуществиться при его жизни — сборник избранных стихов и афоризмов В. Блейка был издан в 1965 году, год спустя после смерти Маршака. А в тот день он попросил меня прочесть стихотворение «Школьник», напечатанное на пишущей машинке. Правок было так много, что читать мне было нелегко, но я старался.

— Ваши воспитанники, наверное, рассуждают так же, как школьники времен Блейка? — спросил Самуил Яковлевич. И, не дожидаясь моего ответа, сказал: — Впервые это стихотворение было опубликовано в «Северных записках» еще в 1916 году. А сегодня я снова к нему вернулся… — А Пушкина любите? — неожиданно переменил тему Самуил Яковлевич и, не дожидаясь ответа, прочел «Анчар», а потом несколько вариантов этого стихотворения. Я знал, что Маршак помнит всего Пушкина наизусть, но мне показалось, что он читал разные варианты «Анчара», чтобы открыть что-то новое, неведомое мне. В этот момент я уже не мог «конспектировать» Самуила Яковлевича — он с таким «жаром» объяснял мне извечную философию пушкинского «Анчара» и так изучающе смотрел мне в глаза, что, казалось, сомневался, понимаю ли я то, что он говорит.

И еще услышал я от Маршака в тот день:

— Мне не было и пятнадцати, когда Владимир Васильевич Стасов предложил мне написать стихи, посвященные памяти скульптора Антокольского (Я тогда впервые услышал, что есть у Маршака такие стихи. — М. Г.). Когда я принес ему стихи, в его кабинете я увидел композиторов Глазунова и Лядова. Едва ли не в первую минуту моего прихода Анатолий Константинович (Лядов) спросил меня, люблю ли я Пушкина. Не задумываясь, я ответил: «Очень! Но больше люблю Лермонтова». Анатолий Константинович, нагнувшись ко мне, ласково, но очень убедительно сказал: «Любите Пушкина». Наверное, тогда я еще до Пушкина не дорос, но вскоре понял, почему Лядов так сказал. Вот и сегодня говорю всем: «Любите Пушкина».

Однажды Тамара Григорьевна Габбе рассказала мне о мальчике Саше, сыне ее лечащего врача. Зрение у него

катастрофически падало, а очки он носить не хотел. Надо было спасать ребенка, и я написал стихотворение «Очки». Получив такой подарок, Саша все-таки надел очки. А позже я получил сотни писем со всех концов Союза — родители благодарили меня за эти стихи.

В жизни бывают удивительные встречи… В 1969 году, работая в одной из школ Москвы, я обратил внимание на восьмиклассника Сашу Ф. Оказалось, что это тот самый мальчик, который не хотел носить очки. Я заговорил с Сашей о Самуиле Яковлевиче, и он рассказал мне подробно историю стихотворения «Очки»:

— В детстве я был лучшим футболистом нашего двора. Меня называли Дворовым Пеле. Несмотря на возраст, я был капитаном футбольной команды. И вдруг мне — очки? Представив себе весь ужас положения, я убежал из дому. Мама вместе с Тамарой Григорьевной нашли меня. Мне было обещано все, даже сенбернар. Только чтобы носил очки. Но и сенбернар не смог бы заменить мне футбол… Месяца через три-четыре под Новый год среди прочих подарков под елкой я нашел и дар Тамары Григорьевны — книжечку Маршака с автографом и — настоящие очки.

Летом 1964 года, прочитав в «Литературной газете» сообщение об образовании Комиссии по литературному наследию С. Я. Маршака, я отправил по указанному адресу все имевшиеся у меня материалы: два письма Самуила Яковлевича, письмо Л. Орловской — его секретаря и свое письмо, в котором рассказал о встрече с поэтом.

Не помню, сколько времени прошло с того дня, но отчетливо помню свое состояние, когда получил из Москвы большой конверт с адресом, написанным почерком Самуила Яковлевича, и подпись точь-в-точь его. Я буквально опешил. Потом еще раз внимательно присмотрелся и увидел, что в подписи перед фамилией стоит буква «И». Это было письмо от сына Самуила Яковлевича, того самого, с которым он при мне разговаривал по телефону.

Иммануэль Самойлович прислал мне письмо и составленную им маленькую книжечку стихов С. Я. Маршака. Вот фрагмент этого письма от 27 октября 1964 года: «…Я получил из редакции „Нового мира“ для архива моего отца, С. Я. Маршака, большое количество писем читателей с откликами на смерть Самуила Яковлевича. Ваше горячее письмо очень меня тронуло, и я захотел написать Вам об этом, а также послать Вам книжечку моих самых любимых лирических стихов отца, которую я

составил.

Мне кажется, что своими стихами отец встречает молодых людей у самого порога их сознания (Ваше письмо прямо это подтвердило) и провожает старых людей до угасания мысли — это особенно явствует из этой книжки и печатаемой сейчас книги последних его стихов — лирических эпиграмм (большинство их печаталось в „Новом мире“)…

С сердечным приветом,

Иммануэль Самойлович Маршак».

Я тут же ответил Иммануэлю Самойловичу, переписка наша стала регулярной, а в 1966 году мы познакомились. Наше знакомство постепенно перешло в дружбу, ее прервала лишь его преждевременная смерть.

27 сентября 1968 года Иммануэль Самойлович предложил мне сотрудничать в Комиссии по литературному наследию С. Я. Маршака. Вот его письмо по этому поводу:

«Ученому секретарю Государственной публичной библиотеки им. Ленина.

В связи с подготовкой Собрания сочинений С. Я. Маршака Комиссия Союза писателей СССР по литературному наследию поэта обращается к Вам с просьбой разрешить общественному сотруднику Комиссии тов. Гейзеру Марку Моисеевичу ознакомиться в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина с имеющимися в его фондах материалами С. Я. Маршака.

Ученый секретарь Комиссии по лит. наследию С. Я. Маршака — доктор технич. наук /И. Маршак/».

Так началось мое «путешествие в страну Маршака».

Со дня моей встречи с Самуилом Яковлевичем прошло больше сорока лет. Давно уже нет не только Самуила Яковлевича, но и Иммануэля Самойловича. Но я по-прежнему бываю в доме на Чкаловской — в этом есть какое-то продолжение моего общения с Маршаком, его творчеством. С таким же волнением, как и в 1963 году, вхожу в прихожую, где когда-то впервые увидел Самуила Яковлевича. Теперь здесь встречаюсь с женой Иммануэля Самойловича — Марией Андреевной, с внуками Маршака — Алексеем, Яковом, Александром. Порой мне кажется, что дружба с этими людьми завещана мне Самуилом Яковлевичем.

Вот, пожалуй, и все, что хотел рассказать читателям, предваряя книгу о Маршаке.

ИЗ ДАЛЕКОГО ДАЛЕКА

Ранней весной 1886 года в Чижовку, пустынную окраину Острогожска, раскинувшегося на берегах реки Тихая Сосна, въехала пролетка, запряженная парой лошадей. Рядом с кучером

чинно восседал мужчина. Аккуратная бородка и изящное пенсне придавали ему вид этакого разночинца середины XIX века. С виду ему было лет тридцать. И лишь глубокая морщина, пролегшая меж бровей, разделившая пополам лоб, говорила о том, что забот этому еще далеко не пожилому человеку выпало по жизни немало.

На заднем сиденье расположилась женщина с ребенком на руках. Гордая ее осанка чем-то напоминала «Неизвестную» Крамского. Она выглядела моложе мужчины, сидевшего рядом с кучером. В глазах ее голубовато-василькового цвета нет-нет да появлялся блеск, излучаемый обычно в юности. Но была в ее глазах едва уловимая грусть, скорее усталость. Быть может, сказалось длительное путешествие. Лошади двигались с ленцой, пассажир, сидевший на переднем сиденье, оглянулся и, улыбнувшись, сказал:

— Уже почти приехали.

— Яков, это то самое райское место на земле, куда ты привез меня и Моню? — с насмешкой спросила женщина.

— Не сомневаюсь, скоро ты сама убедишься в этом.

Второй их сын родился вскоре после приезда в этот городок — 3 ноября 1887 года. Нарекли его Самуилом — быть может, в честь одного из известных библейских пророков, последнего из судей израильтян — за ним наступила эпоха Царей; а может быть, новорожденного нарекли этим именем в память кого-то из предков. Спустя много лет, уже в преклонном возрасте, Самуил Маршак напишет: «Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи». А тогда, в тот пасмурный мартовский день 1886 года, экипаж остановился у ворот «Мыловаренного завода братьев Михайловых».

Яков Миронович — так звали отца семейства — спрыгнул с пролетки, рассчитался с извозчиком, взял годовалого ребенка на руки, и вся семья направилась на заводской двор. Навстречу им шел улыбающийся, слегка подвыпивший человек с метлой в руках. Он явно обрадовался гостям:

— Родион Антонович просили вам передать, что будут здесь к обеду.

Внимательно посмотрев на женщину и, наверное, уловив в глазах ее тревогу, он сказал:

— Вам здесь понравится, мадам. Где же еще на свете есть место красивее и тише, чем наша Чижовка?

Потом пошел к пролетке и вскоре принес вещи к старому дому, спрятавшемуся где-то в глубине двора.

Яков Миронович родился в 1855 году в Западной Белоруссии, в каком-то местечке недалеко от Минска. Он был обладателем редкой, казавшейся странной фамилии Маршак. И в паспорте значился: «койдановский мещанин Минской губернии». Стало быть, предки его вели свой род из местечка Койданов — небольшого городка на реке Нетече, впадающей в Двину. Давным-давно, в XII веке, когда земли эти принадлежали России, небольшой этот поселок назывался красивым русским словом Крутогорье, но в конце XII века был завоеван татарским военачальником по имени Койдан и переименован в его честь. В 1249 году войска Миндовга — литовского православного князя — отвоевали этот город у татар (заметим, что евреи в ту пору сражались бок о бок с литовцами и поляками, за что в 1264 году король Болеслав пожаловал евреям охранную грамоту), но название его — Койданов — сохранилось до наших дней.

Итак, койдановский мещанин Яков Маршак приехал в Чижовку, эту забытую богом окраину Острогожска, по приглашению хозяина мыловаренного завода, пришедшего к тому времени в полный упадок. Последняя надежда была на Якова Маршака — человека, слывшего мастером своего дела. Пройдут годы, и его сын Самуил напишет об отце: «В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на большее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей».

Небезынтересна история предков Якова Мироновича Маршака. Далекие пращуры его уже в начале XVII века обитали в Койданове, затерявшемся на восточной окраине Речи Посполитой, могущественного литовско-польского государства. В конце XVI — начале XVII века в Койданове была большая еврейская община. Правители Речи Посполитой предложили евреям своей страны поселиться на новых территориях, дабы развивать там торговлю и ремесла. Они обещали евреям защиту от местного населения, но аборигены, конечно же, не были в восторге от появления на их землях иудеев. Между тем в Речь Посполитую стали приезжать иудеи со всей Европы. Об одном из них, еврее по имени Шауль, выходце из Италии, существует

легенда. Он был умен и удачлив и вскоре оказался при дворе польского короля Батория. Могущественный и щедрый владыка даровал Шаулю звание Слуга короля. Предки Шауля были из Брест-Литовского — небольшого городка Минской губернии. Кто знает, говорит легенда о Шауле, возможно, Шауляй был назван в честь него. Существует предание, что после смерти Стефана Батория на должность короля было много кандидатур. Выборы длились целую ночь, и всю эту судьбоносную ночь королем Польши был еврей-талмудист по имени Шауль. Недолго царствовал Шауль. Наверное, тогда возникла пословица: «Дай Бог тебе царствовать больше, чем Шауль». Наутро королем избрали шведского принца Сигизмунда. И, как оказалось, выбор был весьма удачным — он правил почти пятьдесят лет. Этот потомок польской династии Ягеллонов в 1551 году даровал евреям все права, даже право назначать судей и выбирать раввина, то есть полное самоуправление, но даже при таком добром отношении к себе евреи Польши не пытались «сделаться» поляками: храня память о своих героях (от Моисея до Самсона), они прежде всего оставались верными своему Богу. В этом решающей была мудрость раввинов, мудрость Каббалы[2].

Город Койданов, еврейская община которого процветала в конце XVI — начале XVII века, был бы, наверное, сегодня забыт историей, если бы не сын койдановского равва Израиля. Звали его Аарон бен Израиль Шмуэль. Родился он в 1614 году. Шмуэлю еще не было тринадцати, когда ему доверили вести проповеди в синагогах, иешивах, а также участвовать в диспутах с почтенными раввинами. Уже в отрочестве Шмуэль бен Израиль позволял себе рассуждать о многих премудростях иудаизма. Мало того, он позволял себе высказывать это мнение вслух. О нем ходили легенды. Вот одна из них: «Шмуэлю шел шестой год, когда во время возникшего в Койданове пожара сгорел дом его родителей. Увидев отчаявшегося отца, сидящего у пепелища, рыдающую мать, Шмуэль спросил:

— Разве Бог разрешает так горевать из-за сгоревшего дома? Он поможет нам построить новый дом.

— Не из-за дома я горюю, — сказал равв Израиль, — плачу из-за сгоревших свитков, где значилось наше семейное древо, восходящее к самому мудрецу Гиллелю.

Даже не задумываясь, Шмуэль сказал:

— Мы создадим новые свитки, и наше семейное древо будет начинаться с меня».

Героем этой легенды был не только Шмуэль из Койданова, но еще многие вундеркинды, в частности — равв Бауэр из Межерича, родины Баал-Шем-Това — основателя хасидизма. Со временем

Шмуэль из Койданова стал одним из самых знаменитых толкователей Торы[3], Талмуда[4], Мишны[5], Мидраша[6]. Пройдет почти три столетия, и дальний потомок Шмуэля Махаршака — Самуил — переведет на русский язык отрывки из Мидраша:

…Но однажды он почуял
Ужас близкого бессилья…
Это было в яркий полдень —
В полдень солнечного дня.

Он проник в бездонность неба,
Он влетел, сжигая крылья,
В море радужного солнца —
В бездну знойного огня!

И упал. И знают люди,
Где таится он в покое…
Но приют его — не горы,
Не долина, не скала,
Где клюет добычу ворон…
Дно холодное, морское —
Одинокая могила
Одинокого орла.

В еврейской истории Шмуэль бен Израиль Койдановер остался под именем Маха̄ршак (х̄ — не читается). Фамилия эта произошла от сокращения званий и имени Аарона Самуила бен Израиля Койдановера («М» — маре (учитель), «Р» — раввин, «Ш» — Шмуэль (Самуил), «К» — скорее всего, от местечка Койданов, но, возможно, и от слова «Кохен» (потомков священного рода Аарона), а может быть, от родовой фамилии «Клюгер» — «Умный»).

Уже в отроческом возрасте Шмуэлю в Койданове учиться было не у кого. На средства общины его послали в Вильнюс — город, известный своими учеными — толкователями Торы, в город, не случайно названный Ерушалаим-де-Литте. Вскоре имя его стало известно во всех еврейских общинах Речи Посполитой. Он писал интерпретации гемары — одного из труднейших разделов Талмуда, сочинял трактаты по Торе. Шмуэлю едва исполнилось тринадцать лет, когда по воле койдановского раввина Израиля и вильнюсского учителя законов Торы Лазаря Краама его женили на дочери достопочтенного ребе. Этот ортодоксальный вильнюсский раввин, впрочем, как и Израиль из

Койданова, не очень жаловал евреев, интересовавшихся чем-то еще кроме Торы. Светские науки он считал выдумкой греческих мыслителей, выдумкой ненужной, вредной истинному иудею. Надо ли говорить, что все это не прошло бесследно для Шмуэля. Изречение: «Мудрость, ниспосланная божественным откровением Торы, неисчерпаема до конца» стало законом его жизни. Потом учителем его стал Иошуа Гешель бен Яков из Люблина — один из величайших талмудистов и каббалистов XVII века. Иошуа Гешеля и отца его Якова Шмуэль Койдановер называл своими учителями, не раз цитировал их в своих книгах.

Родились в семье Шмуэля трое детей — сын и две дочери. Но недолгим оказалось семейное счастье Шмуэля: Россия не хотела, не могла смириться с потерей своих территорий и, собрав большую армию, начала кампанию по освобождению захваченных поляками и литовцами земель. Койданов оказался первым на пути русской армии, и, естественно, ему досталось: «московичи» уничтожили город, жестоко расправились с жителями. Среди немногих выживших оказалась и семья Шмуэля Койдановера — ей удалось добраться до Вильнюса. Быть может, так решила судьба, чтоб было кому поведать о том, что произошло в Койданове в ту пору. Беды семьи Шмуэля Махаршака на этом не закончились: в 1655 году казаки вместе с армией «московичей» подошли к Вильнюсу. Разумеется, евреи поспешили покинуть город. Шмуэль Махаршак, уложив в телегу книги — самое большое свое богатство, вместе с семьей вслед за телегой пешком отправился на юг.

В предисловии к своей книге «Молитва жертвоприношения» он поведал, что произошло с ним и его семьей во время этого путешествия. Они вынуждены были бежать в 1656 году из польского Люблина в один из самых радостных для евреев день — праздник Кущей[7]. Вблизи Люблина семью настиг один из отрядов Богдана Хмельницкого. Уничтожив библиотеку, вдоволь поиздевавшись над женой и дочерьми, казаки убили их. Шмуэлю же, раненому, истекающему кровью, вместе с сыном удалось добраться до Моравии. Там еврейская община, немало наслышанная о нем, приняла его и поддержала. (Здесь заметим: во время чудовищной резни, учиненной Хмельницким, было уничтожено около 800 еврейских общин.) В Моравии Шмуэль, побывавший раввином в Брно, Пельзени, издал немало своих сочинений, большая часть которых до нас, увы, не дошла. Шмуэля Махаршака почитали как одного из мудрейших раввинов того времени. Он отличался остротой ума, глубоким знанием Священного Писания. Его книги, такие как «Молитва жертвоприношения» (1669), «Молитва Шмуэля» (1682) и

«Искусство Шмуэля» (1683), не потеряли своей значимости и сегодня.

Шмуэль Махаршак прожил 62 года. Он служил раввином во многих еврейских общинах Моравии, Германии, Польши. Более всего его любили и ценили за честность и преданность вере.

Сын его — Гирш Шмуэль Койдановер Махаршак выбрал дорогу отца. Он вернулся из Кракова в Вильнюс, узнав о происшедшем в его родном городе жесточайшем еврейском погроме. Гирш Махаршак сделал многое для возрождения в Вильнюсе еврейской общины. Но истинную славу обрел благодаря своим учениям, изложенным в нескольких книгах. Гирш Койдановер был раввином во многих еврейских общинах Литвы, а позже — в Минске.

О нем сохранилось немало рассказов, легенд, похожих на притчи. Известно, что в Вильнюсе, где его усилиями была возрождена еврейская община, он по ложному доносу был арестован и вместе с семьей томился четыре года в тюрьме. Можно не сомневаться, что к его аресту были причастны заправилы кагала. Вот что написал он в своей книге «Kaw Hajaschar»: «Этими сетями (греха) спутаны многие заправилы общины. Тщеславием и властолюбием они вселяют в народ великий страх, но не во имя Господа. Сами они пользуются исключительными льготами, по отношению же к народу не проявляют никакого попечения при раскладе налогов. Сами они стараются платить возможно меньше, других же обременяют чрезмерно. При почестях и наградах они всегда первые; лица их пылают от обильных напитков, они тучны и сильны, ибо ни в чем себе не отказывают. А община, дети Авраама, Исаака, Иакова угнетены и разоряемы, они ходят босыми и нагими, потому что их грабят шамеши (Служки синагог. — М. Г.), взимающие налоги, и кагальные прислужники, с ожесточением врывающиеся в дома обывателей; они… дочиста обирают обитателей дома, они даже забирают их платья, их талесы и саваны… Даже подушки они отнимают, и у обывателей остается одна только солома в кроватях; в стужу или дождь домочадцы дрожат от холода и, сидя каждый в отдельном уголке, плачут… Но есть и такие заправилы, которые… едят и пьют на общинные деньги. Из этих же денег они дают приданое своим сыновьям и дочерям; все это награбленное добро — из трудовых денег еврейских обитателей… Такие главари едят кровь и плоть еврейского народа, грабят бедных, сирот и вдов…»

Гирш Койдановер издал сочинения отца, обогатив их своими комментариями (что-то похожее в наше время сделал сын Самуила Яковлевича Маршака — Иммануэль Самойлович, издав

его восьмитомное Собрание сочинений). На книге Гирша Койдановера «Правильная мера» остановимся подробнее. Она наполнена мрачным аскетизмом, и это не случайно — вспомним, как много пришлось пережить и самому Гиршу Койдановеру, и польским евреям той эпохи. Есть в книге такие слова: «О человек, если бы ты знал, сколько дьяволов жаждут твоей крови, то ты бы всецело и телом, и душою подчинился Господу Богу».

Гирш Койдановер был не последним священнослужителем в роду Маршаков. Раввинский род Маршаков завершился лишь в начале XX века. Последними из священнослужителей-Маршаков были Реувен Авраам Маршак (1810–1910) и Шимон Ицхак Маршак, родившийся в 1850 году (дата приблизительная).

Яков Миронович Маршак — прямой потомок Шмуэля и Гирша Койдановеров. «Отец Якова Мироновича был человеком огромной физической силы, крутым и деспотичным, требовавшим соблюдения в доме порядка и обрядности, — писал Самуил Яковлевич. — Его старший сын Яков еще в отрочестве взбунтовался против „косности“ отца и стал жить по своему разумению… У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из „светлых личностей“, другая — из отъявленных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях — в „светлых личностях“ и в злодеях».

Мать Якова Мироновича — имя ее до нас не дошло (по мнению Юдифи Яковлевны Маршак, звали ее Эстер, предки ее — из Шклова) — была женщиной доброй, кроткой. Но могла проявить стойкость. «Она была способна на твердость и самопожертвование. В 1918 году — ей было уже за восемьдесят — она, лежа в параличе, заставила дочь, с которой доживала свой век, бежать с маленькими детьми из охваченного махновскими грабежами и пожарами городка, а сама осталась в доме одна и вскоре погибла…» — пишет в книге об отце «От детства к детям» Иммануэль Самойлович Маршак.

Мать Якова Мироновича слыла в своих кругах поэтессой. Она в буквальном смысле слова стихи не сочиняла, тем более не записывала их. Но весьма часто она «думала» вслух и разговаривала с детьми, а позже — с внуками стихами. Кто знает, может быть, именно эти способности передались внуку ее Самуилу. Подтверждений тому немало. Вот одно из них, рассказанное Корнеем Ивановичем Чуковским: «Когда мы праздновали юбилей знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле, я как-то сказал Самуилу Яковлевичу, что даже ему, Маршаку, не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра.

Маршак мгновенно написал такие строки»:

В один присест историк Т***а***рле
Мог написать (как я в альбом)
Огромный том о каждом Карле
И о Людовике любом.

Впрочем, думается мне, способности Эстер достались не только внуку Самуилу, но и праправнуку ее — Александру Маршаку. Он, как и дед, оказался талантливым переводчиком и сочинителем поэтических экспромтов. Однажды, подарив автору этой книги сборник «Лирические эпиграммы Маршака», он вмиг сочинил:

Знает каждая кухарка,
Ясно даже брадобрею —
Есть свидетельство «от Марка»
И… рассказы от Матвея.

Итак, поэтические способности семьи Маршаков — факт генетический и неопровержимый. Сам же Самуил Яковлевич первые свои стихи сочинил, не написал — сочинил, когда ему не было еще и двух лет:

Я поэт знаменитый, —
Каждый день бываю битый…

Разумеется, в семье Маршаков детей никто никогда не бил, впрочем, лучше всего об этом рассказал сам Самуил Яковлевич в своих стихах:

Все мне детство дарило,
Чем богат этот свет:
Ласку матери милой
И отцовский совет.

Пожалуй, один из немногих потомков этого рода, не унаследовавший литературных способностей, но проявивший талант в других областях, был Яков Миронович Маршак. В характере его сочетались и черты матери, и черты отца. Подтверждает это одно из многих воспоминаний об отце, оставленное нам Самуилом Яковлевичем: «Был у него в

молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.

Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира.

С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь, — это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него „право жительства“ вне „черты оседлости“, где евреям разрешалось тогда селиться.

В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.

Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым ступенькам…»

И еще один рассказ Самуила Яковлевича об отце: «Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко — где-то в Золотоноше или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.

Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу… Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гёте в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина».

Евгения Борисовна Гиттельсон — мать Самуила Яковлевича — родилась и выросла в Витебске, в патриархальной еврейской семье, что говорило о многом. Глава семьи — Борух Гиттельсон, казенный раввин Витебска, был истинным знатоком еврейской истории и языка иврит. Среди многих его учеников был и Марк Антокольский, впоследствии — один из величайших скульпторов

России. Молодость и зрелость Боруха Гиттельсона пришлись на годы правления Александра II, когда евреи России, пусть изредка и ненадолго, но могли покинуть пределы оседлости. Старший сын Боруха Гиттельсона, Моисей, в начале 80-х годов XIX века учился в Москве, в высшем учебном заведении. Немногие еврейские семьи, даже весьма богатые, могли послать своих детей учиться в столицу. А Борух Гиттельсон — человек, преданный вере предков, хотел, чтобы дети его получили кроме традиционно-еврейского и светское образование. К Моисею в гости приехала его сестра Женя. Оказавшись в студенческом кругу друзей брата, она была очарована жизнью московской молодежи. С детства хорошо знавшая русский язык (заметим, в семье Гиттельсонов русскому языку обучили всех детей — он был для них родным), влюбленная в романы Тургенева, Гончарова, в стихи Некрасова, Женя Гиттельсон к тому же обладала и незаурядными музыкальными способностями.

«Московские друзья брата приняли ее в свой кружок, как свою, — пишет Самуил Яковлевич. — Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.

Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.

Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и в противоположность отцу не умела, да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о московских „старых“ студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного, которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: „Душман“. Я был тогда совершенно уверен, что это не зря».

Самыми незабываемыми оказались для Евгении Борисовны дни в Москве еще и потому, что здесь, в доме брата, она познакомилась с будущим своим мужем — Яковом Мироновичем Маршаком. Самуил Яковлевич считает, что их в значительной мере сблизила любовь к литературе, а более всего — Диккенс:

«„Давида Копперфильда“ она и отец читали вслух по очереди».

Эта любовь к английской литературе и к Англии передалась Маршаку. Пройдут годы, и друг Маршака, видный политический деятель Шотландии Эмрис Хьюз, напишет: «Он радовался Лондону и снова переживал в нем дни своей молодости, которые провел здесь, обучаясь в Лондонском университете.

— Я люблю англичан, — как-то сказал мне Маршак.

— За что же? — спросил я, удивившись.

— Знаете, — сказал он, — среди них трое из четырех обязательно окажутся чудаками.

Он любил чудаков. И он сам, пожалуй, был чудаком, так же как и я. Как радовался бы он, если бы ему довелось встретиться с Диккенсом».

О родителях Маршака мы еще не раз будем рассказывать на страницах нашей книги, а сейчас вернемся в детство Маршака.

Из воспоминаний старшего брата Самуила Маршака — Моисея, записанных в 1939 году: «Конец 80-х годов XIX века. Воронеж. Я помню себя смутно с 4—5-летнего возраста. Помню кормилицу Сёмы на крыльце большого дома с маленьким братцем на руках. Она мне что-то говорит о братце… А потом солнечное летнее утро у открытого окна. Принесли большого ворона (не помню, был ли он ручной или ему подрезали крылья). Он ходит по подоконнику, а маленький братец стоит тут же и с огромным любопытством смотрит на птицу. А вот и его старая няня с лицом, достойным кисти Рембрандта. Она помнит время, когда жил Пушкин. Ее молодость и зрелые годы прошли в крепостной неволе… Она смотрит на моего братца и говорит с гордостью: „Енарал Бородин — на всю губернию один!“ В 1 1/2—2 года Сёма был — весь огонь. Живость его была необыкновенна.

Городской сад в Воронеже. Вечер. Площадка. Играет музыка. Сёма рвется из рук няни: вот он выбежал на середину площадки и танцует под музыку. Сотни людей смотрят на него и хохочут. Вдруг оркестр перестал играть.

— Музыка, играй! — кричит он…»

Мгновения раннего детства у художников, поэтов в особенности, навсегда остаются в памяти и с годами вырываются на свободу, воплощаясь в стихах, картинах. Вот и этот день, так живо описанный Моисеем Яковлевичем, остался в памяти Самуила Яковлевича.

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —
Услышал трубы полковые

В осеннем городском саду.
И все вокруг, как по приказу,
Как будто в строй вступило сразу.
Блеснуло солнце сквозь туман
На трубы светло-золотые,
Широкогорлые, витые
И круглый белый барабан.

Стихи эти написаны в 1958 году. Самуил Яковлевич возвращался памятью к тому дню не раз: «Нас повели в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты. У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра… Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.

Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется…

Но вдруг оркестр умолк, сад опять заполнился обычным, будничным шумом. Все вокруг потускнело — будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко — на весь городской сад: „Музыка, играй!“»

Это строки из книги «В начале жизни». День этот оказался столь незабываемым, что отзвук его слышится и в других стихах Самуила Яковлевича:

Не знаю я, с которых пор
Я понял звуковой узор,
Что вечным праздником встает
Среди трудов, среди забот,
И говорит нам языком,
Который всем краям знаком.
И тот, кто в юности был юн,
На голос труб и говор струн,
Как на давно желанный зов,
Душой откликнуться готов…

* * *

Лучшие лирические стихи Маршака свидетельствуют, что поэтом становится лишь тот, в чьей душе всегда живут не только воспоминания о детстве, но и истинное чувство детства. Не случайно древние римляне говорили: «Поэт остается ребенком». И еще: «Поэт — всегда простак». Возможно, поэтому Самуил Яковлевич стал автором очаровательных стихов для детей (не

«детских стихов»), таких как «Сказка о глупом мышонке», «Детки в клетке», «Пудель», «Багаж». Только человек, по-настоящему любящий детей, поэт, в чьем сердце детство осталось праздником навсегда, мог написать в зрелом возрасте (было тогда Маршаку тридцать шесть лет) такие стихи:

Бедный маленький верблюд:
Есть ребенку не дают.
Он сегодня съел с утра
Только два таких ведра!

К детским своим годам Маршак часто возвращался на склоне лет:

Все, чем жил я с малолетства,
Вспоминается с трудом,
И стоит в минувшем детство,
Как пустой, забытый дом.

К этой дали стародавней
Навсегда потерян путь,
И давно забиты ставни
Чтобы в дом не заглянуть.

Читая эти стихи, размышляя над ними, я вспоминаю тот день, когда был в гостях у Самуила Яковлевича.

ОТ ЧИЖОВКИ ДО ВИТЕБСКА

Детство Маршака, да и отроческие годы его большей частью прошли в Воронежской губернии: в Острогожске, на Майдане, в Чижовке. «Первое воспоминание детства — пожар во дворе. Раннее утро, мать торопливо одевает меня. Занавески на окнах краснеют от полыхающего зарева. Должно быть, это впечатление первых лет моей жизни и было причиной того, что в моих сказках для детей так много места уделено огню».

Достаточно вспомнить его сказку «Кошкин дом», стихотворение «Пожар», чтобы еще раз убедиться, что не может писать стихи для детей тот, в ком память переживаний детских лет не хранится всю жизнь:

Вернулся кот Василий
И кошка вслед за ним —
И вдруг заголосили:
— Пожар! Горим! Горим!
С треском, щелканьем и громом
Встал огонь над новым домом,
Озирается кругом,
Машет красным рукавом…

Эй, пожарная бригада,
Поторапливаться надо!
Запрягайте десять пар.
Едем, едем на пожар.
Поскорей, без проволочки,
Наливайте воду в бочки.
Тили-тили-тили-бом!
Загорелся кошкин дом!

Черный дым по ветру стелется,
Плачет кошка-погорелица…
Нет ни дома, ни двора,
Ни подушки, ни ковра!

В 1892 году Яков Миронович продолжил поиски новой работы, новой жизни. Жену и детей, а в ту пору их было уже трое, он отвез в Витебск, к родителям Евгении Борисовны. Есть что-то непостижимое, тайное в воздухе этого города. Сегодня его чаще всего ассоциируют с именем Марка Шагала. Это не совсем

справедливо — Витебск подарил человечеству много выдающихся живописцев. Вспомним Пена, Малевича, Юдовина. И хотя Самуил Маршак на свет появился в Острогожске, его все же, пусть условно, можно причислить к витебчанам. Ему еще не исполнилось пяти лет, когда он оказался в этом городе. Здесь он научился не только читать по-русски, но и выучил иврит и идиш. Не будь этого, мы бы сегодня не имели таких высоких образцов лирики Маршака, как переводы его из Библии. Их немало. В особенности его вольный перевод «Песни песней». Отрывки из этой великой библейской книги переводили многие русские поэты, в том числе и Пушкин. Вот перевод, вернее вариации на тему библейской «Песни песней», сделанные юным Маршаком в 1906 году:

Луч струится с небосклона —
Милый мчится с гор Хермона
Ясен, светел, как корона…
Строен, как олень.
Это он, кого ищу я,
Это он, кого, тоскуя,
Жду я с лаской поцелуя…
Загорись, мой день!
Разбегайся, тьма ночная,
И печаль мою умчи…
О, идет он, вестник мая!
О, идет! Горят, сверкая,
Взора гордого лучи!..

О, когда б ты был мне братом, —
Не ночами, не с закатом,
С сердцем, трепетом объятым,
Вышла б я к тебе!..
Как несутся гребни вала, —
Побежала, задрожала
И к груди тебя прижала
В страсти и мольбе!
Только солнце загорится
На вершинах снежных гор, —
За тобою, как орлица,
Полетела б на простор!..

Здесь отметим, что публикации эти стихи ждали почти семьдесят лет.

Именно в Витебске пятилетний Сёма Маршак впервые

услышал еврейскую речь.

«Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я помню с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни старалась мама урезонить и утихомирить нас…

…Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаяние — особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в послеобеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потревожить дедушку было не так уж страшно: за все время нашего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но свободно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда она куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хозяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с которыми она почти никогда не расставалась…»

В доме дедушки и бабушки самая большая комната именовалась «гостиной». До отказа заполненная мебелью, она казалась огромной, наверное, из-за того, что на противоположных стенах слева и справа от окон, от пола до потолка висели узкие длинные зеркала. В них отражалось это хранилище разнообразной мебели. Однажды маленький Сёма неожиданно для себя обнаружил, что зеркала эти можно раскачивать. Он тут же изобрел игру — стал по очереди раскачивать зеркала, а потом сделал открытие: на этих зеркалах, оказывается, можно раскачиваться, как на качелях. И тогда в этом волшебном царстве диваны, кресла, стулья, столы, тяжелые люстры приходили в движение, а с ними «участниками» движения становились портреты. Маленький Сёма оказывался в сказочном мире. И вдруг «все понеслось куда-то кувырком. Я лечу вместе с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стукается над самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, который мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза от града осколков.

Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать, что я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный свод с его светилами, я не чувствовал себя более несчастным и виноватым».

На грохот, донесшийся из большой комнаты, сбежались все домочадцы. Испуганные этим зрелищем погрома и догадавшись, что это проделки младшего внука, они принялись искать его.

Вскоре обнаружили его под рамой зеркала. Мальчик никого не звал на помощь, лежал молча. Надо ли говорить, какой ужас охватил родных. Все трое — мама, бабушка и дед — осторожно приподняли раму и склонились над ребенком.

— Жив! — сказала мама и заплакала. Она подхватила меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.

И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать нескольких царапин от мелких осколков.

Счастливый этот исход, естественно, заглушил гнев взрослых. «А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы я за это как-нибудь поплатился», — вспоминал взрослый Маршак.

Испугавшийся и растерявшийся Сёма надеялся на то, что дядя его Моисей — умелец, волшебник, факир в воображении маленького мальчика, умевший превращать красномедный самовар в зеркально-серебряный, сможет восстановить разбитое зеркало. Но на сей раз, увы, фокус не удался.

А потом все было как обычно: происшествие с разбитым зеркалом оставалось главным событием в доме недолго — что значило оно по сравнению с тем, что Сёма остался жив! И конечно же вскоре об этом случае забыли. Но в доме царило какое-то напряжение. Бабушка не раз говорила с мамой о папе, причитая: «Как долго могут дети расти без отца?» В Витебске семья пополнилась еще одним ребенком — появилась на свет Юдифь. Дедушка, видя переживания дочери, успокаивал ее: «Все будет хорошо, иначе быть не может». Но пролетали дни, недели, месяцы — отец не приезжал и не звал к себе. Сёма, всерьез воспринимавший слова бабушки о том, что отец строит воздушные замки, верил, что хоть один замок отец подарит детям. Дедушка же, не дожидаясь возвращения отца, решил учить мальчиков грамоте. К этому времени Моисей уже умел читать по-русски. Первым его учителем была младшая сестра матери — тогда ученица Витебской гимназии. Ей не очень хотелось в отрочестве перейти на «учительские хлеба», но в отличие от нее Моисей проявлял истинное рвение к учебе. Рядом с «учительницей и учеником» за столом тут как тут оказывался Сёма и, естественно, мешал. Не оставалось ничего другого — тетушка решила и его учить чтению. Но опоздала — оказывается, он уже умел читать и не только по слогам — «Не помню сам, когда и как я этому научился». А когда ребята научились читать по-русски, почтенный ребе Гиттельсон подумал: не могут же его внуки не знать иврит! Несмотря на возражения мамы и бабушки, он пригласил учителя, «который будет с детьми терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много». И обещание свое ребе Гиттельсон сдержал. Новый учитель оказался не только

добрее тетки — ему удалось вызвать у своих учеников интерес к древнееврейскому языку. К тому же он не умел сердиться. В отличие от бабушки, испытывавшей к новому учителю неприязнь, дед отнесся к нему уважительно и доброжелательно. А был этот учитель действительно «бедный добрый малый». «…Мы с братом не раз видели, как завтракает наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на лавочке возле наших ворот и, развязав красный, в крупную горошину, платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба, одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли в чистой тряпочке…

…Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и позабыть, а эту помню. Звали его Халамейзер».

А вот каким запомнился Витебск начала 90-х годов XIX века четырехлетнему Маршаку: «…В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестянщиков, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же самое время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали. Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, — она отлично понимала его, хоть это была самая обыкновенная лошадь, сивая с хвостом, завязанным в узел».

Но раз уж лошади понимали идиш, то мог ли допустить, уважаемый раввин Витебска Борух Гиттельсон, чтобы внуки его не знали еврейский язык. Сопротивление мамы и бабушки оказалось безрезультатным. Равв Борух Гиттельсон был неумолим: «Иврит только способствует изучению других наук. Я хочу, чтоб мои внуки знали язык, на котором создано Священное Писание. А идишу, находясь в Витебске, дети научатся сами, без учителя». И ребенок Самуил так освоил этот язык, что перевел с него десятки стихов не только видных еврейских поэтов, таких как Самуил Галкин, Давид Гофштейн, Лев Квитко, но и песни гетто, сложенные в годы войны. Но это отдельная тема, к которой мы еще вернемся.

Летом 1893 года Яков Миронович приехал в Витебск, чтобы забрать семью. Из Витебска во Владимирскую губернию семья Маршаков отправилась на поезде. Пройдут годы, и Маршак напишет стихи «В поезде», стихи, навеянные воспоминаниями об одном из первых в жизни путешествий по железной дороге:

Очень весело в дороге
Пассажиру лет семи.

Я знакомлюсь без тревоги
С неизвестными людьми.

Все мне радостно и ново —
Горько пахнущая гарь,
Долгий гул гудка ночного
И обходчика фонарь.

В край далекий, незнакомый
Едет вся моя семья.
Третьи сутки вместо дома
У нее одна скамья.
Словно детские игрушки,
Промелькнули на лету
Деревянные избушки,
Конь с телегой на мосту.

В поздний час я засыпаю,
И, баюкая меня,
Мчится поезд, рассыпая
Искры красного огня.

Я прислушиваюсь к свисту,
К пенью гулкому колес,
Благодарный машинисту,
Что ведет наш паровоз.

Лет с тех пор прошло немножко…
Становлюсь я староват
И местечко у окошка
Оставляю для ребят.

Немногим больше года жили Маршаки в маленьком городке Покрове под Владимиром — здесь Яков Миронович работал механиком на швейной фабрике. Из Покрова в 1895 году семья отправилась на Украину — в Бахмут. Почему в Бахмут? В конце XIX века уездный этот городок Екатеринославской губернии называли «столицей Новой Америки». Экономическому и промышленному расцвету города способствовало не только его географическое положение — близость к Донбассу, но и приехавшие сюда из США промышленники Трахтенберг и Французов, а также многие российские купцы, создававшие там свои предприятия. Прослышав об этом, Яков Миронович решил,

что уж здесь он наконец найдет достойную работу. Но, увы, этого в очередной раз не случилось — в Бахмуте семья Маршаков задержалась не надолго. Однако город этот навсегда остался в памяти Маршаков и даже вошел в историю советской литературы: здесь, в Бахмуте, в 1896 году родился сын Илья, ставший впоследствии одним из первых авторов книг для детей на научные темы.

Жизнеописание Самуила Яковлевича Маршака будет неполным без рассказа о писателе Ильине — его брате и друге. Поэтому мы нарушим хронологию повествования (и в дальнейшем будем поступать так не раз).

Илья Яковлевич Маршак, написавший много интересных книг на своем веку, очень мало и скупо рассказал о себе. Его заметки о детских и отроческих годах обычно заканчиваются такими словами: «Так росли во мне одновременно любовь к науке, природе и любовь к поэзии».

ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК (Брат, друг, соратник)

Бахмут Илья не запомнил: он был еще совсем маленьким, когда семья Маршаков покинула этот город. В памяти Ильи остался Острогожск: «Широкая острогожская улица с маленькими домишками по сторонам, с пыльными кустами палисадников, со скамеечками у ворот… Где-то вдали белая колокольня на фоне синего неба». Одно из самых ярких воспоминаний детства Ильи Маршака — цыганская свадьба. Вероятно, она так врезалась в память потому, что радостных событий в Острогожске было куда меньше, чем печальных. «Люди жили тут по большей части скучно, скудно и хмуро», — вспоминал С. Я. Маршак. Илья Маршак был болезненным ребенком и немало времени из-за этого проводил в одиночестве. Быть может, это способствовало развитию в нем наблюдательности: «Тихое утро… Я ложусь в траву, чтобы понаблюдать за муравьиным „шоссе“. В одну сторону муравьи идут налегке, а в другую — с поклажей: кто несет жучка, кто мертвого муравья, а вот двое тащат сосновую иголочку и как будто порядком мешают друг другу… Но все же они подвигаются понемногу вперед. Я ползу за ними на животе, чтобы узнать, где муравейник. Движение все гуще; „шоссе“ — дорожка среди травы, проделанная самими муравьями, — все шире. Встречаясь, муравьи обмениваются приветствиями — похлопывают друг друга».

Маленький Илья часами мог наблюдать за жизнью и работой муравьев. Научившись читать с семи лет, он самостоятельно развивал свои познания в биологии: «Мне казалось, что у муравьев есть нечто большее, чем инстинкт. Я ставил их в новые неожиданные положения, и они находили выход, который им не всегда мог подсказать инстинкт… Было бы долго рассказывать обо всех моих наблюдениях и опытах, о том, как я устраивал искусственные муравейники, о том, как я (стыдно признаться!) бывал поджигателем войн между рыжими и древесными муравьями». Но не только муравьи интересовали Илью Маршака. Не меньше его увлекала астрономия. Он мог не спать всю ночь, чтобы следить за сближением Марса и Сатурна, чтобы наблюдать июльский звездопад. Учась в младших классах, он прочел такие книги, как «Жизнь растения» Тимирязева, «Инстинкт и нравы насекомых» Фабра, «История свечи» Фарадея. И все же писателем, каким мы сегодня знаем М. Ильина (псевдоним Ильи Маршака), он не стал бы без Самуила Яковлевича. Это он завлек своего

брата, выпускника Ленинградского технологического института, молодого инженера Невского стеаринового завода, в ленинградское издательство детской книги, образованное на основе детского журнала «Новый Робинзон».

В 1929 году Илья Маршак уже написал книгу «Сто тысяч почему», а в 1936 году завершил работу над одной из главных своих книг «Рассказы о вещах».

Илья Яковлевич Маршак умер в ноябре 1953 года в Ленинграде. В предисловии к его Собранию сочинений в трех томах Самуил Яковлевич написал: «Рано оборвавшаяся жизнь Ильина не дала осуществиться многим замыслам… Он мечтал… о том, чтобы заглянуть и в будущее — в то время, когда человечество станет властелином природы, разумным хозяином планеты, когда на всей земле исчезнут эксплуатация и порабощение.

И все же на своем веку Ильин успел сделать немало…

Человек слабого здоровья, он отличался сильной волей, мужеством и горячей любовью к жизни, ко всему живому.

Недаром он писал мне накануне операции, всего за несколько дней до своей кончины: „Если бы даже сегодняшний день был моим последним днем, я сказал бы: Я благодарен жизни за то, что она мне дала“».

Самуил Яковлевич незамедлительно ответил на письмо брата, но Илья Яковлевич его прочесть не успел. Вот это письмо:

«Мой милый, дорогой Люсенька,

спасибо тебе за добрые и мудрые строчки. Нужно быть очень богатым и щедрым — душевно — человеком, чтобы из больничной палаты посылать близким людям такие чудесные слова одобрения и утешения.

Крепко тебя целую и благодарю, мой дорогой брат и друг.

Почему-то я все вспоминаю то время, когда ты болел в юности, и те прозрачные и светлые стихи, которые ты тогда писал. Во времена испытаний всегда сказывались твои неисчерпаемые душевные силы.

Люсенька, ко мне домой — вчера или позавчера — звонил Александр Александрович (Фадеев. — М. Г.). Он сказал, что его очень тронуло твое письмо и он пишет тебе. Должно быть, завтра ты получишь его письмо.

Сейчас у меня Лелечка. Мы говорим о тебе и оба шлем тебе наши горячие поцелуи.

Твой С. М.».

Илья Яковлевич Ильин-Маршак похоронен на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы сына и жены Самуила Яковлевича

Маршака.

В конце 1950-х годов Самуил Яковлевич написал такие стихи:

Я еду в машине. Бензинная гарь
Сменяется свежей прохладой.
Гляжу мимоездом на бледный фонарь —
Последний фонарь за оградой.

Стоит он в углу и не ведает сам,
Как мне огонек его дорог.
Высокий фонарь сторожит по ночам
Покрытый цветами пригорок.

В углу за оградой — убогий ночлег
Жены моей, сына и брата.
И падает свет фонаря, точно снег,
На плющ и на камень щербатый…

Но вернемся к 1896 году — году рождения Ильи Яковлевича Маршака, ибо в этом году Яков Миронович Маршак отправился со своей семьей в очередное путешествие.

И СНОВА В ПУТЬ

Яков Миронович Маршак продолжал «строить воздушные замки» даже в поезде под стук колес. «Толчок, еще толчок, вперед, назад, вбок, — вспоминал Самуил Яковлевич. — Груда жестяных чайников и кружек летит со столика. Мать вскакивает и хватает меня на руки. Ей мерещится крушение. Крушения чуть ли не каждый день случаются на железной дороге в это время — тридцать лет тому назад.

Мать с укором смотрит на отца. Куда везет он ее с ребятами? Дети должны расти на одном месте, как деревья и трава, а он таскает их по всему свету…»

Мать следит за мной в тревоге,
Не дает мне отойти,
Но как весело в дороге
Пассажиру лет шести!

Мне пошло седьмое лето,
На год старше стал мой брат.
И по четверти билета
Мать купила для ребят.

Когда бесконечные эти странствия становились уже невыносимы, Яков Миронович, пытаясь подбодрить семейство, рассказывал чудеса. Фантазия, оптимизм Якова Мироновича Маршака воистину не знали границ. Самуил Яковлевич вспоминал, как он готовил родных к переезду из Северной России на Украину.

«— Арбузы там, — говорит отец, — во какие! Вишни ведрами, антоновка мешками. Двор огромный — бегать будете. Тут роща, река в двух шагах.

— А не сыро ли там? — спрашивает мать, знающая, что отцу нельзя верить, что ему, кочевнику, всякие новые места кажутся раем.

Отец уже побывал там, куда мы едем. Он и с будущими соседями познакомился, и нашу будущую квартиру видел.

— Пока две комнатки будут, чистенькие, уютные, а потом целая квартирка. Хозяин, заводчик, — хороший человек. Семья его пока еще в губернском городе, но скоро тоже переедет и будет жить с нами рядом. Дочка у него Шурочка — красавица и умница. У соседа Мирон Мироныча тоже есть бойкие мальчики, вы с ними

играть будете.

Впоследствии мы узнали, что эти бойкие соседские мальчики, дети Мирон Мироныча, — настоящие разбойники. От них нам житья не было».

Принято считать, что путешествия развивают в детях воображение. Пожалуй, это так. Пройдут годы, и уже взрослый Самуил Маршак, вспоминая об одном из многочисленных переездов, напишет стихи:

Четыре года было мне,
Но помню, как сквозь сон:
Стучат копыта в тишине.
Мы едем через Дон.

Мы едем долго — Дон широк.
Потом пошли сады.
В саду и дали мне глоток
Живой донской воды…

После длительных странствий семья Маршаков возвращается в пригород Острогожска Майдан.

Есть такой небольшой городок,
Где полвека назад на слободке
В каждом доме стучал молоток
По колодке, по новой подметке.

Был за этой слободкой завод.
Много лет он стоял недостроен.
По соседству ютился народ,
Промышлявший отходами боен.

По большому пустому двору
Летом целые дни и недели,
Извиваясь, крутясь на ветру,
Пузыри и кишки шелестели.

Рыжий мальчик, сидевший на тыне,
Точно всадник лихой на седле,
Караулил арбузы и дыни,
Что лежали кругом на земле.

Моисей и Самуил, не успев еще осмотреться в новом доме,

побежали на улицу знакомиться с окрестностями. Едва ли не у порога начинались огороды, за ними — поля. И вот мальчики увидели чудо, обещанное отцом: на земле лежали арбузы и дыни. Самуил попробовал поднять самый большой арбуз, но, увы, это оказалось ему не по силам. Мальчик позвал на помощь маму и удивился, когда узнал, что все эти богатства — чужие: «Да ведь двор-то теперь наш!» На что последовал ответ: «Двор наш, а дыни и арбузы не наши».

Вскоре мальчики, жившие на соседних улицах, пришли знакомиться с новыми поселенцами Майдана. После допросов «с пристрастием» — кто вы? откуда? почему не похожи на местных? — Самуил и Моисей, получившие полагающуюся новичкам порцию оплеух и затрещин, песка и земли за шиворот, долгое время за ворота дома без старших не выходили. Единственным мальчиком, с которым они дружили, был слепой горбун из соседнего двора. «Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый, — вспоминал Самуил Яковлевич. — Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и проводил целые дни совсем один.

Это был первый слепой, которого я встретил на своем веку».

Маму, разумеется, не радовало такое окружение. К тому же «зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии», — писал в своих воспоминаниях С. Я. Маршак. Почти каждый вечер она просила, убеждала отца, уставшего после тяжелого рабочего дня, в необходимости перебраться в другой город. «Ну потерпи еще немного… Еще полгода, ну, самое большее — год, и все у нас пойдет по-другому», — отвечал тот. И снова рассказывал о своих проектах. Действительно, вскоре после их приезда в Острогожск Якова Мироновича вызвали в Петербург. Радость охватила всех домочадцев, и мечтания о большом городе вскружили Самуилу и Моисею головы. Но, оказалось, до отъезда в Петербург было еще далеко, и пока жизнь шла своим чередом. Со двора мальчики по-прежнему почти не выходили. «На дворе я и познакомился с первым моим приятелем — слепым горбуном Митрошкой, — писал Самуил Яковлевич. — Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим ровесником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем

на свете — о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет… Говорили о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков…

…Слепой соглашался со мною. Я тоже с ним никогда не спорил. Нам с ним было хорошо, до того хорошо, что у меня горло сжималось и дух захватывало. Я любил, когда со мной разговаривают терпеливо и ласково, а слепой был добрый и спокойный человек. Делать ему было нечего, и он никуда не торопился.

Я рассказывал ему об инквизиторах и спрашивал, волнуясь:

— Разве это хорошо жечь людей, которые совсем не виноваты?»

Почему тема инквизиции так волновала восьмилетнего Самуила?

«Мальчишки, с которыми я бегал, знали, когда звонят к вечерне, когда — к обедне… А я не знал, что такое обедня и вечерня, потому что я еврей (я думал, что обедня — это такая долгая, спокойная, сытная, как обед, молитва). Мне совестно было спрашивать мальчиков об этом — я даже немного побаивался церкви и церковного звона. В будни никто на нашей улице не помнил, что я еврей, а в воскресенье и в праздник все мальчики в новой одежде ходили в церковь, а я один с прорехами в штанах стоял у забора и от нечего делать рубил палкой головы лопуху и крапиве…

…Мальчики на улице называли меня жидом. Они все были православные. Мне казалось, что они сами себя так назвали из самохвальства. Славным называют человека, когда хвалят его. Правым бывает тот, кто говорит и поступает, как надо. Они, значит, и правые, и славные. А что такое жид? Жадина, жаднюга, жила — вот что это такое.

Я не знал, как мне дразнить русских мальчишек. Никто на нашей улице еще не придумал для них обидной клички. А если сам не выдумаешь, кличка не пристанет. Мой старший брат читал книжку об инквизиторах. Это такие монахи, которые судили [и] жгли хороших людей на кострах. Самого злого инквизитора звали Торквемада.

И вот, когда Митрошка-кишечник начинал дразнить меня жидом, я кричал ему, сжимая кулачки:

— Инквизитор! Инквизитор! Торквемада!»

Пройдут годы, и уже взрослый, признанный в Петербурге поэт Самуил Маршак, вернувшийся из путешествия по Ближнему Востоку, в 1911 году напишет стихи:

На Пасху, встречая свой праздник свободы,
Под низкие своды спустились они.
Казалось, звучали шаги в отдаленьи,
И глухо дрожали крутые ступени,
И тускло горели огни.
Семья притаилась за скатертью белой…
Могучий и смелый, лишь он не дрожал
И встал он пророком в молчаньи глубоком,
И взором окинул подвал.
И тихо он начал: «Рабами мы были,
Но в темной могиле, в подвале немом
Мы гордо повторим: „Мы были, мы были,
Теперь мы тяжелое иго забыли —
И дышим своим торжеством!“
Пускай мы пред смертью, пускай мы в подвале —
Грядущие дали не скрыл этот свод
И нашей свободы никто не отнимет…
Пусть голову каждый повыше поднимет
И смерти бестрепетно ждет!
Мы были рабами! Мы были! Мы были!»
И вдруг позабыли свой ужас они:
Они не слыхали в минутном забвеньи.
Как глуше, сильней задрожали ступени,
И дрогнули робко они.
Вскочили… Столпились… Слетела посуда,
Как мертвая груда, застыли и ждут
И отперлись двери — и черные звери
По лестнице черной идут.
И сытый, и гордый
И с поступью твердой
Аббат выступал впереди…
Старик к нему вышел. Он стал у порога
Спокойный и гневный, как посланный Богом
И замерли крики в груди!
И встретились взоры…

Эти стихи были опубликованы в 1912 году в Петербурге в брошюре «Библиотека еврейской семьи и школы». Тогда память не раз возвращала Маршака к событиям пятнадцатилетней давности, к тем дням, когда ребята с так называемого «рязанского двора» на Майдане доставали его и брата расспросами: кто они, откуда, отчего не похожи на майдановских?

«— Мы нездешние, — виновато сказал брат, — мы всего три

дня как в этот город приехали.

— А вы русские? — спросил рыжий.

— Да, — сказал я.

— Нет, — сказал брат. — Мы евреи.

— Ну, это ничего, — ответил рыжий. — У нас во дворе тоже есть еврейчик, Жестяников Митька.

Тут мы расстались».

И именно здесь, на Майдане, судьба подарила Маршаку незабываемую встречу, которую он впоследствии описал в незавершенной своей новелле «Шура Ястребцова»: «В соседних дворах было много девочек, но такой я еще не видел. Не то чтобы платье на ней было лучше, чем у других девочек, — платье было самое обыкновенное, хоть и голубое. И сама она была, я думаю, не какая-нибудь особенная. Только очень новая, незнакомая».

Увидел он эту незнакомку, когда она поднималась по шаткой лестнице на чердак старого завода. Оказавшись на краю площадки у входа на чердак, она то ли поскользнулась, то ли, растерявшись, упала. «Как она падала, я даже не заметил. Услышал только визг, а потом что-то негромко шлепнулось в траву. Подбегаю — она лежит и молчит. Глаза закрыты. Расшиблась, умерла. Я заорал во все горло, сам не помню что. Она вскочила, прижала обе ладони к моим губам и шепчет:

— Молчи, дрянь, молчи, дрянь».

Незнакомка попросила у Самуила носовой платок — она не хотела, чтобы на ее платке остались следы крови — и иголку с ниткой. Он украдкой раздобыл дома иголку с белой ниткой и принес их девочке, успевшей к тому времени привести в порядок смятое платье. Велев Самуилу отвернуться, она заштопала порванный чулок и еще раз предупредила мальчика, чтобы тот хранил молчание. «Если ты кому-нибудь скажешь, что я слетела сверху, я тебе… Я с тобой навсегда поссорюсь». И потребовала: «Перекрестись, что никому не скажешь».

«Я был очень испуган и готов был поклясться всем святым, что никому не скажу, — вспоминал Маршак. — Но перекреститься я не мог. В нашей семье никто никогда не крестился.

— Я не умею, мне нельзя, — сказал я ей.

— Как не можешь? — спросила она гневно. — Ты что, креститься не умеешь? Разве ты собака или кот, а не человек?

И она громко рассмеялась…

…Так я познакомился с Шурой.

Это была та самая Шура Ястребцова, из-за которой в продолжение многих лет шла потом между тремя дворами ожесточенная война».

* * *

А вот каким запомнился Майдан сестре Самуила Яковлевича, Юдифи:

«Окраина Острогожска. Майдан. Мне около трех лет. Рано утром мама идет на базар. В руке у нее большое ведро. Зая — моя сестра — говорит, что в ведре мама принесет вишни и сварит варенье, а потом на ужин нам будут давать по целому блюдцу варенья с хлебом.

Перед уходом мама просит нашего старшего брата Сёму хорошенько за нами присматривать, а то мы еще убежим за ворота или на задний двор, где мусорная яма…

Потом Сёме надоедает играть „в человечки“».

В голове Сёмы возникали новые и новые игры:

Среди пустынного двора
У нас, ребят, идет игра.
Кладем мы кучку черепков,
Осколков кирпича —
И городок у нас готов:
Дома и каланча.

Из гладких, тесаных камней
Мы строим город покрупней,
А из дощечек и коры
Деревню — избы и дворы.
…Бегут дороги и пути
Через поля, холмы.

Бегут и вдоль и поперек
Пустынного двора.
А этот двор, как мир, широк,
Пока идет игра!

Вот еще из воспоминаний Юдифи Яковлевны:

«— Хотите, я вам покажу голубей, которые живут на чердаке? — спрашивает он.

— А мама нам не позволяет ходить на задний двор, там мусорная яма, — говорит Зая (сестра Маршака. — М. Г.).

— Конечно, без старших ходить туда нельзя. Но вы же не одни, вы идете со мной.

И мы отправляемся на задний двор.

Там, в старом разрушенном доме, с выбитыми стеклами, с

шаткой лестницей, живут одни только голуби…

Не успевает Сёма подняться наверх, как уже снова спускается в овраг вместе с Моней. Моня тоже наш брат. Он уже совсем большой, даже старше Сёмы. Когда мы ему мешаем заниматься, он очень сердится. Ведь у него скоро экзамены.

— Ну, что у вас тут случилось? — говорит Моня и морщит лоб совсем как взрослый. — Где у тебя болит? — спрашивает он у меня».

Отца, с раннего утра и до позднего вечера занятого нелегкой работой, дети видели нечасто.

Редко видел я лоб этот кроткий
Без морщины тревог и забот
В те часы, когда вечер короткий
Оставлял нам для встречи завод.

Больно дрались отцы на слободке.
Мы не знали ни палки, ни плетки.
Наш отец нас ни разу не бил.
Человек он был строгий, но кроткий.
И хорошую книжку любил.

Возвращение отца домой, порой поздним вечером, было для всех радостью. Однажды, придя с работы, он увидел, что Сёма что-то старательно записывает в тетрадь. Прочел:

Один сижу я.
Кругом все тихо.
Печально с неба
Сияет месяц,
Как будто что-то
Сказать он хочет.
Один сижу я.
Кругом все тихо…

Юдифь Яковлевна вспоминала, что на вопрос отца «Ты сочинил эти стихи?» Сёма ответил:

«— Да так, пустяки… Знаешь, папочка, — говорит Сёма, — когда у меня накопится много стихов, я перепишу их для тебя в синий бархатный альбом, что лежит на этажерке…

— Спасибо, — говорит папа. — Я горжусь тем, что у меня сын — поэт. Но пока еще этому поэту нужно много учиться, и в первую очередь научиться писать красивым почерком…»

На первой странице красивым, ровным почерком было написано посвящение, из которого я запомнила такие строки:

Прими от сына первый дар.
Не ты ль во мне создал поэта?
Не ты ли бросил искру света
В мой ум и зародил пожар
В моей груди?

Читая эти первые поэтические строки маленького Сёмы Маршака, невольно задаешься вопросом: не здесь ли истоки лучших его ранних стихов для детей, таких как «Детки в клетке», «Цирк».

…Начинается программа!
Два ручных гиппопотама,
Разделивших первый приз,
Исполняют вальс-каприз.

В четыре руки обезьяна
Играет на фортепьяно…

По проволоке дама
Идет, как телеграмма…

Лев Кассиль вспоминал свой разговор с Владимиром Маяковским, состоявшийся в 1928 году:

«— Слушайте! — оглушил он меня своим басом. — Вы это что?.. Вы, я вижу, совсем темный еще? Неужели вот и этого не знаете? — он широко повел рукой. — „По проволоке дама идет, как телеграмма…“

— Это-то знаю, — пробормотал я. — Помните, когда мы по Таганке шли, там еще через канаву мосточки были проложены. Вы все повторяли. Я думал, это вы сами сочинили.

— Если бы я придумал такие строки, я бы не по мосточкам, а по Кузнецкому мосту целый месяц гордый бы ходил, — прорычал Маяковский. — Это же у него в „Цирке“. До чего же ж здорово! — Он прошелся по комнате, постоял, как бы вслушиваясь, и скрылся у себя в кабинете, откуда еще несколько раз донеслось, вполголоса, на разные тона баса пробуемое: — „По проволоке дама идет, как телеграмма… По проволоке дама идет, как телеграмма“. Здорово!»

В библиотеке Маршака есть сборник стихов Маяковского с

его дарственной надписью: «Замечательному Маршаку. В. В. Маяковский. 11.01.30».

Пройдет больше двадцати лет после этого январского дня, и Маршак в письме к саратовской студентке А. И. Бегучевой напишет: «С Маяковским я встретился в те времена, когда шла острая борьба за новую, политическую, идейную детскую книгу и за высокое поэтическое мастерство в этой области. В этой борьбе мы оказались с ним единомышленниками, и наши нечастые встречи (я жил тогда в Ленинграде, а он — в Москве) всегда были для меня большой радостью».

Есть в цикле стихов Маршака «Детки в клетке» стихотворение «Тигренок». Написал он его в 1923 году.

Убирайтесь! Я сердит!
Мне не нужен ваш бисквит.

Что хорошего в бисквите?
Вы мне мяса принесите.

Я — тигренок, хищный зверь!
Понимаете теперь?

Я с ума сойду от злости!
Каждый день приходят гости,

Беспокоят, пристают,
В клетку зонтики суют.

Эй, не стойте слишком близко,
Я тигренок, а не киска!

В 1935 году поэт вернулся к этому стихотворению и… оставил от него лишь последнее двустишье: «Эй, не стойте слишком близко!/ Я — тигренок, а не киска!» Почему так поступил Маршак? Автору, разумеется, виднее. Но не вызывает сомнения, что такие стихи, как «Тигренок», «Обезьяна» и другие мог написать только человек, сохранивший детскую душу, детское восприятие мира. Впрочем, лучше всего об этом написала Марина Цветаева в своих заметках «О новой русской детской книге»: «„Детки в клетке“ С. Маршака из всех детских книг моя любимая. Начнем с названия. Не звери в клетке, а детки в клетке, те самые детки, которые на них смотрят. Дети смотрят на самих себя. Малолетние (дошкольники) — слон, белый медведь, жирафа, лев… кого там нет! Все там будем…

Закончу спокойным и удовлетворительным утверждением, что русская дошкольная книга лучшая в мире».

КОГДА ЗВЕЗДЫ УЖЕ НЕ СТАЛО (Цветаева и Маршак)

Маршак видел Марину Цветаеву лишь однажды — в 1940 году. Через двадцать с лишним лет, 19 января 1963 года, он написал письмо ее дочери Ариадне Сергеевне Эфрон:

«Дорогая Ариадна Сергеевна,

меня обрадовало и глубоко тронуло Ваше доброе и щедрое письмо. Драгоценным подарком были неизвестные мне прежде строчки из статьи Марины Ивановны о детских книгах. Даже в этих нескольких словах, — как и во всем, что она писала, — чувствуется ее душа, ее талант. Право, это лучшее из всего, что когда-либо писали о моих книгах для детей.

Очень хочу как-нибудь встретиться с Вами — дочерью дорогой и всегда живой для меня Марины Цветаевой.

Не предполагаете ли Вы побывать в Москве в ближайшее время? До весны я пробуду в городе или в каком-нибудь подмосковном санатории, а весной уеду — вероятно, надолго — в Крым.

Посылаю Вам на память мои книги — сборник моих оригинальных стихов, сонеты Шекспира и на память о Вашей детской полке — небольшой сборник одного из классиков английской поэзии для детей, веселого и затейливого Эдварда Лира.

Крепко жму руку».

Это письмо Маршака — ответ Ариадне Сергеевне на ее письмо, присланное из Тарусы, к сожалению, в архивах не сохранилось. Самуил Яковлевич, конечно же знал о трагической судьбе Ариадны, незадолго до этого возвратившейся из восемнадцатилетней ссылки из Туруханского края. Знал о ее незаурядном таланте, о стойком характере — она не утратила волю к жизни, несмотря на нескончаемые испытания и горести. Ариадна Сергеевна была женщиной высокого ума. Свидетельством тому — ее письма, воспоминания. В письме Эммануилу Казакевичу от 12 октября 1961 года она написала: «… Где-то у мамы в записной книжке есть слова о том, что живому поэту посмертная слава не нужна, и вот через это никакой моей радости по поводу книжечек, книг или собраний сочинений не перешагнуть. Я рассудком (хоть и мало у меня его) — знаю, что все это нужно и хорошо — книги, имею в виду, а сердце ничуть не радо — пепел Клааса сильней всего, пусть он только пепел. Ни до чего мама не дожила — мало сказать не дожила. Ах, Эммануил

Генрихович, как мне мертвы многие живые, как мне живы мертвые — не дожившие…» Не дожила Марина Ивановна Цветаева и до стихотворения Маршака, ей посвященного:

Как и сама ты предсказала,
Лучом дошедшим до земли,
Когда звезды уже не стало,
Твои стихи до нас дошли.

Тебя мы слышим в каждой фразе,
Где спор ведут между собой
Цветной узор славянской вязи
С цыганской страстной ворожбой.

Но так отчетливо видна,
Едва одета легкой тканью,
Душа, открытая страданью,
Страстям открытая до дна.

Пусть безогляден был твой путь
Бездомной птицы-одиночки, —
Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.

Об отношении же Цветаевой к Маршаку можно судить не только по ее отзывам о книге «Детки в клетке», но и по ее письму к Евгении Яковлевне Эфрон (жене брата Сергея Эфрона — мужа Марины Цветаевой; с ней она была очень дружна), написанному 24 сентября 1940 года, то есть вскоре после возвращения Цветаевой в СССР: «Весь вчерашний день, до 10 час. вечера добирала остальные 2 тыс. Бесконечно трогателен был Маршак. Он принес в руках — правой и левой — две отдельных пачки по 500 р. (принес Нейгаузу) с большой просьбой — если можно — взять только одну (сейчас ни у кого — ничего), если же *не* (выделено авт. — М. Г.) можно — увы — взять обе. (Взяла — одну, а другую (т. е. еще 500 р.) — почти насильно вырвала у одной отчаянно сопротивлявшейся писательской жены. Вообще, <было> *много* (выделено авт. — М. Г.) смешного). В 10 1/2 ч. веч<ера>, в сопровождении бесконечно милого Нейгауза, внесла все деньги за год вперед и получила расписку, свезла паспорт, чтобы они сами меня прописали».

Самуил Яковлевич Маршак, еще совсем недавно (в феврале 1939 года) подписавший вместе с другими писателями, удостоившимися высоких правительственных наград, письмо,

заканчивавшееся словами: «Мы хотим, товарищ Сталин, чтобы каждая наша строка помогала делу, которому Вы посвятили свою жизнь, — делу коммунизма…», Маршак, признанный властями, отважился (да, да — отважился!) оказать помощь опальной поэтессе. В то время как многие из тех, кто числился среди ее друзей, проявили малодушие. Асеев, например, велеречиво расточавший в ее адрес комплименты и восторгавшийся ее талантом, отказался поддержать кандидатуру Цветаевой, когда речь зашла о вступлении поэтессы в Союз писателей, хотя понимал, как это для нее важно.

4 мая 1941 года Асеев писал Маршаку: «Что действительно меня увлекает, так это разузнавание Марины Цветаевой. Она — гордячка, чуть манерная, но в хорошем смысле, очень обиженный и не умеющий обижаться на жизнь человек. Стихи ее — по-мужски мускулисты, в то время как стихи многих мускулистых мужчин, вроде Луговского, — вялы и женственно-истеричны. Марина Ивановна — одна из женщин-поэтов знает силу звука. Потому она — сказочница, она умеет вить нитку. Все это очень приятно, хотя мы уже раз чуть с ней не поссорились. Но потом я сообразил, что ее гордость — от […] опасения унизиться и показаться заинтересованной по каким-либо побочным причинам.

Вот какие вещи. Я мечтаю о том, чтобы поближе познакомить Вас, ее и себя. Как приедете — будем устраивать пирушки?! Ведь такие строчки не всякий напишет:

Поэты мы и вровень с париями,
Но, выходя из берегов,
Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу — у богов!

Правда, здорово? Даже завидно, что не сам написал.
Обнимаю Вас сердечно.
Приезжайте скорей в Москву».

Тему «Цветаева — Маршак» дополним воспоминаниями Новеллы Матвеевой «Последняя встреча»: «Помнится, я первая заговорила о Марине Цветаевой, и он стал рассказывать, как когда-то она пришла к нему „…в какой-то широкой цыганской юбке… Шла большими шагами… как какая-то странница… Золотоволосая, с зелеными глазами… Совершенно прелестное существо…“

Самуил Яковлевич рассказал мне о том, как предлагал Марине Цветаевой свою помощь и поддержку, когда она в них нуждалась. А нуждалась она в них довольно часто. Высказал

предположение, что, может быть, судьба М. Цветаевой сложилась бы лучше, если бы она (Цветаева) не стеснялась обращаться за помощью. Но она ничего ему о своих бедах не рассказывала, так что многие ее неудачи долго оставались ему неизвестны».

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И УСПЕХИ

От Майдана до гимназии, находившейся в центре Острогожска, добраться в те времена было не так-то просто. Первым поступил в гимназию Моисей. Он был всего на два года старше Самуила, но выглядел гораздо серьезнее и взрослее. Еще задолго до поступления в гимназию он прочел немало книг и не истрепал, в отличие от Самуила, ни одной из них. «Помню, как, забравшись на сундук, брат приводил свои книги в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского „Скупого рыцаря“», — рассказывал Самуил Яковлевич. Моисей, поступив в гимназию, совершенно изменился. «Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал один, окруженный всеми домочадцами, и между одной ложкой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал о гимназических порядках, о строгих и добродушных, толстых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми погонами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером». Разумеется, все это не могло не влиять на впечатлительного Самуила. Он захотел стать таким же серьезным и взрослым, как Моисей, носить такую же фуражку с гербом, серую шинель. Но Сёма понимал, что поступить в гимназию нелегко. Маленький Сёма был рассеян, беспечен. Он попросил родителей помочь ему подготовиться к вступительным экзаменам. А в душе мечтал, чтобы и здесь в Острогожске оказался свой Халамейзер — такой же добрый, бесхитростный, любящий детей. И такой нашелся — острогожского Халамейзера звали Марк Наумович. Это был ученик старших классов той же гимназии, успешно подготовивший для поступления в нее Моисея. Но Самуил — не Моисей. «Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на следующее утро просыпался, полный решимости взяться наконец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день у меня был расписан по часам.

Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно составленное расписание».

Соблазнов, помех при подготовке к поступлению в гимназию оказалось так много, что сдержать клятву, данную самому себе, Самуил не сумел. Марк Наумович строго поговорил со своим подопечным и предупредил его, что при таком отношении к занятиям ему в ближайший год в гимназии не учиться. И

пригрозил, что с этого дня он начнет спрашивать его так, как спрашивают в гимназии: «А ты забудь, что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экзаменует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Григорьевич Антонов! (учителя гимназии. — М. Г.)».

Родители присутствовали при этом разговоре Марка Наумовича с Самуилом. Мама полностью поддержала репетитора. Отец же, признав, что необходимо более основательно готовиться к поступлению, сказал Марку Наумовичу: «Однако вы нарисовали сейчас такую мрачную картину, что и я, пожалуй, не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете, дорогой, поговорку: „Своих не стращай, а наши и так не боятся“. Уверяю вас, мы выдержим, да еще и на круглые пятерки! Я в этом нисколько не сомневаюсь». И оказался прав: Самуил сдал все экзамены блестяще! На первый экзамен его отвела мама. Надев праздничное платье и соломенную шляпку с вуалью, она вместе с нарядно одетым сыном пешком отправилась в город. Мама подбадривала Самуила, как могла.

Впоследствии Маршак напишет об этом событии так: «Наконец наступил день Страшного суда. Первый день моих экзаменов». Он запомнил даже, какая погода была в тот день: «Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты сирени наклонялись, будто предлагали прохожим сорвать густую тяжелую гроздь.

Мама отломила влажную ветку, и я видел, что на ходу она старательно ищет звездочку с пятью лепестками — „счастье“».

Острогожская гимназия, строгое, торжественное, окруженное каменной оградой одноэтажное здание, показалось Самуилу «царством, живущим своей загадочной жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с маленькой звонницей, в которой так уютно жили колокола и голуби».

Самуил выдержал экзамены, самым успешным оказался последний. Когда дело дошло до стихов, директор попросил мальчика прочесть любимое стихотворение Пушкина. Самуил прочел поэму «Полтава».

«Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:

И за учителей своих
Заздравный кубок подымает…

Тут я остановился.

С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных

экзаменаторов. Даже Сапожник — Антонов (учитель гимназии, слывший очень строгим и придирчивым. — М. Г.) не сделал мне ни одного замечания и не предложил мне разобрать отдельные слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, похожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал: „Славно“, а директор подозвал меня, усадил к себе на колени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и знаю наизусть.

Я сказал, что больше всего люблю пушкинского „Делибаша“ да еще „Двух великанов“ Лермонтова и с полной готовностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.

Директор засмеялся.

— В другой раз! — сказал он. — А сейчас беги к своим, скажи, что получил пятерку.

Не помня себя от радости, я выбежал в коридор».

Домой мама повезла сына в экипаже (такое себе Маршаки позволяли нечасто). По пути они остановились у магазина и купили будущему гимназисту темно-синюю фуражку с белым кантом и гербом, на котором большими буквами было написано «ОГ» — острогожская гимназия. Герб прикрепили к фуражке, и Сёма сразу же ее надел. Настроение у будущего гимназиста было приподнятым. «Как жаль, что не дали мне прочесть „Делибаш“, — сказал он маме. — Я так люблю это стихотворение Пушкина». И прочел все стихотворение с такими же артистизмом и вдохновением, с какими совсем недавно читал на вступительных испытаниях «Полтаву».

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве;
Попадешься на копье.

Эй, казак! не рвися к бою;
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,

А казак без головы.

Заслушалась не только мама, но и кучер.

— А кто же это такой, твой Делибан? — спросил он.

— Не Делибан, а Делибаш, — поправил его Самуил. — А вы разве не знаете? Это командир турецких конников, самых отважных и отчаянных. Когда русские воевали с турками, в бою под Сыган-Лу участвовал сам Пушкин! И мы победили турок!

— А где этот твой Сыган-Лу находится?

— И этого не знаете? — Сёма улыбнулся и посмотрел на маму. В этот момент экипаж уже подъезжал к дому.

Извозчика отпустили, не доехав до дома, чтобы пешком торжественно войти во двор.

«Отец и старший брат увидели нас из окна и бросились нам навстречу, — вспоминал Самуил Яковлевич. — По моей гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шляпе — я выдержал!»

Однако радость оказалась преждевременной. В 1897 году население Острогожска немногим превышало 20 тысяч человек. Евреев числилось 128, что не составляло и одного процента. По правилам, учрежденным царским правительством, для евреев, поступающих в гимназии, да и в высшие учебные заведения, была установлена трехпроцентная норма. Наверное, пропорция в буквальном смысле не соблюдалась. Быть может, евреев, желавших учиться в Острогожской гимназии, было больше, чем три процента от числа поступающих. В своей автобиографии, написанной в 1963 году, Маршак сообщает: «В Острогожске я поступил в гимназию. Выдержал экзамен на круглые пятерки, но принят не был из-за существовавшей тогда для учеников-евреев процентной нормы».

Сдав успешно экзамены, Самуил, естественно, захотел показаться в новой фуражке ребятам с соседних улиц. Но мама его остановила: «Мы еще не знаем, принят ли ты в гимназию». И добавила, что круглые пятерки, увы, еще не гарантия. К сожалению, она оказалась права: Степа Чердынцев, Сережа Тищенко, Санька Малофеев и Костя Зуюс поступили, а Самуил Маршак — нет. «Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спрятала у себя в шкатулке», — вспоминал он.

Детские горести забываются быстро. Восьмилетний Сёма окунулся в прежнюю майданскую жизнь: пускал воздушных змеев, дрался с соседскими мальчишками, — все это, казалось, вышибло из памяти неудавшееся поступление в гимназию. Но это только казалось. Однажды, гуляя по улицам, он остановился перед

огромной стеклянной витриной фотомастерской. На витрине было размещено множество разных снимков. И вдруг на самой большой фотографии Сёма увидел лица, показавшиеся ему знакомыми. Он пригляделся и вспомнил — это педагоги и ученики Острогожской гимназии, поступить в которую ему не удалось. «Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от которых зависела судьба стольких ребят». Сёме очень захотелось приобрести эту фотографию. Он зашел к фотографу и спросил цену. Оказалось, что фотография стоит один рубль. Несостоявшийся гимназист несказанно обрадовался: «Двадцать или тридцать учителей гимназии в полной парадной форме за один рубль!» Но где взять целый рубль? Другое дело выпросить у папы на гуляние в саду или у мамы на булочку гривенник. Но не рубль.

Сёма рассказал отцу о своем желании купить фотографию, вовсе не рассчитывая на успех. Но случилось чудо: «Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в карманах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно рубль, копеечка в копеечку.

В тот же день большая фотография была изъята из витрины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию, — зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей, сидевших в нижнем ряду.

Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами, аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Конорова, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и математика — Барбароссу, и географа Павла Ивановича Сильванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато все теперь были с ногами.

Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки».

А спустя немного времени произошло второе чудо — из Острогожска пришло письмо, в котором сообщалось, что Самуил Маршак зачислен в гимназию вместо исключенного за какую-то провинность другого ученика. Родители сразу же купили Сёме новый ранец, серую шинель — в общем, все, как у старшего брата. И теперь Моисей и Самуил стали ходить в гимназию вместе.

Педагоги в гимназии были очень хорошие. Уже зрелый Маршак в своей книге «В начале жизни» вспоминал своего

любимого учителя Владимира Ивановича Теплых: «Не много встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей».

Когда Самуилу было десять лет, он прочел «Маскарад» Лермонтова. И был потрясен. По его воспоминаниям, уже тогда он уловил сущность «колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу». Но более всего пленил его в лермонтовской драме диалог:

— Что стоят ваши эполеты?

— Я с честью их достал, — и вам их не купить…

Прочувствовать такой диалог в десятилетнем возрасте дано немногим. Маршак же, выросший в доме, где почиталось Священное Писание, не мог не знать основ Каббалы — этого сокровенного еврейского учения, связывающего все в мире, даже порядок и беспорядок, с истинным или ложным распорядком слов. Согласно Каббале, правильный порядок слов и есть истина. Порядок слов не только воплощает в нашем разуме все окружающее, но властвует над ним.

В подтверждение тому, что эти идеи Каббалы были близки Маршаку, можно привести немало его стихов. Вот одно из них:

Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье —
«Вода», «огонь», «старик», «олень», «трава», —

По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.

Но часто жизнь бывает к нам сурова:
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.

«Шинель» Гоголя Маршак прочел тоже в детском возрасте — было ему немногим больше десяти лет. И наверняка запомнил преисполненные трагизма слова Акакия Акакиевича Башмачкина: «Зачем вы меня обижаете?»

Мне вспоминаются слова Юдифи Яковлевны: «В очень редкие свободные минуты Самуил Яковлевич просил мою дочь — и мне, и ему из-за зрения читать было очень трудно — читать отрывки из „Шинели“ Гоголя. Он каждый раз так восхищался, как будто слышал это впервые, и говорил: „Так написать мог только сам Бог!“»

Гимназист Самуил в равной мере зачитывался Лидией Чарской, Густавом Эмаром и прозой Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого. Разумеется, и мама, и папа в значительной мере определяли круг чтения сыновей. В особенности Яков Миронович. «Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверенность. Все яркое, необычное исходило от него: первые стихи, первые рассказы по истории, первые вести о событиях нашего дома и города». Отец выписал для детей — по тем временам это было не дешево — журнал «Вокруг света» с приложениями. И тогда-то в дом вошли Купер, Эмар, Дюма, Майн Рид… С прекрасными иллюстрациями Айвазовского, Лагорио. Все это так скрашивало жизнь гимназистов Маршаков в тихих провинциальных городках России. «Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и были от души благодарны за все, что журнал нам дарил… Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа».

Страсть к чтению буквально обуяла, захватила отрока Маршака. Он брал в библиотеке книги чаще, чем разрешали установленные правила — книги выдавали раз в неделю. Но книги ему хватало лишь на одну ночь. И он перечитал все, что брали в этой библиотеке, но не всегда читали до конца его одноклассники. «По счастью, немногие из моих одноклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами где только могли и обменивались своими находками друг с другом». В особенности Маршаку нравились миниатюрные книги издания Ступина. Саму фамилию издателя он ассоциировал со словом «ступенька»: «Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы».

Пройдут годы, десятилетия, и маститый, признанный поэт Маршак напишет в статье «О талантливом читателе», опубликованной в «Новом мире»: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова.

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель». А поэт Валентин Дмитриевич Берестов, друг Маршака, однажды сказал мне: «По большому счету читатель поэзии — поэт. Я не разделяю на отдельные группы тех, кто пишет стихи, и тех, кто умеет их прочесть».

Но вернемся к гимназическим годам Маршака.

Его успехи в учебе вызывали не просто одобрение, а восхищение педагогов. Он был любимцем преподавателя литературы и классного наставника Владимира Ивановича Теплых. Быть может, любовь эта перешла к нему по наследству — до этого любимым его учеником был старший брат Самуила — Моисей. «Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами».

Спустя шестьдесят лет Маршак в беседе со своим другом Василием Субботиным скажет о Владимире Ивановиче Теплых: «Он дал мне образование и всему научил». А Василий Ефимович Субботин в своих воспоминаниях напишет: «Самуила Яковлевича и сейчас занимает этот замечательный человек. Как попал он в эту глушь? Маршак считает, что, по-видимому, какая-то романтическая история привела этого человека в Острогожск… И теперь еще с тогдашним детским своим огорчением говорит о том, как случилось, что он поссорился со своим учителем».

Братьев Маршаков Владимир Иванович Теплых почему-то называл триариями — отборными римскими воинами. Когда возникали вопросы, на которые никто из гимназистов не мог ответить, Теплых объявлял на латыни: «Res venit ad triarios!» — «В дело вступают триарии!» Самуила он прозвал «Маршачком» (через несколько лет, разумеется, не договариваясь с Владимиром Ивановичем Теплых, так же его стал называть Владимир Васильевич Стасов). Именно он — Владимир Иванович Теплых — привил Маршаку любовь к древнегреческой литературе. «Героев „Илиады“ я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса, — рассказывал Самуил Яковлевич. — Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеян и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука».

Маршак так увлекся древнегреческими и древнеримскими поэтами, что еще в младших классах перевел поэму Горация «В

ком спасение». Через несколько лет он приведет в восторг этим своим переводом Владимира Васильевича Стасова в первый же день их знакомства. Вот строки из этой поэмы в переводе Маршака:

Когда стада свои на горы
Погнал из моря бог Протей, —
В лесных деревьях, бывших прежде
Убежищем для голубей,
Застряли рыбы. Лани плыли
По Тибру. Тибр поворотил
Свое течение и волны
На храм богини устремил
И памятник царя…

ПРОЩАЙ, ОСТРОГОЖСК!

В 1900 году семья Маршаков переехала из Чижовки в Острогожск. Произошло это потому, что, во-первых, детям стало трудно ездить из Майдана в острогожскую гимназию, а во-вторых, здесь жила теперь семья брата матери Моисея Борисовича Гиттельсона, переехавшая из Витебска.

Маршак очень полюбил Острогожск. В письмах своих, в воспоминаниях он всегда с нежностью говорил об этом городе. «Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одной триумфальной арки и памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург».

Казалось, что в Острогожске Маршаки задержатся надолго, но… Якова Мироновича опять пригласили в Петербург. На сей раз от приглашения он не отказался. Оставив старших сыновей-гимназистов в семье Моисея Борисовича Гиттельсона, Яков Миронович Маршак с женой и младшими детьми отправился в столицу. Моисей и Самуил теперь стали самостоятельными.

Из воспоминаний Н. М. Афанасьевой — дочери М. Б. Гиттельсона:

«Мои двоюродные братья жили в комнате на втором этаже. Сёма подружился с владельцем единственной в городе книжной лавки и проводил там много времени. Как-то весной он вышел из дома с опозданием, по дороге раздумал идти в гимназию (в этот день не было интересных уроков) и завернул к приятелю-инвалиду, с которым издавал рукописный журнал „Первые попытки“. Целый день он писал стихи, а его приятель — рисовал. Старший брат вечером устроил ему головомойку, и с тех пор они всегда отправлялись в гимназию только вдвоем. Сёме это не очень нравилось, но ему пришлось смириться — он никогда не сердился, если его ругали за дело. Но плохо приходилось тому, кто нападал на него зря. Как-то мой отец, не разобравшись, кто из племянников виноват в какой-то проделке, и считая, как обычно, что все беды — от младшего, основательно его выбранил, назвав „шалым малым“ и хлопнув, уходя, дверью. Возмущенный Сёма начал барабанить кулаками по двери, непрестанно повторяя: „Возьми свои слова обратно! Возьми свои слова обратно!..“ — покуда отец не выполнил его требования…

Сёма подружился с гимназистами-старшеклассниками, любил бывать на их вечеринках, где вели споры на литературные и политические темы, играли, пели, читали. Старший брат влюбился в черноглазую гимназистку, но от застенчивости даже

не решался с ней познакомиться. Сёма легко подружился с ней и с ее домашними. Однажды она написала ему записку, попросив не говорить об этом брату. Сёма ничего брату не сказал, но положил записку так, что тот сам ее обнаружил. Он набросился на младшего с кулаками, но, когда в комнату вошел мой отец, драка сразу оборвалась. Племянники обнимались, лукаво поглядывая на дядюшку.

Позже в дом черноглазой красавицы стали приглашать обоих братьев, и младший, как мог, помогал старшему перебороть смущение».

Наступили каникулы, и братья, быстро собравшись, отправились в Питер. «С беззаботной легкостью — не так, как другие пассажиры, долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей, — мы сели в поезд». Время в пути пролетело незаметно, и вот они в столице.

«В петербургской извозчичьей пролетке с поднятым над нашими головами кожаным верхом — в это время моросил дождь — въехали мы во двор дома на Забалканском проспекте», — вспоминал Самуил Яковлевич. Двор этот весь был загромождён огромными телегами с поднятыми кверху оглоблями. «Едва только мы въехали… нас оглушил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрывный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и дробный топот лошадей в конюшне». На втором этаже одного из флигелей была квартира, которую снимали родители. Но как только мальчики в нее вошли, почувствовали себя дома, — так же, как это бывало в других квартирах в Острогожске, Бахмуте, Витебске… Все та же плюшевая, но уже потертая скатерть, тот же комод, а на нем старинные подсвечники, доставшиеся маме от родителей, большая керосиновая лампа, висевшая на стене, создавала в комнате особый уют. Яков Миронович, как всегда, был преисполнен оптимизма: «У нас будет прекрасная, просторная квартира при заводе за Московской заставой».

Здесь мой приют. Здесь Пушкин пятитомный,
«Архивный» Тютчев, Фета первый том.
Здесь мой приют, приветливый и скромный —
Пять бедных полок. Стол перед окном…
Вот, наконец, убогий и бездомный,
Я отыскал нежданно «стол и дом».
Проник сюда по лестнице укромной
И овладел пустынным этажом.

Давно пора наедине с собою

Мне помечтать, подумать, почитать.
Пора отдаться тихому покою,
Изведать ясность, тишь и благодать.
Чего другого, этого я стою.
Довольно грудь сомненьями терзать,
Порывами и внешней суетою…
Давно пора смириться и устать.

И вот настал день, когда отец повез сыновей знакомиться с Петербургом.

«Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй, гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город, когда через несколько дней решился пространствовать по его улицам совсем один, — вспоминал Самуил Яковлевич. — Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись по узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся в огромный дом от перекрестка до перекрестка».

Родители решили, что мальчики останутся в столице на лето, и сняли небольшую дачу под Петербургом, в Лесном. Инициативный, энергичный Сёма Маршак решил устроить домашний театр. Они с Моисеем присмотрели участок во дворе у одного из гимназистов и скоро соорудили там сцену и суфлерскую будку — было ясно, что она необходима не меньше, чем сцена. Из воспоминаний Юдифи Яковлевны:

«Выбрали пьесу. Начали учить роли. Брат (Моисей — М. Г.) уже ни о чем другом не в состоянии думать. Он так увлечен своей ролью, что иногда по ночам вскакивает с постели, становится в позу и произносит монолог.

У Сёмы же нет терпения учить роль и ходить на репетиции. Он будет участвовать в дивертисменте — читать свои стихи.

— Ты хоть знаешь, что будешь читать? — спрашивает отец, видя, что сын меньше всего думает о своем выступлении.

— Да, да, — рассеянно отвечает Сёма, углубившись в раскрытую книгу.

— Что же ты прочтешь?

Ответа нет. Сёма весь ушел в книгу.

На представление мы отправляемся всей семьей.

Сад нарядно украшен разноцветными фонариками, развешанными на ветвях деревьев. Вдоль всей сцены — гирлянды из живых цветов и зелени. Перед сценой много рядов скамеек, уже заполненных зрителями.

Но вот на сцене Сёма.

— Поэт. Подражание Пушкину, — звонким голосом говорит он и начинает читать:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В зубрежку греческих глаголов
Он малодушно погружен.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Тогда поэт от сна очнется,
И греческий глагол — под стол!

Он читает одно стихотворение за другим. Ему не дают уйти со сцены. После каждого стихотворения — гром аплодисментов.

Когда публика начинает расходиться, к отцу подходит один из зрителей.

— От души поздравляю вас, — говорит он, — у вас талантливые сыновья. Младшего я хотел бы познакомить с моим другом, известным петербургским меценатом, Давидом Гинзбургом. Если позволите, я зайду за мальчиком утром, а к вечеру верну его вам целым и невредимым.

На другой день рано утром Сёма уехал, а к вечеру отец получил письмо, в котором Давид Горациевич Гинзбург просил разрешения оставить у него мальчика еще на несколько дней, он хочет поехать с ним в Старожиловку, к Стасову».

А вот как об этом рассказывает Самуил Яковлевич:

«Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стихи и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхваливал мои поэмы и переводы — да не кому-нибудь, а самому Стасову.

Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.

Этот человек, которому шел в то время — летом 1902 года — семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.

А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.

И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо — оживленное, помолодевшее. Таким он становился

всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.

Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые особенно хлесткие места заставлял повторять дважды».

Было это 4 августа 1902 года, а уже 6 августа того же года Владимир Владимирович в письме своей невестке написал: «В Воскресенье… приезжает Давид. Смотрим: с ним какой-то мальчик, гимназист, со светлыми пуговицами — лет, мне показалось, одиннадцати-двенадцати. Ничего особенного, разве что немножко коротки светло-нанковые панталоны: новых не на что сделать. Обедаем… После обеда Давид и говорит: „Ну, теперь, Самуилушка, прочитай нам что-нибудь из твоего“. Самуилушка живо собирается. Меня берет недоверие и какое-то ужасное нехотение. „Ах ты, Боже мой! — думаю про себя, — надо слушать. Вот-то наказание!..“ Я был настоящая жертва и с досадой покорялся этому несносному слушанию! Но не прошло и полминуты, я уже был покорен, побежден, захвачен и унесен. Маленький мальчишка в слишком коротких панталонах, владел мною, и я чувствовал великую силу над собою. И голос у него совсем другой был, и вид, и поза, и глаза, и взгляд… Настоящее преображение — волшебное превращение… Какое-то разнообразие было у этого значительного человека. И лирика, и полет, и древняя речь… И тут же рядом веселые классные сатиры на товарищей, гимназию, директора и инспектора, но такие же веселые, забавные, такие a la Пушкин молодой…»

Знакомство со Стасовым не только обогатило жизнь юного Маршака, но и круто изменило ее.

«…С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход, — вспоминал Самуил Яковлевич. — Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом…

Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.

Помню, в одну из первых наших встреч я задержался в библиотеке у Владимира Васильевича до конца его занятий…

С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе ехать к нему на Седьмую Рождественскую…

Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за городом — в деревне Старожиловке, близ Парголова.

За несколько дней до нашего расставания Владимир Васильевич повел меня к известному и модному в то время фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библиотеки…»

Фотографии, сделанные в тот день, к счастью, сохранились. Спустя несколько дней после этой встречи Стасов побывал в гостях в Ясной поляне у Льва Толстого: «Я… стал рассказывать ему про новую свою радость и счастье, что встретил какого-то нового человека, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое впереди…» В тот день Стасов показал Толстому фотографию Маршака и попросил остановить взор на этом молодом, полном жизни лице: «Пускай ваш взор послужит ему словно благословением издалека!»

Впоследствии в письме к С. Маршаку Стасов передал слова Л. Н. Толстого о юных дарованиях: «Ах, эти мне Wunder-kinder! Сколько я их встречал и сколько раз обманулся! Так они часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит, полетит, светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между ними не верю! Пускай наперед вырастут и окрепнут и докажут, что они не пустой фейерверк!..»

Стасов добился перевода острогожского гимназиста в Третью петербургскую гимназию. Осуществить такое было непросто даже ему. Он просил ходатайствовать за «острогожского вундеркинда» самого великого князя известного поэта Константина Романова. Третья петербургская гимназия — одно из немногих учебных заведений, где после реформ конца XIX века сохранились лучшие традиции русской гимназии — в том числе преподавание в полном объеме древних языков. А вот из воспоминаний самого Маршака: «Эта гимназия была параднее и официальнее моей острогожской. В среде бойких и щеголеватых столичных гимназистов я казался — самому себе и другим — скромным и робким провинциалом. Гораздо свободнее и увереннее чувствовал себя в доме у Стасова…»

Смею утверждать, что без Стасова, равно как без Пушкина и Священного Писания, не было бы поэта Маршака. Одно из стихотворений Маршака «Кантата в память Антокольского. Из Библии» было написано по просьбе — по существу по заказу — Владимира Васильевича. В сообщении о вечере памяти Антокольского, состоявшемся 22 декабря 1902 года, написанном самим Стасовым, говорилось: «В заключение хор синагоги под управлением М. И. Шнейдера исполнил высокоталантливую

кантату в память Антокольского (речитатив и хор), музыка для которой, с аккомпанементом фортепиано и валторны, была сочинена А. К. Глазуновым и А. К. Лядовым. Текст для этой кантаты был сочинен Сам. Яков. Маршаком».

В «Кантате» еще много несовершенного, но она полна пафоса и поэтики, идущих от Книги Бытия. Маршаку тогда едва исполнилось пятнадцать лет, а какое знание Ветхого Завета; какое проникновение в него:

Рече Господь: «Да будет муж великий!
Его весь мир недаром ждет.
Я одарю его высокою душою,
И под его творящею рукою
Холодный мрамор оживет!»

И вот явился он. К своей желанной цели
Чрез край неведомый повел он свой народ,
И мощно раздалось над смолкнувшей землею
Его «вперед», бесстрашное «вперед».
И встал он, и пошел. И на пути великом
Погибших воскрешал, и камню душу дал,
И сердце в нем зажег.
Свершен высокий подвиг,
И гений пал!..
И застонал народ: «Кого похоронил я?
Кто одинок в сырой земле лежит,
И чья рука протянута недвижно,
Чью грудь огонь не оживит?

Но не исчезнет он из памяти народной.
О нет! И будет он как радуга сиять,
И яркою звездою путеводной
Наш мрачный путь он будет освещать!»

Юдифь Яковлевна в своих воспоминаниях описывает первый триумф пятнадцатилетнего Маршака: «Когда после окончания кантаты публика требует авторов, на эстраду выходят маститые, всем известные Глазунов и Лядов, держа за руку третьего автора, которому на вид нельзя дать и четырнадцати лет… Родителей, находившихся в зале, поздравляют, их знакомят с В. В. Стасовым».

И еще один человек сыграл важную роль в судьбе Маршака. Это выдающийся меценат русско-еврейской культуры барон Давид Гинзбург. Вот письмо Стасова Давиду Горациевичу:

«Интереснейший, прекраснейший, добрейший, милейший, etc, etc барон Давид Орасович, я к Вам приехал прямо из Стрельны от Вел. Князя. (Речь идет о К. М. Романове, публиковавшемся под псевдонимом К. Р. — М. Г.) Я ему говорил про нашего любезного Сама, и он сначала немного затруднился, а потом заинтересовался им…

Дорогой и милейший барон Давид Орасович, прилагаю тетрадь стихотворений нашего маленького Сама, которого Вы, по-видимому, поставите на ноги и выведете в люди. Дело чудесное, благородное и красивое, — и, если бы была какая-то (как говорят, многие, даже божатся!) будущая жизнь, Вы бы потом на том свете лизали всего 1 сковородку вместо 10 или 100, как мы все, рабы божии, твари недостойные!!»

В Ленинградском архиве Октябрьской революции сохранились дела Третьей петербургской гимназии, в которых имеется прошение от 19 сентября 1902 года Д. Г. Гинзбурга о зачислении полупансионером находящегося на его попечении С. Маршака в 4-й класс и сопроводительное письмо острогожской гимназии к документам С. Я. Маршака, полученным 7 октября 1902 года в связи с его переводом в Петербург. Вот что сказано о нем в приложенных характеристиках:

«Замечено ухудшение в здоровье, так что через это пропустил большее число уроков, чем в прошлом году. В обращении с товарищами замечено сознательное подчеркивание своего превосходства над ними и по своим способностям, и по своему развитию. Поведения отличного.

Д. Милославский».

Маршак встречался со Стасовым едва ли не ежедневно: то — в публичной библиотеке, где работал Владимир Васильевич, то — в его доме на Седьмой Рождественской улице. Но чаще всего на даче Стасова в деревне Старожиловке: «На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь в своей комнате, наверху, — вспоминал Маршак, — и часто будил меня громовым, стасовским, шепотом:

— Сам, ты спишь?

После этого обращения я уже, конечно, не спал и, пользуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его множеством вопросов…

У Стасова была давняя дружба со „Львом Великим“, как он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе…

С трогательной заботливостью старался он приобщить меня

ко всему, что было ему дорого».

«Он повез меня в Академию художеств и попросил Ивана Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать мне библейские рисунки Александра Иванова. Он брал меня с собой на органные концерты, где исполнялась музыка композитора, которого он ставил выше всех других — Баха.

Помню, как после одного из таких концертов он решительно тряхнул головой и сказал:

— И после всего этого помирать? Нет, не согласен!..»

Заметим, восьмидесятилетний Стасов обращался с пятнадцатилетним Маршаком, как со взрослым, хотя обращался к нему на «ты» и никогда не называл Самуилом. «Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище: „Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок“ и т. д.

Впрочем, чаще всего он называл меня короче — „Сам“…»

Стасов занялся воспитанием Маршака не на шутку. Он рассказывал Маршаку о своих встречах и дружбе с выдающимися художниками, в частности о Крамском, «а он ведь твой земляк, Сёмушка. Родился он в Острогожске».

13 сентября 1902 года, еще до зачисления в Третью петербургскую гимназию, Маршак писал Стасову, какой путь он для себя выберет в литературе:

«…С величайшим удовольствием прочел я „25 лет русского искусства“. Все глубоко, глубоко запало мне в душу. Мне кажется, что все то, что Вы считаете качествами и недостатками художника, может быть применено и к писателю. Я уверен, что вместо того, чтоб под звуки „лиры“ носиться в небесах — художник должен познакомиться лучше с землей, с ее людьми. Тут он может принести много, много пользы…

…Мне говорят, что я могу перемениться, но я твердо верю, что человек с волей никогда не изменит своего намерения. А у человека, который хочет поработать в своей жизни, должна быть сильная воля…»

Как уже говорилось, Маршак не отличался крепким здоровьем. В упомянутом выше письме он сообщает Стасову: «Грудь у меня болит, болит сильно — не знаю, что дальше будет». Надо ли говорить о реакции Стасова. Он тут же обратился к барону Гинзбургу с просьбой помочь С. Маршаку.

В начале весны 1903 года Гинзбург повез Маршака в Осиповку — местечко на Подолии. Лечение в Осиповке принесло пользу, но, увы, ненадолго.

«Здоровье мое было совершенно поправилось, но вдруг вчера опять хлынула кровь. Думаю, что к концу лета все поправится», —

пишет юный Маршак Стасову. И еще сообщает в этом письме: «У меня есть урок. Я занимаюсь с бедным еврейским мальчиком. Он удивительно хочет учиться. Занимаюсь и сам. Читаю немного, так как здесь очень мало книг. Из Петербурга получаю много писем. Какая чудная вещь Толстого: „Девчонки умнее стариков“. В какие красивые формы облекает он правду. Какая чудная наблюдательность. Как просто все, безыскусственно. Да разве хоть кто-нибудь из русских писателей писал так правдиво и так художественно!»

Письма Маршака подсказали В. В. Стасову неожиданную мысль, которую он изложил в своем послании юноше от 26 апреля 1903 года: «А знаешь, что я тебе скажу (впрочем, это будет, кажется, не новость, а повторение того, что уже раз или два тебе прежде говорил): не знаю, ошибаюсь я или нет, а мне все кажется, что ты будешь главным образом не прекрасным стихотворцем, а превосходным прозаиком. Ведь бывает же иногда с людьми: начинают со стихов, а потом съезжают на прозу, и оказывается, что это-то и есть настоящая их сила и власть… Пускай решает время».

Дружба юного Маршака с Великим Стариком В. В. Стасовым — явление само по себе уникальное. Вот отрывок из письма Маршака к своему брату Моисею от 23 августа 1904 года: «Спешу поделиться с тобой моей новой радостью… Вчера Владимир Васильевич (Стасов. — М. Г.) сказал мне, что вечером у него будет обед, на который приедет много гостей, между прочим, Репин, Максим Горький, Федор Шаляпин, Глазунов, Гинзбург, Блуменфельд (композитор) и многие другие. Мы составили шуточный адрес (я написал стихи, а Гинзбург разрисовал)»:

То не бор шумит и не гром гремит,
В бурю грозную, в полночь темную:
Это голос Федора Великого,
Славного богатыря Ивановича…
Загреми же ты! — мы послушаем,
Задрожим, как лист в бурю по ветру…

Это был экспромт. А настоящие стихи-воспоминания об этом вечере Маршак написал спустя много десятилетий. Вот уж воистину — не все предается и поддается забвению.

Маршак уже на склоне лет воздвиг поэтический памятник тому незабываемому дню:

Дождь барабанит в тишине
По зелени садовой.

А он племянницам и мне
Читает вслух Толстого…

Во дни рождений, именин
На стасовском рояле
Когда-то Римский, Бородин
И Мусоргский играли.

Тревожил грузный Глазунов
Всю ширь клавиатуры,
И петь весь вечер был готов
Под шум деревьев и кустов
Шаляпин белокурый.

И еще из воспоминаний Маршака об этой встрече на даче у Стасова: «Шаляпин обнял меня и поцеловал… после обеда Стасов предложил мне прочесть что-нибудь. Я прочел: „Рече Господь“, „Франческа да Римини“ и „Из Исайи“».

…О, как вы пали. Лежите в пыли,
Молите Бога о сытом покое…
Больно Мне, стыдно за рабство людское,
Жалкие черви земли!

Дал Я вам по два орлиных крыла,
Дал Я вам синюю глубь небосклона, —
Кровлей прикрылись вы: слишком бездонна
Вечная даль вам была!..

Я развернул вам безбрежную степь, —
Вы ж возвели эти стены!..
Дал Я вам дух Свой — огонь вдохновенный…
Был он всесилен, как царь над Вселенной,
Вами закован он в цепи!..

22 августа 1904 года запомнилось Маршаку еще и тем, что в этот день в доме у Стасова он познакомился с Горьким. «Горький взял меня крепко за руки, усадил около себя, стал гладить мою руку и сказал: „Будем переписываться“ <…>». Услышав в тот день стихи юного Маршака, расчувствовался до слез. Со слов Стасова он знал о плохом состоянии здоровья Маршака и предложил:

— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно,

Федор?

— Непременно устроим, — весело отозвался Шаляпин. Через некоторое время Горький вызвал Маршака в Ялту. Знакомство с Горьким перешло в настоящую дружбу. С тех пор в дни радости и успеха, в самые трудные, трагические минуты жизни Горький и жена его Екатерина Павловна были для Маршака талисманом. Алексея Максимовича Маршак запечатлел в стихотворении «Молодой Горький»:

Он сухощав, и строен, и высок,
Хоть плечи у него слегка сутулы.
Крыло волос ложится на висок,
А худобу и бледность бритых щек
Так явственно подчеркивают скулы…

На нем воротничков крахмальных нет.
На мастера дорожного похожий,
Он в куртку однобортную одет
И в сапоги обут из мягкой кожи.

Таким в дверях веранды он стоял —
В июльский день, безоблачный, горячий, —
И на привет собравшихся на даче
Басил смущенно: «Я провинциал!»…

Товарищ мой открытку мне привез,
Где парень молодой в рубашке белой,
Назад откинув прядь густых волос,
На мир глядел внимательно и смело…

Не гостем он приехал в Петроград,
Хоть и зовет себя провинциалом.
Вербует он соратников отряд
И властно предъявляет счет журналам…

Написаны эти стихи были в 1954 году, то есть через пятьдесят лет после встречи Маршака с Горьким. Впечатления от этой встречи оказались неизгладимыми. Впрочем, как и встреча с Великим Стариком Стасовым.

В. В. СТАСОВ: «ТЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕМЕНИШЬ СВОЕЙ ВЕРЫ…»

В. В. Стасов считал первостепенной обязанностью художника-еврея творить в национальном духе: «Нет искусства без национальности… Эти самые объевропеенные евреи, сколько они способны представить миру оригинальных мыслей, самобытных ритмов и никем не тронутых нот душевных… Или еврейская национальность кажется им… бедною, или тем в ней мало в ее старой и новой истории…»

Не без вляния В. В. Стасова (а может быть, оно было решающим) в творчестве Маршака появилась еврейская тема. Вот что писал Стасов в первом своем письме (15 августа 1902 года) своему пятнадцатилетнему другу: «…Первое — что ты никогда не переменишь своей веры, какие бы ни были события, обстоятельства, люди и отношения;

Второе — что ты будешь искать все более и более правды и жизни, и будешь все более и более чуждаться риторики, красивых, но праздных слов и картин, пустых фейерверков и цветных иллюминаций (— палач, произносящий риторические речи, действующие лица, произносящие рацеи по 20, по 50 строк!!);

Третье — что никакой успех и расхваливанья не сдвинут тебя с настоящей хорошей дороги и не затемнят твою головушку фольгой самомнения и мишурой нравленья толпе.

Наконец — что касается лично меня, — что ты будешь немножко помнить меня и теперь и после…

Целую тебя в лобик, как тогда!

Твой старый дедушка».

Из письма Маршака Стасову, посланного 20 августа 1902 года из Острогожска: «Написал недавно „Еврейскую легенду“. Когда-нибудь я пришлю Вам ее. Теперь собираюсь писать рассказ из гимназической жизни: „Жид“. Там я выставлю забитого ученика-еврея, оттолкнутого от всех товарищей, слабого, потерявшего даже сознание того, что он человек. И постараюсь писать беспристрастно. Напишите мне, пожалуйста, как Вам нравится эта тема».

Не пройдет и месяца, как Маршак напишет В. В. Стасову: «Знаете, дедушка, какая у меня заветная мечта: после университета забраться куда-нибудь в местечко „черты оседлости“. Там я буду работать, ближе познакомлюсь с ними, моими бедными братьями. Там я нужен, и я буду там. Мне

говорят, что я могу перемениться, но я твердо верю, что человек с волей никогда не изменит своего намерения».

Первое опубликованное стихотворение юного Маршака называлось «20 Таммуза», написано оно было о своем народе и для своего народа. Это стихотворение заслуживает особого внимания и требует комментариев. Но они последуют позже. Пока же остановимся на том, что еврейская муза Маршака оставалась тайной и для людей, полагавших, что близко знают его. Ученик Маршака, поэт Л. Друскин, в своей «Спасенной книге» пишет: «В ящике письменного стола и сегодня лежит растрепанный Псалтырь, который он (Маршак. — М. Г.) берег как зеницу ока.

А вот сионистскую заразу выжег до основания, и о трагедии еврейского народа во время войны нет у него, к сожалению, ни единой сочувственной строки». Первая часть этого утверждения лишена оснований, вторая — нелепая выдумка. Но пусть она остается на совести ученика Маршака.

А вот отрывок из воспоминаний поэта Арона Вергелиса: «Не многим сегодня известно, что Маршак начал с маленькой книжечки „Сиониды“. Еще молодым пареньком написал он ее. Я принес ему как-то эту книжечку и сказал: „Вот ваша первая книжечка“. Он был до крайности озабочен: „Голубчик, неужели я не все уничтожил?..“»

Здесь уместно вспомнить древнеримское изречение «Poeta semper tiro» («Поэт всегда простак»); но в нашей стране было опасно быть таким «простаком», да еще при этом и евреем (даже значащимся в Большой Советской Энциклопедии как «выдающийся русский поэт»), А уж за приверженность к сионизму можно было не только оказаться на Соловках, но и поплатиться жизнью. И с этой точки зрения реакция Самуила Яковлевича на «подарок» Вергелиса более чем естественна.

Утверждение же Арона Вергелиса, в тех же воспоминаниях, о том, что «в зрелые годы никаких еврейских мотивов в творчестве Маршака не было», мягко выражаясь, ошибочно.

Стихотворение Маршака «20 Таммуза» появилось в 1904 году в шестой книжке журнала «Еврейская жизнь». В этом же номере публиковались стихи И. Бунина, Ф. Сологуба, Балтрушайтиса, что говорит об авторитете и значимости этого издания. Для человека, малоизвестного в поэтических кругах, возможность опубликоваться в таком журнале — большая честь. «20 Таммуза» — одно из очень важных стихотворений в творчестве Маршака, которое с годами он, увы, вынужден будет «забыть» — топор ГУЛАГа, занесенный над головами писателей, постоянно напоминал о себе. Впрочем, как и «Речь Господь» («Кантата в

память Антокольского»), опубликованное в 1905 году в книге «М. М. Антокольский, его жизнь, творения, письма и статьи».

В автобиографии, написанной в Ялте в 1963 году, Маршак сообщает: «Печататься я начал с 1907 года в альманахах, а позднее — в только что возникшем журнале „Сатирикон“ и в других еженедельниках». А как же «20 Таммуза» (1904 год)? А «Кантата» (1903 год)?

В воспоминаниях Владимира Ходасевича о Есенине читаем: «Помимо автобиографии… которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в Советскую Россию, составил вторую… По-видимому, эта вторая московская автобиография написана неспроста… В ней есть важное отличие от берлинской… В ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах».

Если так поступал в начале 1920-х годов человек, такой вольный и независимый, как Есенин, то мог ли, даже в 1963 году — в период уже едва дышавшей хрущевской «оттепели», признаться поэт С. Маршак, что ему принадлежат стихи из цикла «Сиониды». Впрочем, не столь уж это и важно.

Вернемся к стихотворению «20 Таммуза».

«Таммуз», согласно Библии, — четвертый месяц в году, по современному же календарю он совпадает со второй половиной июня — первой половиной июля. В этом месяце евреи вспоминают одни из самых печальных событий своей истории. 17 Таммуза (по иерусалимскому Талмуду) — день поста в память о штурме Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. Именно 17 Таммуза произошло то, о чем писал пророк Иеремия: «Сделан был пролом в город…» 17 Таммуза произошло еще много трагедий в еврейской истории. В этот день, но задолго до падения первого Храма, Моисей разбил скрижали, на которых были начертаны заповеди Всевышнего. Если бы стихотворение Маршака называлось «17 Таммуза», было бы все понятно. Но почему оно посвящено 20-му дню Таммуза? Ошибиться Маршак, потомок древнего раввинского рода, человек, глубоко знавший Тору и Талмуд, не мог. Вот строфа из этого стихотворения:

Наш свет, наш день угас, и солнце огневое
Сокрылось прочь…
Пожрала тьма его — и все покрылось тьмою,
И снова ночь.

«Наш свет, наш день угас» — о чем или о ком эта строка? Кого «пожрала тьма»? — имена участников обороны Иерусалима в войне с Вавилоном нам доподлинно не известны. Словом, к 17

Таммуза стихотворение Маршака отношения не имеет. Но тогда о ком идет речь? Поэт пишет:

Я знаю: нет его. Но разум мой в раздоре
С моей душой,
И новое мучительное горе
Я не могу вместить, глубокое, как море,
В груди больной…

Кто этот человек, смерть которого стала «мучительным» горем для юного поэта? (Было тогда Маршаку 17 лет.) Ни один из знакомых еврейских историков, ни один из служителей культа не мог мне ответить на вопрос: какое трагическое событие произошло в истории евреев 20 Таммуза? Наверное, Иммануэль Самойлович, хранитель архивов и литературного наследия отца, знавший о его творчестве все, мог бы разъяснить. Но когда в начале 1980-х я прочел в списках эти стихи, И. С. Маршака уже не было в живых.

В начале 1990-х годов, работая над очерком «Мой Маршак (Агада о поэте)», я в очередной раз «ударился» в поиски истоков этого стихотворения. Расспросы, изучение архивов Самуила Яковлевича ничего не дали. Следующую попытку разгадать тайну этого произведения я «предпринял» в 2000 году. На сей раз обратил особое внимание на строки:

Преданье я слыхал: в разгаре боя
Могучий вождь упал,
И близкие к нему узрели смерть героя —
Их трепет обуял!..

В его войска та весть как искра пробежала —
И был жестокий бой,
Когда отчаянье уже овладевало
Смущенною толпой…

Следует сказать, что на первое опубликованное стихотворение Маршака «20 Таммуза» обратили внимание многие видные литераторы и даже сам В. Стасов. Вот что написал он юному поэту: «Искренне поздравляю тебя с первым напечатанным твоим стихотворением. Оно *прекрасно*» (Стасов. «Письма к деятелям русской культуры»).

Последние строфы из «20 Таммуза» напоминают другое стихотворение Маршака — «Над могилой», написанное двумя

годами позже и опубликованное в том же журнале. Посвящено оно памяти видного журналиста и политического деятеля доктора Теодора Герцля: «Орла не знали мы. Толпой в пустыне жгучей/ Без знамени мы шли». Я посмотрел в справочники и узнал, что Герцль умер 3 июля (20 июня — по старому стилю) 1904 года. Теперь уже нетрудно было догадаться, что стихотворение Маршака «20 Таммуза» связано с кончиной Герцля. Косвенным подтверждением тому была первая строфа стихотворения «Над могилой»:

И бросим ком земли. И встанем мы уныло.
И снова в путь пойдем. Но горе заглушить
И утешать народ — в груди моей нет силы.
На кладбище, у дорогой могилы
Я лишь со смертью буду говорить.
Певцы родные! О, пусть зловещей тучей
Несется ваша песнь над горестной землей.

Эта строфа — парафраз, по сути — продолжение строфы из стихотворения «20 Таммуза»:

Но пощадим народ, смущенный страшным звоном,
О, братья и друзья, —
И в шествии печальном похоронном
Пройдем мы, скорбь свою с рыданием и стоном
Глубоко затая.

Как уже говорилось, «20 Таммуза» было первой публикацией Самуила Яковлевича Маршака, да еще в журнале, в котором печатали стихи маститые русские поэты, такие как Ф. Сологуб, И. Бунин (его перевод стихотворения Бялика «Да исполнятся сроки» был напечатан в этом же номере). В этом же журнале «Еврейская жизнь» появилось и стихотворение «Над могилой».

В нем есть такие строки:
И вождь погиб. Насмешливо рыдая,
Завыл и налетел могучий вал, клубясь,
Пучина, жадно пасть как будто раскрывая.
Ждала и нас…
Мы плакать не могли, объятые тоскою,
Дрожали, трепетом полны…
О, кто же схватит руль могучею рукою
И нас спасет от натиска волны?

А в стихотворении «20 Таммуза» читаем: «Могучий вождь упал…»

Трагическая история еврейского народа очень волновала молодого Маршака, поэтому нет ничего удивительного в том, что он сблизился с молодежной организацией сионистов-социалистов «Паолей Цион». Вот строфа из его стихотворения «Две зари» (Молодому еврейству):

…Мы гибли… Впереди чернела лишь тоска…
Там ужасы Изгнанья рисовались…
За этим пламенем угрюмые века,
Как ночь без края, простирались…

В 1905 году эти ужасы, увы, не рисовались, а стали трагической реальностью. Пожалуй, никогда до того еврейские погромы в России не принимали столь жестокого и массового характера. Поводом могли стать не только деяния, но и слухи. Так было 22 апреля в Симферополе. Погром начался из-за того, что якобы еврейские дети осквернили икону. Летом 1905 года погром в Житомире произошел потому, что (и снова-таки якобы) евреи стреляли в портрет царя. После публикации царского манифеста от 17 ноября 1905 года еврейские погромы стали массовыми, охватив более шестисот городов черты оседлости. Только в Чернигове в 1905 году жертвами октябрьских погромов стали более 100 человек. Юный Маршак был наслышан обо всем этом и встречался с жертвами погромов…

Из письма Е. П. Пешковой (17 августа, 1905 года, Санкт-Петербург): «Знаете ли Вы подробности последних погромов?! Ужас!.. Убивали стариков, женщин, детей». Молчать Маршак не мог. Неудивительно, а скорее закономерно, что в эти трагические для евреев России, да и для самой России дни Маршак написал, быть может, самые сокровенные стихи на эту тему — «Песни скорби»:

Бледный вечер сошел… Замирая,
Уж застыл необъятный простор…
Где-то слышен смолкающий хор…
А душа все тоскует, больная…
Словно выжглись в тревожном мозгу
Эти крики, предсмертные стоны…
Засыпает весь мир упбенный —
Но рыдает напев похоронный…

И заснуть не могу, не могу!

Я вспомнил ночь: с тоскою мрачной
Горели звезды, как хрусталь…
Была печаль, как сон, прозрачна,
И сон тревожен, как печаль…
Летал он тихо надо мною,
Погибших братьев рисовал —
И юной, чистою мечтою
Себя я в жертву отдавал…
Зачем я здесь? Быть может, братья
Таятся в страхе по углам!
Зачем я здесь, зачем не там?
Ничтожный трус, тебе проклятье!..
Быть может, миг — для них прощальный,
Быть может, луч — последний луч…
И бледный месяц из-за туч
Глянул, как факел погребальный…

Воскресни, оживи во мраке гробовом,
Рыдаю я, склоняясь над тобою…
И тщетно я кричу в безмолвии ночном,
Противясь грозному покою…

И мне не пробудить поток страстей бурливых,
Как не вернуть прошедший светлый день…
Как не сорвать зловещей ночи тень
С небес угрюмо-молчаливых!..

И все же Маршак никогда еврейским поэтом не был, но начинал он как поэт русско-еврейский. Мы не согласны с мнением составителя сборника «На одной волне» Тамарой Должанской, которая в предисловии к этой книге пишет: «В молодости он был пишущим по-русски еврейским поэтом, — еврейским не только по происхождению, но и по всему содержанию своего творчества…» А вот в другом Должанская, пожалуй, права: «Он начал как Фруг с библейских мотивов, переводил с идиша и с иврита, откликался на все происходящее в еврействе». Это действительно так. Маршак, как завещал ему Стасов, никогда не изменял своей вере, оставаясь при этом поэтом русским.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Как много написано об этом чувстве — поэтами, художниками, композиторами! Разумеется, была любовь и у юного Сёмы Маршака. Звали ее Лиля Горвиц. Племянница знаменитой балерины Иды Рубинштейн — любимой ученицы М. М. Фокина (специально для нее писали музыку Глазунов, Римский-Корсаков; замечательный портрет ее создал художник Серов). Лиля Горвиц обладала тонким поэтическим вкусом, о чем свидетельствуют ее письма к Маршаку: «Только что перечитывала твои стихи. Ты спрашиваешь, нравятся ли они мне? Да, они производят на меня впечатление, в них есть сила и страстность, но я бы очень хотела прочесть что-нибудь твое собственное, глубоко прочувствованное, вылившееся из твоей души. Пиши мне все, касающееся твоего творчества; есть ли какая-нибудь перемена в твоих взглядах и требованиях; есть ли разница в форме; много ли ты пишешь? Углубляйся в самого себя, не разбрасывайся. Может быть, я не права; ты мне напиши, что ты думаешь об этом. Я бы тебе посоветовала писать самостоятельно, а не переводить…»

Дружба с Лилей Горвиц очень многое значила для семнадцатилетнего Маршака. Горничные для Лили были выписаны из Англии, и язык этой страны стал для нее вторым родным. Это она задолго до поездки Маршака в Лондон читала ему стихи английских поэтов, что сыграло не последнюю роль в его увлечении английской литературой. И все же справедливости ради приведем слова Маршака из автобиографических набросков, сделанных в 1945 году: «Я выбрал Англию — может быть, именно потому, что Стасов когда-то в дни моего отрочества подарил мне Шекспира и Байрона…»

А вот еще отрывок из письма Лили Горвиц к Маршаку: «… Слыхала от мамаши, что ты опять находишься в очень тяжелом положении. Не знаю, что советовать, не знаю, что говорить, все так запуталось, к тому же я подробностей никаких не знаю. Могу только сказать тебе, как я глубоко огорчена и всей душой надеюсь, что к осени все устроится. Мне больно думать, что мое долгое молчание, быть может, заставило тебя думать, что я тебя забываю и перестала принимать к сердцу твою судьбу. Если являлась тебе эта мысль — то гони ее прочь и прости меня, что я была причиной этих тяжелых минут. Через шесть недель буду, вероятно, в Петербурге. Мы увидимся, будем говорить, много будет тем. Ради всего тебе дорогого, святого будь силен и не падай духом. Пусть огонь, который горит в тебе, поддержит тебя,

ничто его не затушит, а из-за одной этой звезды стоит жить и страдать. Горе будет только еще очищать и утончать твою душу, прибавит струны твоей лире. Береги свое здоровье. Как только приеду в Городище, буду с мамашей говорить о тебе. Бог даст, что-нибудь придумаем. Я немедленно тебе оттуда напишу. Когда уезжаешь ты из Хащевато[8]? Пиши мне в Городище, Лохвица, Полтавской губ. Ида Львовна шлет тебе самые теплые, искренние пожелания. Мы часто с ней о тебе говорим. Мамаша писала, что напишет Владимиру Васильевичу и, вероятно, уже написала. Горячо жму твою руку. Прощай пока, надеюсь на хорошее».

Глава о первой любви поэта — Лили Горвиц, к сожалению, оказалась короткой.

Вот что пишет об этом романе Иммануэль Самойлович Маршак в своей книге «От детства к детям»: «Очень обогащала его глубокая и нежная дружба с Лилей Горвиц, сохранившаяся потом на многие десятилетия. В этот период их дружба перестала быть такой безоблачной, какой была сначала. Мать Лили, меценатка и приятельница Стасова, очень покровительствовала Маршаку. Но в какой-то момент отношения между ним и Лилей, видимо, стали вызывать ее беспокойство. Ей казалось, что юноша из бедной семьи — неподходящая пара ее дочери. И как-то, когда он однажды уходил после проведенного у них вечера и Лиля вышла было его проводить, Софья Адольфовна появилась следом за ней в дверях и строго, без объяснений, потребовала:

— Лиля, вернись!

Маршак ушел один с чувством большой горечи и дал себе обещание никогда больше не приходить в этот дом.

Он освободил себя от обещания только после революции, когда у него и у Лили были свои семьи, а сама Лиля находилась в трудных обстоятельствах».

Так закончился первый роман Самуила Яковлевича.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ (Ялта)

Горький и Шаляпин сдержали свое обещание — отправили Маршака в Ялту. Два года, которые он прожил в этом городе, оставили неизгладимый след в его жизни. «В Ялте меня ласково встретила Екатерина Павловна Пешкова… С ней было двое ребят, шестилетний Максим и двухлетняя Катюша. Это была небольшая, но дружная и веселая семья. Жили они на даче Ярцева, в белом доме на горе Дерсан. Народу был у них всегда полон дом. То и дело грели самовар…

Ялтинцы — это грустные и одинокие чахоточные, лежавшие на верандах, и та нарядная публика, которая ела мороженое в кондитерских и скакала на татарских лошадях по набережной…» Эти строки писал уже взрослый Маршак. А тогда, семнадцатилетний, он видел все в ином свете. Из письма В. В. Стасову от 28 октября 1904 года: «Живется мне здесь прекрасно. Катерина Павловна (Горькая — как ее здесь зовут) — чудный человек! Она обо мне очень заботится». А в письме от 14 ноября С. Маршак писал: «Катерина Павловна стала мне совершенно как родная. Ее заботам обо мне, о моем здоровье, занятиях и конца нет…»

Вот стихи о первых ялтинских впечатлениях Маршака. Правда, написаны они много лет спустя.

Утро. Море греет склоны,
А на склонах реет лес.
И разбросаны балконы
В синем зареве небес.

На веранде над оливой,
За оградою сквозной,
Платье легкое стыдливой
Замелькало белизной.

Тонких чашек звон задорный
С вышины сорвался вниз.
Там на скатерти узорной
Блещет утренний сервиз.

Жизнь юного Маршака в Ялте лучше всего отражена в его письмах. Так, в письме от 2 декабря 1904 года он сообщает

Стасову, что здоровье его довольно хорошее, но добавляет: «Только опять хлынула кровь и опять объяла меня страшная слабость…пока мне скверно: вот пишу, а голова разрывается на части, мысли не вяжутся». В этом же письме он говорит, что пишет стихи и прозу: «Владимир Васильевич, я уверен теперь, что писать буду, но думаю, если мне придется быть посредственностью, то лучше будет совсем бросить… Поживем — увидим». В Ялте Маршак много читает — Льва Толстого, Шекспира, Гёте, Байрона. «Многие вещи я теперь только понял (речь идет о Толстом. — М. Г.) и страшно полюбил… Пишите мне больше. Вы и Алексей Максимович так ободряете меня своими письмами. Меня подымает, мне хочется работать, и я верю в будущее.

Горячо целую Вас,

Ваш Самуил Маршак.

Пишите мне обо всем Вашем подробно. Привет дамам.

У нас дивный солнечный летний день».

Между тем в Ялте было не так уж блаженно и спокойно. Революционные события докатились и до этого райского уголка Российской империи. Маршак описал их спустя полвека в стихотворении-воспоминании «Ялта»:

И тихий ялтинский курорт
Забушевал, как вся Россия.
И Ялтой оказался порт,
Суда морские, мастерские.

Идет народ по мостовой.
Осенний ветер треплет знамя.
И «Варшавянку» вместе с нами
Поет у пристани прибой…

Пусть море грохает сердито
И город обдает дождем, —
Из Севастополя мы ждем
Эскадру под командой Шмидта.

Она в ту осень не придет…
Двенадцать лет мы ожидали,
Пока на рейде увидали
Восставший Черноморский флот…

Незадолго до отъезда из России приехал в Ялту Горький. Несомненно, это было одним из самых впечатляющих событий в

ялтинской жизни Маршака: «…Вокруг дачи постоянно шныряли шпики. Часто у нас в доме по ночам лихорадочно пересматривали и уничтожали письма в ожидании обыска…

Но, несмотря на все бедствия и угрозы, на даче Ярцева люди жили легко и бодро. Всем было просторно, всем хорошо.

И свои, и чужие чувствовали, что всем живется так славно потому, что в этом доме хозяйка — Екатерина Павловна Пешкова, такая молодая и приветливая, такая строгая и молчаливая.

Алексей Максимович приехал в Ялту после своего сидения в Петропавловской крепости…

Однажды он пришел ко мне и сказал:

— Вот что. У меня есть для вас два ученика. Хорошие ребята. Такие великолепные круглые затылочки. Пришли ко мне учителя просить. Я их послал к вам…

А спустя некоторое время директор Готлиб… вызвал меня к себе и скорбно сказал:

— Знаете, голубчик, генерал Думбадзе намерен вас выслать из Ялты. Лучше бы вам самому уехать, чтобы вас не арестовали. Только уезжайте не пароходом, а омнибусом. Это безопаснее…»

А вот что писал Василию Васильевичу Стасову из Ялты Маршак 6 сентября 1906 года: «Здесь, в Ялте, аресты и обыски без конца. Вчера отправили отсюда пароходом около 40 политических. По всему городу расположены солдаты и полиция.

Думаю, что мне удастся избежать неприятностей».

А вот строки из автобиографии Маршака, написанной в 1963 году: «Я остался в городе один. Снимал комнатку где-то на Старом базаре, давал уроки. В эти месяцы одиночества я запоем читал новую, неизвестную мне до того литературу — Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Эдгара По, Бодлера, Верлена, Оскара Уайльда, наших поэтов-символистов. Разобраться в новых для меня литературных течениях было нелегко, но они не поколебали той основы, которую прочно заложили в моем сознании Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Толстой и Чехов, народный эпос, Шекспир и Сервантес.

Зимой 1906 года меня вызвал к себе директор гимназии. Под строгим секретом он предупредил меня, что мне грозит исключение из гимназии и арест, и посоветовал покинуть Ялту как можно незаметнее и скорее». В Ялте восемнадцатилетний Маршак познакомился с П. Л. Войковым.

«Войков был не по возрасту серьезен, хотя голос его еще не установился, и в нем порой звучали мальчишеские нотки… Я не так часто встречался с ним, и все же — хотя с тех пор прошло более полувека — он встает передо мной как живой — вместе со всем бурным и замечательным девятьсот пятым годом, который

навсегда запечатлелся в памяти тех, кто пережил этот год в юности…» — писал Маршак к Б. П. Случанко 22 декабря 1958 года.

В письме к школьникам из Феодосии от 29 октября 1961 года он рассказал о том, как спас от военно-полевого суда «после подавления мятежа в Ялте… двух черноморских матросов, которым удалось избежать ареста», заметив при этом: «Я был очень горд тем, что мне, гимназисту, дали такое ответственное поручение…» Наверняка здесь не обошлось без влияния окружающих Маршака людей.

Он покинул Ялту на долгие годы. Вновь приехал сюда лишь в середине 1930-х, а в последние годы жизни Маршак бывал в Ялте часто. Здесь он чувствовал себя значительно лучше, чем в Москве.

Здесь его согревали воспоминания:

…Мне все мерещится: в саду
Под гром оркестра духового
Я под каштанами найду
Мачтета, Дембо, Щербакова.

Но где товарищи мои,
Подростки лет девятисотых?
Какие вынесли бой?
В каких состарились работах?

Где гимназистки этих лет
В коричневых и синих платьях?
В живых, должно быть, многих нет,
Да и не мог бы я узнать их!

И все же в городском саду
Меж тополей и лип высоких.
Мне кажется, я их найду, —
Как прежде, юных, краснощеких.

А вот еще один отрывок из стихотворения «Ялта», написанного в 1954 году:

Вот набережной полукруг
И городок многоэтажный,
Глядящий весело на юг,
И гул морской, и ветер влажный.

И винограда желтизна

На горном склоне каменистом, —
Все, как в былые времена,
Когда я был здесь гимназистом,

Когда сюда я приезжал
В конце своих каникул летних
И в белой Ялте замечал
Одних четырнадцатилетних…

Я видел Ялту в том году,
Когда ее покинул Чехов.
Осиротевший дом в саду
Я увидал, сюда приехав…

И кажется, что не дыша
Прошло здесь пять десятилетий,
Не сдвинув и карандаша
В его рабочем кабинете.

Он умер, и его уход
Был прошлого последней датой…
Пришел на смену новый год —
Столетья нынешнего пятый.

Чехов в жизни и творчестве Маршака занимает особое место.«…Говоря о Ялте, прежде всего вспоминаешь одно имя — Антона Павловича Чехова. С этим именем Ялта связана навеки. Мелькают годы, десятилетия, а до сих пор кажется, что в белом чеховском доме на краю города по-прежнему живет его хозяин…» — писал Самуил Яковлевич.

Почему дом Чехова оставался таким «чеховским» спустя десятилетия после его ухода из жизни? Здесь продолжала жить Мария Павловна, сестра и друг писателя. Как-то она сказала Ивану Семеновичу Козловскому: «Хорошо, что в доме музей». Но это по утрам, днем, а вечером она любила создавать «чеховскую» обстановку. Звала в гости тех, с кем с удовольствием бы сидел за столом Антон Павлович. «Не раз она приглашала меня с Самуилом Яковлевичем, — рассказывал мне Козловский. — Помню, когда шли туда первый раз, он спросил: „А там курить можно?“ Я посоветовал ему по этому поводу обратиться к хозяйке. Он спросил разрешения у Марии Павловны, еще не войдя в дом. Не раздумывая, она бойко сказала: „В доме Антона Павловича можно не только курить, но и танцевать, плясать и

даже ходить на голове“. Это было похоже на правду. Какие замечательные вечера проводили мы в этом доме».

12 октября 1963 года Маршак написал очерк «О Марии Павловне Чеховой». «За несколько лет до ее смерти я как-то побывал у нее со своим другом, драматургом и критиком, ныне покойной Тамарой Григорьевной Габбе, блестящей собеседницей, живым и остроумным человеком. Посидели мы у Марии Павловны всего только полчаса. Она не запомнила имени моей спутницы, но в продолжение двух-трех лет каждый раз при нашей встрече спрашивала:

— А где сейчас эта белокурая и такая острая?..

До последних своих дней Мария Павловна любила жизнь, любила радость и шутку. К одному из моих приездов, чтобы порадовать меня, она даже выучила наизусть одно из моих шутливых стихотворений. В ее возрасте это было настоящим подвигом».

«И ТОЛЬКО РАННЯЯ СВОБОДА…» (Бялик и Маршак)

В начале XX века население Ялты составляло немногим более 13 тысяч жителей, но евреев здесь оказалось гораздо больше установленной «процентной нормы» — свыше тысячи. И это несмотря на множество ограничений, введенных в разные времена правительством. В основном это были ремесленники, кустари, но заметную часть составляла интеллигенция — врачи санаториев, лечебниц. И неудивительно, что Маршак, опубликовавший в 1904 году в журнале «Еврейская жизнь» стихи, «20 Таммуза», «Над могилой», «Песни скорби», быстро был замечен ялтинской еврейской молодежью, выпускавшей тогда журнал «Молодая Иудея» и приложение к нему «Песни молодой Иудеи». Именно в этих изданиях появились первые сионистские стихи Маршака «Две зари» (Молодому еврейству), «Нашей молодежи». Здесь же, в Ялте, гимназист Маршак сделал переводы из «Песни песней» и один из самых заметных своих переводов с иврита — «Последнее слово» (Дос лецте ворт) Хаима Нахмана Бялика. В этот же период Маршак познакомился с Ицхаком бен Цви (в ту пору — Шимелиович) — лидером молодежной еврейской социалистической организации Поалей Цион. Интересно, что в 1952 году бен Цви был избран президентом государства Израиль, а Маршак за год до этого — в 1951-м — был удостоен очередной Сталинской премии.

Юный Маршак сотрудничал не только с ялтинскими журналами — в газете «Еврейская рабочая хроника», издававшейся в Вильнюсе, был опубликован гимн сионистского рабочего движения «Ди-швуэ» Ан-ского[9] в переводе Маршака.

В одном из первых писем, отправленных из Ялты Владимиру Васильевичу Стасову, Маршак пишет: «…Чувствую себя здесь чудно, бодро, хорошо, весело. Много работаю… читаю и пишу. Взялся я переводить Бялика. Что за чудный поэт! Какая сила».

Здесь, прервав письмо Маршака, расскажем об очень важных страницах его творчества, без которых биография Самуила Маршака была бы значительно обеднена. Дело в том, что долгие годы, а по сути — всю жизнь, Маршак вынужден был скрывать свою любовь к поэту Бялику, да и свои переводы из этого «самого гениального» — по мнению Горького — еврейского поэта, писавшего на иврите.

Почему о Бялике Маршак заговорил впервые в Ялте?

Предположить, что он не был знаком с творчеством Бялика

прежде, едва ли возможно. Скорее всего, именно в этом городе он вновь прочел Бялика и конечно же в оригинале, ведь даже самые лучшие переводы таких поэтов, как Сологуб и Ходасевич, не дают истинного представления об этом поэте. Сегодня немногим известно, что Маршак задолго до Жаботинского перевел стихотворение Бялика — «Птичка» (у автора — «К птице»). Важно отметить, что это было первое стихотворение Бялика. Вот что пишет о нем Жаботинский: «Он (Бялик. — М. Г.) явился к писателю И. Равницкому, готовившему тогда (1900 год. — М. Г.) к печати сборник под заглавием „Happardes“ и предложил ему для сборника стихотворение „К ласточке“. Редактирование книги уже было завершено. Равницкий согласился просмотреть стихотворение, но предупредил, что оно уже не попадет в сборник. Однако, прочитав, он передумал… Стихотворение попало в сборник. В еврейской литературе, где все имена были наперечет, этот „Happardes“ ожидался с большим интересом, этот дебют не мог пройти незамеченным».

Жаботинский перевел стихотворение «К птице» и включил его в издание переводов из Бялика 1911 года, озаглавив «К ласточке», но в более поздние издания Жаботинский этот перевод не включал. Можно предположить, что причиной тому был появившийся в журнале «Еврейская жизнь» (№ 10, 1906) перевод этого стихотворения, выполненный Маршаком, — с этим переводом даже самому Жаботинскому соперничать было трудно. Маршак же дал название стихотворения, близкое по звучанию к бяликовскому — у Бялика оно называлось «К птице». У Маршака — «Птичка». Вот четыре из шестнадцати строф этого стихотворения:

Привет тебе, пташка! Привет, дорогая!
Ко мне прилетела ты с юга…
Душа, по родным твоим песням скучая,
Давно стосковалась, подруга!..

Так спой же о странах, далеких, красивых…
Скажи мне, родимая пташка,
Ужели в краях, лучезарно-счастливых,
Как здесь, всем тоскливо и тяжко?..

Несешь ли привет от цветов Иордана,
Его безмятежной долины?
Скажи, излечил ли тяжелую рану
Господь у родной Палестины?..

Привет тебе, пташка! Привет, дорогая!
Опять прилетела ты с юга!
Душа стосковалась, по песне скучая…
О, пой, заливайся, подруга!..

Когда я впервые прочел «Птичку», мне оно показалось знакомым. Перечитав строку «Несешь ли привет от цветов Иордана», я невольно вспомнил лермонтовскую «Ветку Палестины»:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

А еще маршаковский перевод этого бяликовского стихотворения ассоциируется у меня со стихами Пушкина:

Где цвел? Когда? Какой весною?
И долго ль цвел?
И жив ли тот, и та жива ли?
Или уже они увяли?

Не вызывает сомнений, что перевод этот — подражание и Пушкину, и Лермонтову. Но будем помнить: выполнен он юным, восемнадцатилетним поэтом. Самому же Бялику в пору написания этого стихотворения было далеко за двадцать, и стихотворение это вовсе не сентиментальное, каким может оно показаться и показалось даже Жаботинскому: «Содержание было наивным: поэт здоровался с ласточкой, прилетевшей с юга весною, горько жаловался ей на то, как тяжело живется его народу в этой холодной стране…»

Напомним, «Птичка» Бялика — один из самых ранних переводов Маршака, но в нем он сумел сохранить музыкальный строй этого блистательного стихотворения.

Можно предположить, что с поэмой Бялика «Сказание о погроме» в пору работы над стихотворением «Птичка» Маршак

еще не был знаком (перевод Жаботинского был опубликован в 1906 году). Но о самом кишиневском погроме, конечно же, был наслышан, да и «Сказание о погроме» на иврите, безусловно, читал. Еврейские погромы, увы, бывали не только в Кишиневе — они происходили в Одессе, Киеве, Екатеринославе, Саратове и даже в тихой Ялте. 27 марта 1905 года Маршак пишет Владимиру Васильевичу Стасову: «Недавно в Ялте был ужаснейший погром. До чего может озвереть человек — ужас охватывает. Теперь Ялта на положении усиленной охраны». И далее в этом письме Маршак рассказывает Стасову о том, что вместе с учениками своего класса, где учились дети разных национальностей, создал школу для двадцати пяти мальчиков из бедных еврейских семей. В роли преподавателей выступали сами гимназисты, к своему делу они относились очень добросовестно, помогали делом и словом, организовали в школе завтраки — стакан молока с хлебом. Но могло ли это продолжаться долго? Маршак пишет, что однажды «нагрянула полиция, хотела составить протокол, все мои товарищи попрятались, и мне пришлось бы за все отвечать самому, если бы полиция не согласилась замять дело…» Полиция давно знала о существовании такой школы, но смотрела на это сквозь пальцы, однако после доноса она вынуждена была принять меры.

А за несколько месяцев до процитированного письма, 28 октября 1904 года, Маршак писал Стасову: «Сейчас я получаю известье о страшных погромах в Смоленске, Полоцке, Невеле. Что-то будет? Ведь евреям и обороняться нельзя! Ужас».

Итак, юный Маршак считает, что«…евреям и обороняться нельзя!». А в поэме «Сказание о погроме» Хаим Нахман Бялик осуждает свой народ за то, что тот не оказывает сопротивления погромщикам. Есть в «Сказании…» такие строки:

…Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее — ответь, сын человечий!
Иль лучше промолчи… Молчи! Без слов и речи
Им о стыде моем свидетелем ты будь.
И, возвратись домой в твое родное племя,
Снеси к ним мой позор и им обрушь на темя,
И боль мою возьми и влей им ядом в грудь.
И уходя, еще на несколько мгновений
Помедли: вкруг тебя ковер травы весенней, —
Росистый, искрится в сиянье и тепле.
Сорви ты горсть, и брось назад над головою,
И молви: мой народ стал мертвою травою,
И нет ему надежды на земле.

(Пер. В. Жаботинского)

Размышляя о судьбах своего народа, «…в стихотворении „Вот она, кара Небес“, Бялик подходит вплотную к самой печальной, самой малодушной, самой жалкой стороне еврейского упадка: к ассимиляции, — пишет Жаботинский. — Рост поэта слишком велик для обыденной полемики против людей или партий: он трактует ассимиляцию с высоты, как судья, а не как противник, и охватывает всю глубину этого уродства с редкой остротой анализа, обличающей в авторе мыслителя почти вровень с ростом поэта. Он не останавливается на видимых признаках болезни, таких как утрата национального языка или забвение национального прошлого.

Он подходит прямо и непосредственно к самой душе ассимиляции, вскрывает и расчленяет без жалости эту маленькую, съежившуюся душу — и не находит там ничего, кроме самого глубокого, самого безграничного из унижений. Что особенно поражает поэта, это — искренность рабства, рвение и усердие не за страх, а за совесть, вносимое денационализированным евреем в свою барщину; это не просто порабощенный человек, несущий ярмо по принуждению, это — раб сознательный, раб с увлечением, охотно целующий руку. „Величайшей из казней Божьих“ называет Бялик эту извращенную черту, эту способность внутреннего приспособления к неправде, это умение „отрекаться от собственного сердца“».

В отличие от В. И. Ленина, считавшего ассимиляцию евреев в России процессом не только прогрессивным, но и единственно перспективным, Бялик питал презрение к ассимиляции как к таковой. В предисловии к книге о Л. Пастернаке (книга вышла в Берлине в 1923 году) он пишет: «Душа их (ассимилированных евреев. — М. Г.) была отрезана от своего народа. Кров их народа представлялся им чересчур бедным и тесным, чтоб поселить там свою широкую душу и, выйдя, искать великие дела вне его границ, они забыли его стезю навеки. Единственная дань, которую они отдали своему народу, была только несколько капелек крови при обрезании, вскоре после рождения, и холодный труп — могила на еврейском кладбище, под конец, после смерти. Все остальное, все, что между этим: свет их жизни, мощь своей молодости, избыток духа и изобилие силы, крики души и биение сердца, все откровенное и дорогое, накопившееся в их крови силой поколений и заслугами предков, — все это они принесли добровольно, как всесожжение на жертвеннике Бога чужого народа». В этом же предисловии, отмечая таких

выдающихся художников, как Антокольский («Слепой портной») и Израэльс («Писец Торы»), Бялик не просто упрекает, а обвиняет этих художников едва ли не в предательстве своего народа, только из-за того, что преобладающими в их творчестве были русские темы. Конечно же Бялик был неправ. Еврейского искусства в то время в России и быть не могло. Как писал художник Леонид Борисович Пастернак в своем письме к Бялику, «…быть оно может только на родной своей земле, ибо всякое национальное искусство исходит из родной жизни и ею живет». И с этой точки зрения, по мнению Л. Б. Пастернака, армянин Айвазовский, грек Куинджи и евреи Антокольский и Левитан — «русские художники». Картину «Вечерний звон» — одну из самых проникновенных своих работ — Исаак Левитан написал в 1892 году (в тот год из Москвы было изгнано 20 тысяч евреев — практически все, кроме купцов 1-й гильдии). Оказавшись по состоянию здоровья в Ницце, он написал художнику А. М. Васнецову: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси — реки разлились, оживает все… Нет лучше страны, чем Россия!» (Весна 1894 года.) Можно понять Левитана… Можно понять и Бялика, его искреннее желание сохранить не только еврейскую культуру, но и евреев как нацию.

Поэт, своей жизнью и творчеством сделавший все, чтобы вернуть народу гимн свободы, имел право после кишиневского погрома с поистине шекспировской силой воскликнуть:

Эй, голь на кладбище! Отройте там обломки
Святых родных костей, набейте вплоть котомки
И потащите их на мировой базар
И ярко, на виду, расставьте свой товар;
Гнусавя нараспев мольбу о благостыне,
Молитесь, нищие, на ветер всех сторон,
О милости царей, о жалости племен —
И гнийте, как поднесь, и клянчьте, как поныне!..

(Пер. В. Жаботинского)

Прав был Маршак, написав о Бялике: «Что за чудный поэт! Какая сила!» Без свободолюбивых стихов Бялика не было бы таких стихов Маршака:

Волшебный край! Тоску, лишенья —
Я все готов перенести
За светлый час успокоенья,
За отдых сладостный в пути.
Придешь ли ты путем мучений,

Народ-кочевник чуждых стран,
К истоку вод, к блаженной сени,
Как этот стройный караван?

А что знает о Бялике современный читатель? «Бялик Хаим Нахман (1873–1934 гг.), еврейский поэт (на иврите и идише), фольклорист. В 1920 эмигрировал из России в зап. Европу, в 1924 — в Палестину». Составители Литературного энциклопедического словаря не обмолвились и словом о том, что произведения Бялика на русский язык переводили такие замечательные русские поэты, как В. Ходасевич, Ф. Сологуб, В. Брюсов, В. Иванов, Ю. Балтрушайтис, и что в нашей стране они не издавались никогда. Недомолвки все эти восполняет лишь статья великого русского поэта В. Ходасевича «Бялик»: «В лице недавно скончавшегося Хаима Иосифовича Бялика еврейский народ понес тягостную утрату. Роль, сыгранная им в культурной и общественной жизни еврейства, огромна. Он был поэтом, историком, талмудистом, педагогом, переводчиком, издателем, публицистом, общественным деятелем (между прочим — был избран выборщиком в Государственную Думу 3-го созыва; самая большая и плодотворная часть его жизни протекала в России, которую он покинул с воцарением большевиков)…Неотделимый от своего народа биографически и творчески, он, как всякий истинный поэт, в то же время есть достояние всеобщее, и его смерть истинная потеря для всех».

Почему же Маршак решил перевести «Последнее слово»? Владимир Жаботинский, переведя так много стихов Бялика, почему-то не обратил внимание на это стихотворение. Между тем сам Бялик, судя по всему, придавал ему особое значение — ведь это было единственное стихотворение, которое поэт перевел сам с иврита на идиш, полагая, видимо, что так оно быстрее дойдет до народных масс — для большинства обитателей черты оседлости идиш был родным языком. Маршак, знавший оба еврейских языка, предпочел перевести «Последнее слово» с идиша:

Меня опять Он к вам послал,
когда ревел могучий вал
и по ветру носились вы,
как груда высохшей листвы,
и руки падали у вас,
и силы таяли в груди.
И в ваш последний грозный час
явился Он и рек: «Иди!»

«Им тяжело, — сказал мне Он, —
Им слишком больно. О, скорей
Иди! У них ты вырви стон,
Исторгни слезы из очей.

Пусть будет стон, как лязг металла.
Слеза — как молот тяжела,
Чтобы земля затрепетала
И зло и горе сотрясла».

И я пошел. Пускай каменья,
преграды были предо мной, —
меня могучее стремленье
толкало с силой неземной.
И ваша боль меня толкала,
и вам помочь душа алкала…

Бог одарил меня душою,
вам эту душу подарю.
И мне язык Иегова дал.
Он — острый блещущий кинжал.

Коль вы из камня — он железный,
Коль вы железо — он булат.
Народ, и встанешь ты из бездны,
могуч и пламенем объят!

Теперь пред дверью стал пророк.
Напрасен зов, — ответа нет.
Тяжелый мрак главу облек,
погас могучий луч, мой яркий свет.
Я встретил здесь и позор и стыд,
передо мной закрыли дверь,
и слово Божие звучит
насмешкой горькою теперь.

Пророк не был услышан, пророк не был понят, пророк был осмеян, и Бог наказывает свой народ:

…Бежать вы будете, как тени,
из края в край, из дома в дом,
и град вас встретит оскорблений,
как нищих на пиру чужом…

И вам земля могилой станет,
беззвездной будет ваша ночь,
и жизнь, как мертвый лист, увянет,
ваш стон развеет вихорь прочь…
И рек Господь:
«Пусть принесут
пророку глиняный сосуд,
а он о камни разобьет
и крикнет:
„Так погиб народ“».

Если бы Маршак перевел в Ялте только стихотворение Бялика «Последнее слово», он бы уже навсегда остался в русско-еврейской литературе. Но в Ялте он написал десятки стихов, многие из них были опубликованы в журнале «Молодая Иудея» в 1905–1906 годах. У этого журнала было приложение «Песни молодой Иудеи», где наряду со стихами Маршака публиковались стихотворения Якова Година, среди них «Новый пророк»:

И запылала новая заря,
И уползает ночь, бледнея…
Он к нам прошел не в мантии царя.
Не с дивным жезлом Моисея.
Он к нам пришел, уставший, как и мы,
Как мы от слез и мук изнывший…
И расшатал тяжелый свод тюрьмы,
Тоской и жаждой нас давивший.
И в даль повел, в загадочную даль,
Куда мы пламенно стремились.
Когда в глухих застенках бились —
И дал нам новую скрижаль…

Сегодня поэт Яков Годин почти (или совсем) забыт. Между тем его, как и Маршака в юности, увлекли идеи сионизма. Позже не в меньшей мере его увлекли идеи социализма. Когда началась Первая мировая война, Яков Годин писал военно-патриотические стихи и, казалось, забыл о «Песнях молодой Иудеи». Да и стихи Маршака из этой тоненькой книжечки не вспоминали почти восемьдесят лет. Лишь в 1993 году некоторые из них были напечатаны в сборнике «Менора» (Москва — Иерусалим). Вот одно из них — стихотворение «Две зари», которое автор посвятил молодому еврейству:

Наш старый храм горел. Пылала вся страна,
И ночь пред пламенем бушующим бежала,
И рамкой черною, казалось, окружала
Картину зарева она…

Мы гибли… Впереди чернела лишь тоска…
Там ужасы Изгнанья рисовались…
За этим пламенем угрюмые века,
Как ночь без края, простирались…

Вот охватил огонь святыню алтаря.
Нам одинокий путь в Изгнанье освещая!..
Так, беспросветный мрак тоскливо предвещая,
Горит вечерняя заря!..

Почему идеи сионизма так увлекли юного Маршака в Ялте? Разумеется, не последнюю роль в этом сыграли погромы, прокатившиеся в то время по Украине, Молдавии, Белоруссии, югу России. В 1906 году Маршак написал стихотворение «Над могилой», посвященное основоположнику сионизма — доктору Теодору Герцлю, призывавшему собратьев бороться за создание своего национального очага. Об этом — последняя строфа стихотворения:

К рулю! За труд, пока кипит в нас кровь!
И наша тьма, как молнией средь ночи,
Разрезанная Им, — хотя закрыл он очи, —
Да не сольется вновь!

Вероятно, стихотворение это было написано в Ялте, где Маршак стал свидетелем еврейских погромов, как и другое стихотворение — «Нашей молодежи», опубликованное в ялтинском журнале «Молодая Иудея» № 1 за 1906 год и заканчивающееся так:

И только ранняя свобода
Своим лучом тебя зальет —
Пусть этот луч — гонец восхода
С тебя в народ наш снизойдет!..

И в этих стихах слышится Бялик — его «Да, погиб мой народ…».

Незадолго до публикации этого стихотворения, в августе 1905 года, Маршак писал Е. П. Пешковой: «В Житомире 2-й погром. Один драгунский офицер изрубил на мелкие куски еврейскую девушку… Самооборона бессильна. Сколько молодежи погибло в самозащите. Совсем юной, моего возраста…» Так что увлечение Маршака Бяликом вполне понятно.

А вот что писал о Бялике Горький: «Для меня Бялик… — точно Исайя, пророк, наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов… Мне кажется, что народ Израиля еще не имел, — по крайней мере, на протяжении XIX века, — не создавал поэта такой мощности и красоты». Неудивительно, скорее — замечательно, что этого поэта русскому читателю подарил наряду с Владимиром Жаботинским, Владиславом Ходасевичем, Вячеславом Ивановым, Федором Сологубом и Самуил Маршак.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И РЕШЕНИЙ ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

В Петербург Маршак вернулся из Ялты летом 1906 года. Время это было непростое. После подавления революции 1905 года в умах царило смятение, что конечно же не могло не отразиться и на литературе. Впоследствии Маршак не раз будет возвращаться к этому времени в беседах с молодыми литераторами, на семинарах молодых писателей. А позже объединит их в цикл «Не память рабская на сердце». Есть в этих заметках такие мысли: «Что же такое „вдохновение“?

В пору упадка поэзии вдохновением называют некое полубредовое, экстатическое состояние сознания. То состояние, когда разум заглушен, когда сознательное уступает место подсознательному или, вернее, бессознательному, когда человек как бы „выходит из себя“. Недаром многие поэты этой поры в поисках пьяного вдохновения прибегают к наркотикам. Кокаин, опиум, гашиш — неизменные спутники декаданса».

Излишне говорить, что такие времена для литературы не очень благодатны. Безвкусные произведения не лучшим образом влияют на читателей. Однажды, получив письмо от своей двоюродной сестры С. М. Гиттельсон, преисполненное восторга от творчества Лидии Чарской (впрочем, не одна она зачитывалась ею), Маршак ответил ей стихами:

«Милая Соня,
Тебя я люблю,
Но Чарскую Лиду —
Совсем не терплю.

У Лиды, у Чарской
Такой есть роман:
В семье одной барской
Родился болван.

И няньки, и бонны
Ходили за ним.
Был мальчик он томный
Лицом — херувим…

Он только для вида
Всегда был хорош…

…Заносчив он слишком,
Гордится родней,
И прочим мальчишкам —
Пример он дурной…»

Что же в те смутные годы спасло поэзию Маршака от соблазнов, от пошлости? Думается, прежде всего — воспитание, полученное в семье, генетический код его предков и конечно же влияние В. В. Стасова, я бы сказал — непреходящее влияние, и еще — умение «находить» друзей. Поэт Валентин Дмитриевич Берестов — друг Маршака — приводит в своих воспоминаниях рассказ Юдифи Яковлевны Маршак об этом времени: «А вот Маршак и еще несколько молодых людей разгуливают по Питеру, сшибают сосульки, насвистывают, напевают. Сегодня у них праздник. Он называется „Умозгование весны“.

И еще одна прогулка. Рядом с Маршаком молодой, худощавый человек с бледным, измученным лицом. Он всего на семь лет старше Самуила Яковлевича, но уже знаменит. Это Саша Черный. Впрочем, за те часы, пока они без цели бродят по городу и читают стихи, оживление Маршака передается и ему. Саша Черный ведет Маршака к себе в меблированные комнаты. Пьют вино и снова читают, читают…» И это в то время, когда Маршаку предстояло сдавать выпускные экзамены в гимназии! За год до этого, летом 1905 года, находясь в гостях у родителей (до этого он у родителей не был почти год) в Разливе, где семья Маршаков снимала дачу, он готовил к поступлению в гимназию свою сестру Юдифь и провожал ее на каждый экзамен. «По дороге, за какие-нибудь полчаса, он рассказал мне всю древнюю историю, которую мне нужно было сдавать, — вспоминала она. — Рассказывал он с таким юмором, что я, вместо того, чтобы волноваться перед экзаменом, всю дорогу хохотала…»

15 августа 1906 года Стасов подарил Маршаку четвертый том своего Собрания сочинений, сделав в нем такую надпись: «Сам, пожалуйста, будь всегда САМ и меня никогда не забывай. В. С.». И ниже: «Желаю поскорее большой рост — в сажень». Это была последняя встреча Маршака со Стасовым, но незадолго до нее Стасов в очередной раз помог Маршаку избавиться от неприятностей — да еще от каких!

Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях «Вами зажженный горит огонек» А. Гольдберг: «Среди многочисленных подопечных Стасова был молодой скульптор Герцовский. Во время одного из приездов Маршака из Ялты в Петербург Стасов

познакомил его с Герцовским, и молодые люди стали встречаться. Из разговоров с Герцовским Маршак понял, что тот связан с каким-то революционным кружком, помогает в перевозке оружия и поэтому обязан соблюдать конспирацию. Однако, судя по всему, он ее не слишком строго соблюдал.

Как-то вечером Маршак заехал к Герцовскому на Васильевский остров. Окно было освещено, дверь открыли сразу, но в квартире оказалась засада. Два дюжих жандарма повезли Маршака в охранное отделение. И тут же начался допрос.

За столом сидел человек в штатской одежде и разбирал бумаги. Он протянул один из листов Маршаку:

— Это вам адресовано?

Действительно, вверху страницы было обращение к Маршаку, а потом шло письмо, в конце которого были нарисованы виселица и колыбель.

— Кажется, ваш приятель изволил предсказать свою судьбу? Он арестован, и Бог знает, что его ждет. Может быть, и петля. Но при чем здесь колыбель?

Маршак пробежал глазами и из туманных словоизлияний Герцовского понял, что тот намерен жениться. Зная склонность Герцовского к символистике, нетрудно было догадаться, что петля и колыбель воплощали в себе возможные перспективы будущего брака.

Но следователь не поверил этим объяснениям и, хотя никаких улик против Маршака не было, на всякий случай постращал его серьезными последствиями. И вдруг, изменив тон, порекомендовал не заниматься террором, а следовать учению графа Толстого, не отвечая на зло насилием. Это было так неожиданно, что Маршак с трудом удержался от смеха, несмотря на невеселую ситуацию.

Ночь он провел в одной комнате с безумно скучающим жандармом, который время от времени будил его и уныло тянул: „Послушайте, сыграем в шашки“. А под утро явился следователь и весьма почтительно осведомился, знаком ли Маршак с действительным статским советником Стасовым, который его разыскивает.

Маршака сразу же освободили, и он зашагал по пустынным улицам к своему избавителю. Много позднее он узнал, что Герцовского выслали из Петербурга».

Самуилу Маршаку приходилось постоянно думать о заработках — его отцу все труднее становилось содержать большую семью. Именно в то время Маршак начал активно сотрудничать со многими петербургскими газетами и журналами,

продолжая писать стихи. Еще свежи были воспоминания о жизни в Крыму, но душой его теперь завладел Петербург — Петербург Александра Блока:

Это не дома, а корабли.
Мачты, флаги темных кораблей —
Тучи перетянуты вдали.
Полночь звезд светлей.

Улица открыта и пуста.
Стало белым золото креста.
Над Невой светлеет высота.

Дремлет пристань. В лодку мы сошли.
Тихо и волнисто на мели.
Но пугливо встречен был волной
Плеск весла над гулкой глубиной.

Это был уже не тот город, который он оставил два года назад. Духовный облик столицы заметно изменился. В поэзии появились новые громкие имена: Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Игорь Северянин… Но по-прежнему любимым поэтом Маршака оставался Блок. Судьба сводила их не раз. Маршак бывал у Блока как репортер петербургских газет. «Помню, с каким волнением читал я ему в его скромно обставленном кабинете свои стихи. И дело было тут не только в том, что предо мною находился прославленный, уже владевший умами молодежи поэт. С первой встречи он поразил меня своей необычной — открытой и бесстрашной — правдивостью и какой-то трагической серьезностью. Так обдуманны были его слова, так чужды суеты его движения и жесты. Блока можно было часто встретить в белые ночи одиноко шагающим по прямым улицам Петербурга, и он казался мне тогда как бы воплощением этого бессонного города. Больше всего образ его связан в моей памяти с питерскими Островами. В одном стихотворении я писал»:

Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Это из автобиографии Маршака, написанной им в Ялте в

1963 году.

А вот что рассказал он своему другу художнику Николаю Александровичу Соколову много лет спустя после вышеописанной встречи: «Вообще Блок был для меня образцом благородства и чистоты. Помню, в молодости я шел как-то белой ночью по пустынной набережной Невы под руку со случайно встретившейся женщиной… Мы говорили о пустяках. И вдруг вижу: стоит у решетки черный силуэт. Это был он — Блок. Высокий, бледный, с одухотворенным лицом.

Он узнал меня. Мы поклонились друг другу. И мне вдруг стало так стыдно от этого контраста».

Маршак в те годы написал немало лирических стихов, но лишь несколько из них он включил в книгу лирики, изданную в конце жизни. Вот одно из них — «Качели», посвященное Якову Годину:

На закате недвижимо
Закружился светлый сад…
Стой смелей! — вперед летим мы…
Крепче стой! — летим назад.

Как игра весны и бури —
Наша радость и испуг.
От лазури до лазури
Описали полукруг.
Очертили коромысло…
В бледном небе ты повисла
С легким криком и мольбой…

И нырнула станом стройным
Вниз — и ястребом спокойным
Я поднялся над тобой.

27 ноября 1908 года Маршак пишет Блоку:

«Уважаемый Александр Александрович,

не написал Вам до сих пор о своем деле, так как неожиданно должен был уехать из Петербурга.

Дело мое заключалось в следующем. Я рассчитывал устроить какой-нибудь концерт или вечер в пользу моего друга Я. В. Година, которому угрожала солдатчина и которого можно было избавить от нее за 100–150 рублей. У меня не было ни одного знакомого среди артистов и артисток, и я хотел просить Вас помочь мне в деле привлечения участвующих. Но теперь Годин освобожден и, следовательно, концерт больше не нужен.

Затем я предполагал взять у Вас цикл стихов (кажется, „О Прекрасной Даме“), который Вы обещали в наш сборник.

Сборник этот выйдет в феврале, а рукописи надо собрать не позже 8 декабря.

О направлении сборника мы говорили Вам еще весной, но если Вы пожелаете, я могу сообщить и различные подробности».

Нетрудно понять, что с такой просьбой можно обратиться не просто к хорошему знакомому, а к человеку, которому доверяешь, на помощь которого имеешь основания рассчитывать.

Яков Годин был ровесником Самуила Маршака. Он родился и вырос в гарнизоне Петропавловской крепости. Отец его, выходец из кантонистов, служил там фельдшером. Ранние стихи Якова Година очень отличались по содержанию от стихов того же периода Самуила Маршака. Одно из первых его стихотворений, написанное под впечатлением событий 9 января 1905 года, было напечатано в большевистской газете «Новая жизнь». Кровавое воскресенье было, увы, не первым трагическим событием, которое довелось увидеть Якову Годину. Он был еще ребенком, когда стал свидетелем смертной казни в Петропавловской крепости. Все это не могло не сказаться на его мировоззрении. Яков Годин уехал из столицы в начале 1910-х годов, но дружеские отношения с Маршаком поддерживал до последних дней своей жизни.

Вот несколько строк из воспоминаний Ольги Яковлевны — дочери Година: «Отец много рассказывал о своей дружбе с Самуилом Яковлевичем, об их юношеских годах, когда они вместе постоянно гостили в семье известной пианистки С. Г. Крайндель, где их называли мальчиками — Сёмой и Яшей…»

В середине 1950-х годов, уже после смерти Година, поэт Сергей Городецкий писал:

«Поэт эпохи революции 1905 года Яков Годин заслуживает того, чтобы его знал и советский читатель… Он стал поэтом городских окраин, поэтом пролетарской любви… С редким для молодого человека чутьем он выбрал своим учителем первейшего поэта той эпохи — Александра Блока — и стал скромным, но умным и верным его учеником…»

Безусловно, именно сходное восприятие творчества Блока способствовало сближению Година и Маршака. «Помню… я задал себе вопрос, кого из новых в ту пору писателей я больше всего люблю, и ответил себе: Александра Блока и Бунина… — писал Самуил Яковлевич. — В 1910-м году я был у Блока дома (на Галерной улице). В небольшом и скромном его кабинете я, волнуясь, читал ему свои стихи. На его строгом, внешне спокойном лице нельзя было прочесть, что он думает о моих стихах. А потом он сказал мне несколько добрых и приветливых

слов, но тоже строго и сдержанно…

И тогда, и при каждой следующей встрече с ним я как-то внутренне подтягивался. Так необычно правдив он был и так по-юношески трагически серьезен. Глубокая и сложная душевная жизнь чувствовалась в каждом его взгляде и жесте. Он был как бы воплощением Петербурга и его белых ночей…»

Известный литературовед Станислав Рассадин назвал свои воспоминания о Маршаке очень точно — «Звено». Действительно, Маршак был знаком со Стасовым, Репиным, Блоком, Горьким, Шаляпиным, Глазуновым, оказался свидетелем революционных событий 1905 и 1917 годов, испытал на себе невзгоды советской эпохи, был наставником многих поэтов. И вот что Маршак рассказал Станиславу Рассадину о своей последней встрече с Блоком, состоявшейся, вероятно, в 1910 году: «Я читал ему свои стихи, и он очень внимательно слушал, а потом сказал: „У вас есть свое солнце“. Хотя, правду сказать, стихи были подражательные, и подражал я, конечно, ему».

Сегодня трудно установить, какие стихи читал Маршак в тот день Блоку, но можно предположить, что, услышав такой высокий комплимент от первого поэта России («У вас есть свое солнце»), он среди других стихов прочел ему и стихотворение, написанное еще в юности, в 1906 году:

В долинах ночь еще темнеет,
Еще светлеет звездный дол,
И далеко крылами веет
Пустынный ветер, как орел.

Среди колонн на горном склоне
Стоишь, продрогший, в забытьи…
А при дороге ропщут кони
И возмущенные ручьи.

Опять дорога. Мрак и тряска.
Но с моря выглянет рассвет,
И кони, упряжь и коляска
На скалы бросят силуэт.

В первые десятилетия XX века Маршаку довелось пройти суровую школу жизни. Он мыкался по редакциям газет и журналов, предлагал статьи, фельетоны — среди них и стихотворные, и при этом не оставлял мысли об учебе в университете. Но… «после моего изгнания из Ялты поступить в русский университет мне было нелегко, — вспоминал он, — и я

решил по примеру многих моих сверстников уехать за границу».

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ («Софьюшка моя…»)

Летом 1911 года сбылась давнишняя мечта Маршака: редакция «Всеобщей газеты» (она принадлежала издательству «Брокгауз — Ефрон») направила его и Якова Година в качестве собственных корреспондентов на Ближний Восток. Поездка эта оказалась для Маршака судьбоносной по многим причинам. Но прежде всего потому, что во время этого путешествия он встретился со своей будущей женой — Софьей Михайловной Мильвидской.

История их знакомства такова.

Не по-летнему прохладным выдался в Одессе июнь 1911 года. Шумная толпа пассажиров, ожидавших посадки на теплоход, отправлявшийся к берегам неведомой Палестины, гудела, галдела, философствовала, собравшись в группки, вокруг своих чемоданов и баулов с пожитками. Среди отъезжающих привлекал внимание высокий мужчина в огромной черной шляпе с широкими полями — такую обычно носили хасиды. Он сосредоточенно читал молитвенник, но периодически произносил речи, громко, как на митинге.

— Мы проедем через шесть морей, — вещал он хорошо поставленным голосом. — И если даст Бог, на седьмой день будем уже дома. Наш Бог повелел нам в этот день отдыхать.

— Все он знает, — произнес молодой человек в пенсне. На нем был макинтош, а в руках — трость. — Откуда, адон[10], вы взяли шесть морей? Столько нет во всей Европе.

— При чем здесь Европа?! Может, вы думаете, что мы едем в Испанию? Вы не правы. Мы едем в Азию. В Эрец-Исроэль.

Последние слова он произнес так выразительно, что они эхом пронеслись под сводами Одесского морского вокзала. Стоявшая неподалеку от спорящих пожилая пара испугалась, услышав эти слова.

— В какой еще Эрец-Исроэль? Мы с мужем купили билеты в Палестину. Мы поплывем в Иерусалим.

Хасид громко и откровенно рассмеялся:

— В Иерусалим идут своими ногами. И не идут, а восходят. Это называется «алия»! Как же туда можно приплыть на пароходе, если там даже реки нет?

В глазах женщины появилось замешательство. Повернувшись к мужу, она истерически закричала:

— Я же тебе сказала, что нас обдурили! Только бы выманить

последние гроши за билеты. И вообще ты никогда не знал, что ты хочешь от жизни, а уж куда ехать — тем более. Не жилось тебе в нашем Овруче! Цадик Исаак Шнеерсон, его дети и внуки так любили наше местечко, и не нужен им был никакой Иерусалим! Ты слышал, там даже нету речки. Тебе, наверное, надоели карасики, которых ловил в Норине наш сосед Мыкыта накануне субботы?! Ты захотел в Палестину, а нас везут в какой-то Эрец-Исроэль. Я даже не слышала, что есть такой город на свете.

Неподалеку от них стояли два молодых человека, выделявшиеся своей интеллигентной внешностью и спокойствием. Один из них решил успокоить разволновавшуюся женщину.

— Не волнуйтесь, мадам, нам предстоит переплыть не шесть морей, а три.

А второй молодой человек с ехидцей уточнил:

— И одно из них — Мраморное.

— Зачем вы меня дурите, молодой человек?! Разве по мрамору могут плыть пароходы?!

Окружающие стали прислушиваться к этому разговору. Молодой человек, пытавшийся успокоить женщину, обратился к своему приятелю:

— Сёма, как тебе нравится наша компания?

На что тот ответил:

— Не волнуйся, Яша, главное, чтобы мы не оказались в одной кают-компании.

Эти молодые люди давно мечтали побывать на Святой земле. Один из них — популярный поэт еще в 1907 году написал такие стихи:

Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
С запыленною одеждой,
Замедленною стопой.
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим.
И с холмов окинем взглядом
Мы долину Иордана,
Над которой пролетели
Многоскорбные века.
И над павшими в пустыне
Пред лицом тысячелетий
В блеске желтого заката

Зарыдаем в тишине.

Наконец была объявлена посадка на пароход, и пассажиры выстроились длинной цепочкой, чтобы по трапу подняться на борт. А когда пароход вышел в море, они собрались в кают-компании. Кто-то пел, кто-то музицировал, а Маршак читал свои стихи. А когда прочел строки:

А назавтра, на рассвете
Выйдет с песней дочь народа
Собирать цветы в долине,
Где блуждала Суламифь…
Подойдет она к обрыву,
Поглядит с улыбкой в воду —
И знакомому виденью
Засмеется Иордан,

раздались аплодисменты, как это бывает в театре. Декламатор окинул взглядом стоявших вокруг него людей и вдруг встретился глазами с девушкой необыкновенной красоты, с девушкой, казалось, сошедшей с полотен художников эпохи Возрождения. Она смотрела на него, а он на нее, сквозь толстые стекла очков. Она сама подошла к декламатору:

— Кто автор этих дивных стихов?

Стоявший рядом Яков не позволил другу ответить:

— А вы угадайте.

— Что не Лермонтов, я догадываюсь, не Пушкин — тем более. Но и они бы не выразили лучше тех чувств, что сейчас живут в моем сердце.

— Автор — один из нас, — улыбнулся Яков.

Молодые люди не могли скрыть своего восхищения незнакомкой. В ее красивых выразительных глазах, казалось, отразилась вся история народа, ее породившего.

— Вас зовут Юдифь, — уверенно сказал Яков.

— Назовите автора этих дивных стихов, и я назову свое имя.

— Я ведь уже сказал, это один из нас.

— Значит, это вы, — девушка обратилась к спутнику Якова.

— Как всегда, Сёма, донжуанские лавры достались тебе! — вздохнул Яков, но уже через несколько минут умудрился тайком подарить прекрасной незнакомке сборник «Песни молодой Иудеи», где были и его стихи, с дарственной надписью. А потом спросил: — А можно я прочту чужие стихи? Уж очень они напоминают наше путешествие. — И продекламировал Л. Яффе:

…Средь грязных ящиков и тюков
Толпой евреи собрались.

На них субботние наряды,
Их храм на палубе в огнях,

И луч покоя и отрады
Играл в их выцветших чертах.

В простор задумчивый и ясный
По волнам песня их плыла,

Гремел над морем хор согласный:
«Lecho doidi likrath Kalax»!

Тонул и падал берег в море.
Бледнел далекий огонек,
Зажегся Млечный Путь в просторе,
Мы плыли дальше на восток…

Сгорали свечи беспокойно,
Дрожала вспугнутая мгла…
В душе напев тянулся скромный:
«Lecho doidi likrath Kalax»!

— Замечательные стихи, но ваши, — посмотрев на Самуила, сказала девушка, — нравятся мне больше.

Окрыленный таким неожиданным успехом, Самуил прочел стихи:

Скорбь забуду, гнет душевный
И разбитые мечты,
Там узнаю дни отрады,
Дни любви и красоты…

В глазах девушки блеснули слезы:

— Перепишите мне эти стихи, я хочу их запомнить.

— У нас еще будет время: нам предстоит путешествовать вместе не один день.

Самуил и новая его знакомая так пристально смотрели в глаза друг другу, что это заметили окружающие.

— Сказано в нашем Писании: «Заклинаю вас, девицы иерусалимские сернами и полевыми ланями: не будите и не

возбуждайте любовь, пока она не придет», — провещал хасид.

Пожилой человек, услышав эти слова, произнес на идише:

— Их зэй, а сы из а пурл фын Гот (Я вижу, эту пару создал сам Бог).

Молодые люди, непроизвольно взявшись за руки, отошли в сторону.

— Меня зовут Софья. Так меня назвали в память о бабушке Шейндл, она родом из местечка Ионишкис.

— Насколько мне известно, Софья — скорее от имени Сора или Сара, а не Шейндл.

— Я поняла, что в делах еврейских вы разбираетесь лучше меня. И все-таки я Софья, Соня, — с очаровательной улыбкой сказала девушка.

Софья Мильвидская в 1907 году окончила ковенскую женскую гимназию и уехала в Петербург — мечтала поступить в институт.

…Вскоре молодые люди общались так, будто знали друг друга много лет.

Из очерка «Весенние облака», написанного Маршаком во время путешествия по Палестине (вот уж прав был Владимир Стасов, предрекая Маршаку хорошую прозу): «На мгновение разорвалась легкая ткань весенних облаков, и солнце, так недавно казавшееся тусклым и небольшим диском, затерянным в небе, вновь загорелось ослепительным светом и во все стороны устремило яркие, острые лучи.

Это было на склоне дня, и золотой свет солнца на тротуаре явился только грустным предчувствием вечера. Мы бродили по людным улицам фабричного загорода, изредка перекидываясь словами, но больше всего отдаваясь, каждый в отдельности, смутным и печальным настроениям городской весны. Иногда нас останавливал сильный порыв ветра, захватывающий наше дыхание, и тогда мы изменяли направление нашего пути, но домой не возвращались…

За каменным забором высились черные стволы деревьев. Выглянуло солнце — и они стали еще чернее. Причудливо застыли резко и строго изогнутые ветви.

— Я не люблю весну, — сказала моя приятельница. — Весной бывает тоска и бессонница и я много плачу. А помню, когда-то, когда была девочкой, я любила ее. Я много спала весной — и ночью и днем. Особенно сладко спалось днем. А сны какие бывали!

Ветер утих. Облака плыли, как во сне. Солнце таяло за белым, густым облаком.

— Какие же сны бывали у вас?

— Вот как эти облака. Быстрые, беспорядочные и непрерывные. И такие же тяжелые и бурные, как облака».

Сколько сказано о любви с первого взгляда, сколько написано! Сколько сомневающихся в том, что она бывает! И все же такое случается.

Однажды влюбленные оказались вблизи Вифлеема. В тот день Самуил рассказывал своей возлюбленной о моавитянке Руфи, прабабушке царя Давида. У могилы Руфи он читал ей отрывки из библейской «Книги Руфи», а потом свои стихи:

Моавитянка — Руфь. Еврейка — Ноэминь.

— Мать! Скорбную сноху в унынье не покинь.
О как постылы мне родимые края!
Твой Бог — отныне мой. Твоя страна — моя.
Муж не оставил мне ребенка — им бы жить! —
Мать мужа моего! Позволь тебе служить.

Вот неразлучны мы… Вот родина твоя…
На жатву позднюю — в поля собралась я.
Удела нет у нас. Ты мне позволь, о мать,
Пойти в поля к чужим — остатки подбирать […]

Заветами отцов сильна твоя страна…
Вооз купил наш дом. И я — его жена.

Мать счастья моего! Взгляни: мой сын растет…
С ним — на тебя, на всех — пусть благодать сойдет!

Обстоятельства сложились так, что Софья Мильвидская уехала из Хайфы в Одессу 21 августа 1911 года, а Самуил Маршак с Яковом Годиным продолжили путешествие. Возвращались они через Грецию. Надо ли говорить о настроении Самуила Яковлевича в первые дни, когда он оказался вдали от Софьи? Лучше приведем стихи, навеянные этой любовью:

…Гаснет солнце золотое
Меж темнеющих зыбей.
Завтра выплывет другое —
И туманней и бледней.
Только светлое участье
Мне рассеет эту тьму.
Здравствуй, северное счастье!
Зимовать — не одному…

Самуил и Софья решили соединить свои судьбы. Но здоровье Маршака во время путешествия по Палестине было подорвано приступом малярии, и он не смог вернуться в Петербург в назначенный срок. К счастью, сумел оповестить родителей о причинах задержки и сообщил: «А пока вместо меня приедет к вам моя невеста — Софья Михайловна Мильвидская». По получении письма старший брат Маршака поехал за невестой брата и привез ее в дом.

«Мы не можем отвести глаз от ее прекрасного лица, от ее прелестной улыбки. Софья Михайловна рассказывает нам о том, как она познакомилась со своим женихом, как вместе ехали они из Одессы на пароходе» — это из воспоминаний сестры Маршака Юдифи Яковлевны. Особенно запомнился ей, да и всем Маршакам, рассказ Софьи Михайловны о старом еврее, отправившемся в Палестину во второй раз, чтобы быть похороненным на Святой земле. В первый свой приезд в Палестину он, помолившись у Стены Плача, пошел в Старый город, снял небольшую комнатушку и каждый день спокойно молился в ожидании последнего дня своего. Прошло два года, а последний день не приходил. Вернулся старик в свое родное местечко Чечельник на Подолии, повидался со старым ребе, с детьми, с внуками, но жить без Эрец-Исроэля, как оказалось, уже не мог. И во второй раз пустился он в дальнее путешествие. На пароходе старик ни с кем не общался, по утрам надевал свой старый талес и читал молитвы. Самуил Яковлевич все же сумел разговорить старика, расспросить его. На вопрос, не страшно ли ему навсегда расставаться с родными и близкими, старик ответил: «А чего страшиться? Дети, внуки все равно приедут ко мне. Если не ко мне, то на мою могилу. В любом случае я их привезу в Эрец-Исроэль, в Иерусалим». «Живой Агасфер!» — тихо сказал Маршак. Хорошо, что старик не понял смысла этих слов и не обиделся. Он по-прежнему исправно молился по утрам и вечерам.

И еще в день первой встречи с родными Маршака Софья Михайловна читала им стихи, присланные ей Самуилом в Петербург:

Грущу о севере, о вьюге,
О снежной пыли в час ночной.
Когда, открыв окно в лачуге,
Я жадно слушал стон лесной…
Грущу о севере — на юге…

Юг благодатный, луг цветистый,

Густая зелень, синь небес, —
Как мне милей закат огнистый,
Когда он смотрит в редкий лес —
В мой лес туманный и пушистый.
Синеет юг, страна чудес.

Звенят и блещут волн каскады…
Но разве в памяти исчез
Усталый звон из-за ограды —
При свете гаснущих небес!..

Более полугода продолжалось путешествие Маршака и Година по странам Ближнего Востока. Они побывали в Палестине, Сирии, Ливане, Греции. Исправно посылали в русские газеты репортажи. А по возвращении в Россию Маршак написал цикл стихов «Палестина»:

Когда в глазах темно от горя,
Я вспоминаю край отцов,
Простор бушующего моря
И лодки, полные гребцов…

В кофейне низкой и убогой
Идет игра, дымит кальян…
А рядом пыльною дорогой
Проходит тихий караван.

И величавый, смуглолицый,
Степных просторов вольный сын,
Идет за стройной вереницей
Своих верблюдов бедуин…

То в мирной и счастливой сене
В случайной рощице олив
Верблюды спят, склонив колени,
Пока не будит их призыв.

Давно в печальное изгнанье
Ушли Иакова сыны.
Но древних дней очарованье
Хранят кочевники страны…

На родину Маршак вернулся в октябре 1911 года. Будучи

корреспондентом многих газет и журналов, он часто ездил в командировки и подолгу не виделся с Софьей. И тогда писал ей письма: «…Если наши отношения не будут безукоризненно светлы и прекрасны, значит, мы сами настолько плохи, что никуда не годимся. Значит, ничего хорошего от нас ждать нельзя.

Ибо данные все есть. Любим мы друг друга сильно. Оба мы правдивы. Оба очень молоды и, не убегая от жизни, хотим узнать ее всю, учимся у нее. Оба свободны и так сильны духовно, что можем быть одиноки. Одиноки, даже будучи вместе, вдвоем. Ведь не всегда люди близкие открыты друг для друга. Это бывает только минутами. Это большое счастье, когда так бывает.

А главное: ценить друг друга и видеть другого не в мелочах, а в целом.

Но увидим, увидим. Я надеюсь на себя, на свою волю, которая окрепнет в первые же минуты свободного и разумного существования, надеюсь на вкус и такт и мою любовь к тебе. И жизнь — она ведь великая учительница…

P. S. *Никому* не говори, что… Для всех посторонних я всегда самый счастливый и веселый человек».

Письма Маршака к Софье Михайловне — это удивительный эпистолярный роман.

Вот отрывок из другого письма: «…Как проходят твои дни? Серьезно, хорошо, красиво? Есть ли у тебя хорошие книги? Бываешь ли иногда на концертах? Помнишь ли, что в Петербурге находится великолепный Эрмитаж? Туда лучше всего отправляйся одна, даже в том случае, если кто-нибудь рекомендует тебе свои услуги в качестве „знатока“ картин или чего-нибудь другого. Пойди одна или с какой-нибудь скромной и молчаливой подругой. Там в музее отметь, что отметится, пойми, что поймется…

…Я здоров. Только грущу очень: и по тебе, да и вообще грущу.

Воля вольная, которую я так почувствовал на пароходе, когда провожал тебя, опять стала для меня чем-то далеким и полузабытым.

А ведь это была *моя*, совсем мне по характеру и по вкусу обстановка.

Чувствую себя хорошо во время хорошей музыки, прогулок, когда работаю и доволен своей работой…

Музыка, книги, впечатления — все это только толчки для нашей интенсивной внутренней работы — в себе.

И, Сонечка, мы даже будем вместе только для того, чтобы каждый из нас дал другому новую энергию для всестороннего, полного развития его индивидуальности, его способностей и

дарований.

Опять, как всегда, я как будто поучаю тебя чему-то. Но это не так. Просто теперь я больше, чем когда-либо, задумываюсь о том, какое течение примет в дальнейшем моя жизнь и наша жизнь вместе. Поверь, что в этих моих письмах ты не найдешь ни одной общей фразы, ни одного непрочувствованного места…

…Верь мне всегда. Пусть у тебя не будет недоверчивости и, не дай бог, подозрений.

Жизнь не без облаков, не без туманов. Но какие бы ни были облака или туманы, даже самые страшные, — ты будешь свято верить, что наше солнце все-таки выглянет.

Молод я, во многом — что касается меня самого — не разобрался, но одну черту я подлинно открыл в себе: это-верность близкому человеку. Но и на какие-то падения я иногда способен.

Но мы много, часто говорили с тобой об этом. Может быть, я даже клевещу на себя… я только хочу, чтобы наши глубокие-глубокие отношения не зависели от случайностей, от чего-то, что иногда вне нас.

Может быть, так нельзя говорить милой девушке, милой невесте, — напротив, надо заботиться о том, чтобы с ее лица не сходила радостная улыбка, чтобы ее глаза смотрели весело, смело и безмятежно.

И ты, читая эти строки и любя меня, будешь светлой, безмятежной и радостной…»

Были, разумеется, и препятствия — вечная тема Монтекки и Капулетти, но в отличие от Ромео и Джульетты, роман Самуила Маршака с Софьей Мильвидской оказался счастливым. В декабре 1911 года Самуил снял квартиру в Петербурге на Бронницкой.«… Вчера переехал на Бронницкую, откуда и пишу тебе. Комнаты мне нравятся. Одно нехорошо: ночью было очень холодно, несмотря на то, что вечером топили.

Хозяйка уверяет, что, во-первых, в комнате было тепло, а во-вторых, было холодно только оттого, что в комнатах с 17 декабря никто не жил.

Проведу здесь еще одну ночь — и, если опять будет холодно, не знаю, что и делать…

…Настроение хорошее. Дни солнечные и морозные. Сегодня был какой-то прозрачно-белый и строгий рассвет.

Перед сном я на мгновение со свечой зашел в твою комнату — и казалось мне, что мы уже долго-долго живем вместе, а вот теперь ты уехала, и не слышно твоего ровного дыхания.

У Немировского был вчера вечером в первый раз за все время (после первого посещения). Он поправляется. Как только я вошел, мы оба — с места в карьер — заговорили о Пушкине, о Нащокине,

о Жуковском, о Бетховене, о Родене. — „О Шиллере, о славе, о любви“, как резюмировал подобные разговоры Пушкин. Иногда о таких вещах поговорить невредно…

Сейчас я ничего не пишу и душевно счастлив, как вегетарьянец, который „никого не ест“. Писанье — серебро, а молчанье — золото. Отдохну, а потом, авось, напишу что-нибудь хорошее…

Я по-прежнему на улицу не выхожу. Простуда самая легкая, но я не хочу рисковать, да и отдохнуть не мешает. Понемногу читаю: то Пушкина (в Брокгаузовском издании), то „Амура и Психею“ — сладострастную поэму, прообраз нашего современного романа — латинского поэта Апулея — правда, в очень плохом переводе. Писать еще не хочется. Вот только письма — тебе!

…Я отдал паспорт, а вернется он не раньше воскресенья — понедельника. Как бы из-за этого не вышло еще новой задержки с нашим венчанием. Но во всяком случае к этому времени будь в Петербурге. Хотелось бы мне, чтобы наша любовь вышла наконец из этого мрачного фазиса — посторонних вмешательств и помех. Глубокое, интимное чувство так нуждается в замкнутой интимной обстановке. Вот в чем преимущество так называемой „свободной любви“ в благородном ее смысле. Но не об этом речь. Пусть нас с тобой оставят поскорее в покое!

…Вчера пришли Годин с Андрусоном — и мы читали Пушкина и Тютчева. Оба они нашли, что вечер проведен прекрасно. Сегодня вечером жду Мальчевского. Расскажет, как провел лето на Ледовитом океане…»

13 января 1912 года Софья Михайловна и Самуил Яковлевич поженились. Ближайшие планы их были достаточно определены. Решили поехать в Англию учиться английскому языку и завершить образование. А пока почти ежедневно в различных периодических изданиях публиковались заметки, статьи, фельетоны Маршака под разными псевдонимами. Очень редко он подписывался под ними собственной фамилией. Быть может, это будет интересно исследователям, изучающим не только творчество Маршака, но и тот мозаичный период русской литературы и публицистики. Вот один из стихотворных фельетонов Маршака, написанный в 1912 году в связи с приездом на гастроли в Петербург Айседоры Дункан:

Потянули босоножки
В наш туманный Петроград.
Пятки босы, как ладошки…
Легкий греческий наряд…

Нет стеснительных застежек,
Легким ножкам — нет препон…
Черных ножек, белых ножек
К нам несется легион!

Как эстет и как художник,
Я хвалю такой прогресс…
Но клянусь, будь я сапожник,
Я на стенку бы полез!

Босоножек стало много.
Но скажите, отчего
Нет на сцене «босонога»
До сих пор ни одного?

Покорясь несчастной доле,
Без путей и без дорог —
На Горячем вольном
Поле Приютился «босоног»…

Занимался Маршак и поэтическими переводами. В основном с идиша и иврита. Тогда, в начале XX века, занятие переводами даже вошло в моду. Бунин перевел «Гайаватту» Лонгфелло, Брюсов переводил Верхарна, в то же время появились переводы Блока из Генриха Гейне, Жаботинский перевел «Ворона» Эдгара По. Но, к сожалению, наряду с талантливыми поэтами и писателями переводами увлеклись и посредственности. По этому поводу Маршак написал знаменитое свое стихотворение-фельетон «Жалоба», которое было опубликовано в журнале «Сатирикон» № 15 за 1908 год.

О, как терплю я от жестокой моды
На переводы!..

Жена
Переводит «Нана»,

Вера —
Бодлера,

Лена —
Верлена,

Маленькая Зинка —
Метерлинка,

А старая мамаша —
Шолом Аша.

Откликался Маршак и на политические события. Вот стихотворный фельетон, поводом для которого послужил приезд делегации английских парламентариев в Петербург.

Кабы нынче снег да сани:
Приезжают англичане,
Их бы думский голова
Прокатил на Острова.
Кабы горы ледяные,
Кабы санки расписные, —
Было б множество затей
Для почтенных для гостей!..

Англичанам мы покажем,
Вместе с северным пейзажем,
С гордым видом на Неву,
С общим взглядом на Москву,
То, что выдумал народный
Хитрый гений: хлеб голодный.
Не в последний недород
Изобрел его народ.
Гость его не кушал дома.
Тут кора, тут и солома…

Стихотворение это было опубликовано в 1912 году во «Всеобщей газете». Любопытно, что подписано оно псевдонимом «Уэллер», заимствованным из «Записок Пиквикского клуба» (были у Маршака и другие «английские» псевдонимы, в частности «Д-р Фрикен»), Одним из «любимых» героев фельетонов Маршака был руководитель «Союза русского народа» и одновременно «Союза Михаила-Архангела», депутат Государственной думы многих созывов, реакционер Владимир Митрофанович Пуришкевич. В 1912 году Пуришкевич выпустил сборник своих стихов «В дни бранных бурь и непогоды», на что Маршак ответил стихотворным фельетоном «Пиит»:

Пять долгих лет увеселял

Он думские собранья.
Пять долгих лет он издавал
Одни лишь восклицанья.
Но вот в последний думский год
Созрел в нем новый гений:
Уж он не звуки издает,
А том стихотворений.
О Гёте, Байрон и Шекспир,
И Пушкин, и Мицкевич!
К вам собирается на пир
Владимир Пуришкевич.
Как вам понравился собрат?
Ведь он — не кто попало!
Он бравый правый депутат
И в чине генерала.
Пять лет скрывался он, но вдруг
Явил нам гений новый!
О, Академия наук!
Готовь венец лавровый!

В той же «Всеобщей газете» Маршак опубликовал один из самых злобных своих стихотворных фельетонов «О Ясной Поляне»:

Сыновья Толстого
Продают именье, —
Не суди сурово,
Не бросай каменья.
Сыновьям Толстого
Много денег надо:
Рода ведь какого,
Рода и уклада!

Ясную Поляну
Мы б у них купили.
Да не по карману.
Много запросили!
Пусть же купят янки
Нашу драгоценность,
Славные останки —
Все же это бренность.

…Пусть же купят янки
Ясную Поляну…

Мало денег в банке,
Нам не по карману!
Нам литература
Без того расходец:
Строгая цензура —
Дорогой народец.

При всей репортерской суете, занятости в душе его, к счастью, оставалось место для чувств. В 1911 году во время путешествия по Греции, по пути из Солоников в Афон, он написал одно из лучших своих лирических стихотворений. Вот его окончательный вариант:

Туманный полдень. Тень печали
На корабле. Замедлен бег.
А за кормой над зыбью дали
Как бы кружится легкий снег.

Нет, это чайки. Странно дики
И нарушают смутный сон
Их нарастающие крики,
Короткий свист и скорбный стон…

Поджаты трепетные лапки,
Наклонено одно крыло…
Нам скучен день, сырой и зябкий,
А им — привольно и светло…

Но вот взгляни: в тревожном гуле,
Как бы в глубокой тишине,
Они устали и заснули
И закачались на волне.

Надо ли говорить, что такие стихи мог написать человек счастливый, по-настоящему влюбленный. Почему он не опубликовал это стихотворение тогда, в 1911 году, — не столь уж существенно. Думается мне, что в кругу близких ему людей он читал его.

В августе 1912 года исполнился год со дня возвращения Софьи Михайловны из Палестины в Санкт-Петербург. Маршаки решили отметить эту годовщину поездкой в Финляндию. 21 августа 1912 года они приехали в небольшой городок Оллила и конечно же вернулись к воспоминаниям о своем путешествии по

Ближнему Востоку. В тот же день Маршак эти воспоминания изложил в стихах. В одном из них, «На верблюде (Реховот — Экрон)», речь идет о посещении двух городов. Один из них — Реховот — в ту пору был еще небольшим поселком (в 1898 году его посетил сам доктор Герцль), второй — древний Экрон, город некогда филистимский, оказавшийся в XIII веке до н. э. во владении колена Дана, а позже завоеванный воинами колена Иуды, о чем говорится в Книге Судий: «Иуда взял Газу с пределами ее, Аскелон с пределами его и Екрон с пределами его».

Когда верблюд, качаясь, нес
Тебя песчаною дорогой,
И ты на скат и на откос
Смотрела издали с тревогой…

…Давно ль верблюд, качаясь, нес
Тебя пустынею убогой,
А я, как опытный матрос,
Тебя удерживал дорогой?

Встреча со страной праотцев оставила неизгладимый след не только в памяти Самуила Яковлевича, но и в его поэзии. В тот день 21 августа 1912 года в Оллиле он написал одно из самых блистательных своих стихотворений — скорее это маленькая поэма:

Я был в английском легком шлеме
И в сетке, тонкой и сквозной,
А то бы мне и грудь и темя
Прожег палящий южный зной…

Нас было много. Тут был целый
Веселый дружеский ферейн:
Ханани — малый загорелый
И оголтелый Айзенштейн…

Не торопясь, спокойным шагом
Мы долго шли. Но вдруг без слов
Решили всем ареопагом
Найти верблюдов иль ослов.

Ханани, шедший с карабином,
Ханани, храбрый человек,
Дорогу неким бедуинам

И их верблюдам пересек…

«Как поживаешь и откуда?
Я друг твой! Вот тебе рука.
Дай нам до Экрона верблюда
За целых три металика».

Казалось, будет перестрелка
И не уступит бедуин,
Но совершилась эта сделка
Довольно быстро — в миг один…

Итак, мы сели. Боже, боже!
Какой сюрприз, какой испуг,
И сколько криков, сколько дрожи,
Когда верблюд поднялся вдруг…

Потом мы двинулись неслышно
Вдоль по дороге — по пескам.
Как беспорядочно и пышно
Лежали платья наших дам!

Нам было весело сначала,
Хоть и качало нас чуть-чуть.
Но так потом нас закачало,
Что стал нам страшен дальний путь…

Вдали закат вставал, как чудо —
Пылали розы в синеве…
Когда спустились мы с верблюда,
Слегка кружилось в голове.

Потом в гостинице дорожной
Нам блюдо подали маслин,
И чай мы пили невозможный
В стране плодов и сладких вин…

Среди друзей Маршака того периода был Гедеон Моисеевич Немировский, талантливый инженер-химик. Самуилу Яковлевичу он чем-то напоминал отца: близорукий, невысокого роста, небольшая бородка, как у Якова Мироновича, внимательный взгляд. Он был всего на десять лет старше Самуила, а казался старым. Это он настойчиво советовал Маршаку учить английский:

почувствовал в Маршаке талант переводчика.

В АНГЛИИ

В сентябре 1912 года Софья Михайловна и Самуил Яковлевич отправились учиться в Лондон. Маршаки сразу полюбили этот город. Они подолгу гуляли по тихим улочкам пригородов, а по выходным выбирались в центр, в лондонские парки. Пройдет больше сорока лет после первой встречи с Лондоном, а в памяти Маршака он останется таким, каким был в начале века:

Гайд-парк листвою сочною одет.
Но травы в парке мягче, зеленее.
И каждый из людей привносит цвет
В зеленые поляны и аллеи.

Вот эти люди принесли с собой
Оранжевый и красный — очень яркий.
А те — лиловый, желтый, голубой, —
Как будто бы цветы гуляют в парке.

И если бы не ветер, что волной
Проходит, листья и стволы колебля,
Я думал бы: не парк передо мной,
А полотно веселое Констебля.

Еще до отъезда в Англию Самуил Яковлевич заручился согласием нескольких редакций газет и журналов печатать его корреспонденцию. Это позволило ему и Софье Михайловне платить за учебу в Лондонском университете. Софья Михайловна поступила на факультет точных наук. Самуил Яковлевич — на факультет искусств. Часами работая в университетской библиотеке, он буквально впитывал в себя поэзию Вильяма Шекспира, Вильяма Блейка, Роберта Бёрнса, Джона Китса, Редьярда Киплинга. Пожалуй, не менее, чем творчество этих поэтов, его увлек английский детский фольклор, исполненный тонкого, причудливого юмора.

Жилье Маршаки поначалу снимали в бедных районах Лондона — в северной его части, потом в восточной. Позже перебрались в центр, поближе к Британскому музею, где жило много таких же студентов-иностранцев, как и они.

В свободное время, обычно в каникулы, Маршаки совершали многодневные походы. В самые трудные и дальние походы Самуил Яковлевич отправлялся один. Но это не значит, что он

расставался с Софьей Михайловной — он писал ей письма, иногда по нескольку в день.

Вот отрывок из письма от 16 декабря 1912 года:

«Сонечка,

сейчас я вернулся с прогулки. Уходил очень далеко в обе стороны большой дороги. Лунная и звездная ночь — по дороге разгуливают парочки и группы молодых людей и девиц. Издали мчится какой-нибудь лондонский автомобиль. Велосипедистов и теперь еще много. Ночь довольно холодная. Даже как будто есть легкий морозец. Звонко отдаются шаги.

Странная вещь. Эппинг всего в 16 верстах от Лондона, а нравы здесь совсем патриархальные и примитивные. На нового человека все с любопытством оглядываются. При встрече с незнакомыми людьми говорят „good evening!“ или „good night!“…

Напротив нашей гостиницы церковь. Каждые полчаса на колокольне — целый концерт».

А вот отрывок из письма, написанного на следующий день: «Эппинг — маленький городок, почти местечко. Домики двухэтажные. Много гостиниц, пабликхаузов, иннов. Очаровательная дорога идет к Harlow и в лес.

На дороге великое множество велосипедистов, всадников, амазонок. Всадники — в белых жилетах и брюках и в красных смокингах. Дамы — в обычных амазонках.

Встретил я сестру милосердия на велосипеде, старуху на велосипеде…

Сейчас я пишу тебе в своем номере в пабликхаузе. Кажется, комната — чистая, довольно чистая. Полотенце дали безукоризненное. Постельное белье как будто свежее, а впрочем — не знаю. Не очень тепло, но не холоднее, чем у г-жи Надель. Довольно уютно <…>

Завтра я, по всей вероятности, утром пойду в Harlow — 6 верст отсюда. Если погода будет дурная, останусь здесь.

В деревне комната мне будет стоить дешевле.

Сейчас сидел в Privat Bar’e и читал „Оливера Твиста“ у камина. Понял я довольно много. Но меня отрывал от чтения какой-то толстый, бородатый фермер, очень словоохотливый… Но, увы, глухой!..

Деревенский народ куда проще и доступнее, чем лондонские англичане. С ними можно наговориться всласть.

Деточка! Сейчас опущу письмо, поброжу немного, почитаю „Ол<ивера> Твиста“ — и к 9 часам спать пойду. <…>

Твой С. М.».

Из письма, написанного через день, ночью: «Я остался на еще один день в Эппинге, чтобы дождаться твоего письма…

Два дня стояла очаровательная погода. А сегодня — мрак и ненастье, по этому случаю буду есть горячий обед; хотя от вчерашней моей еды у меня прекрасно урегулировался желудок и улучшилось самочувствие. С удовольствием вспоминаю кружку молока, выпитую в Laughton'e…»

А вот письмо, написанное в тот же день, то есть 18 декабря 1912 года: «Милая Сонечка!

Пишу тебе на почте. В 6 часов пришел поезд из Лондона и привез твое письмо. Спасибо, Сонечка…

Завтра утром отправляюсь в Онгар. Оттуда немедленно напишу тебе…

Видеть тебя мне хочется очень сильно…

Пока целую тебя, Сонечка.

Жди дальнейших писем.

Твой С. М.».

Письма Маршака того времени — это своего рода лирический репортаж о пребывании в Англии. Из письма Исааку Владимировичу Шкловскому — корреспонденту «Всеобщей газеты», от 18 февраля 1914 года: «Местность здесь очаровательная, — напоминает уголок Галилеи в Палестине.

Высокие холмы, покрытые лесом; множество ручьев. Ойлер приобрел дикое место на скате холма и рассчитывал превратить его в райский сад.

Сейчас у нас стоят весенние дни. Я пишу и перевожу Блейка, но не могу взяться за Рубайат[11]. „Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал (из первой строфы восьмой главы 'Евгения Онегина' Пушкина)“ — почему-то приходит мне в голову».

Три письма Маршак назвал «Лондонским листком» или «Софьюшкиной газетой». Вот отрывки из них: «Ехали мы в Лондон на Ньюпорт. Прибыли в Ньюпорт в восьмом часу вечера. Пошли на почту отправлять eggs г-на Паркера. Город, поскольку можно было судить ночью, вроде Плимута. Огни, экипажи, толпы на улицах, кинематографы и „вараити“. А дальше немного черный, мрачный город. Побывали мы в доках — колоссальных! В темноте мы только слышали гудки пароходов и грохотание лебедок…

В 12-м часу ночи пришли на вокзал и стали ждать. Я читал <Сусанне> вслух Марка Аврелия, но ей в это время снилось что-то интересное. Какой-то старушонке в шляпе-чепце тоже что-то снилось, ибо она, сидя на стуле, поочередно кланялась северу, востоку, югу и западу».

А вот письмо, адресованное Софье и Сусанне Яковлевне — сестре поэта, жившей в то время в Англии: «Одну мою открытку (3-ю по счету) взялся доставить вам… ветер. Он вырвал ее у меня из рук и умчал в море.

Сейчас за окнами Ирландия. Вдали цепь синих холмов (небо ясное, закатное). По другую сторону поезда поля, землепашцы (настоящие!). Хаты с соломенными крышами.

Попался город — Waterford с белыми многоэтажными домами над широкой рекой. Говорят, там все больше монастыри.

Люди уж теперь — простые, сердечные, медленные и лохматые».

Читая очерки Маршака, нельзя не признать его талант прозаика и не вспомнить прозорливого Стасова, увидевшего и этот дар в своем юном друге.

«После долгого и безвыездного пребывания в Англии ничто не может так сильно освежить душу, как прогулка по вольной и пустынной Ирландии. Я проделал около сотни миль пешком, странствуя по берегам величественного Шаннона, и мне казалось, что я уехал из Лондона давным-давно, лет десять тому назад, и нахожусь на расстоянии многих тысяч миль от Англии.

Я отправился не в протестантский Ольстер, не в Бельфаст, куда устремляются ныне десятки и сотни корреспондентов, даже не в Дублин, центр национально-католической Ирландии, где также бьет ключом политическая жизнь, а на юг и на запад страны, в один из глухих углов…» Это отрывок из очерка Маршака «Изумрудный остров».

Не менее талантливо написан и очерк «Рыбаки Полперро»: «В знойные часы на море было тихо и безветренно; тише, чем на рассвете. Чайки все до единой исчезли с нашего горизонта. Старик и Чарли прекратили ловлю и застыли, каждый на своем конце лодки, ожидая ветра или попросту отдыхая после девяти часов однообразного труда.

Чарли низко наклонил голову, отяжелевшую от вчерашнего хмеля, бессонницы и сумасбродных ночных дум. Быть может, ему все еще мерещились французские рыбаки, о которых он говорил ночью, или беспечные флотилии лодок с флагами и музыкой в веселом городке Фой.

Старик, сонно мигая покрасневшими веками, смотрел в сторону берега, и на лице его отражалась какая-то давняя, тяжкая забота».

Проза Маршака еще ждет своих исследователей. Очерк «Рыбаки Полперро» был впервые опубликован в санкт-петербургском журнале «Аргус» в 1914 году, а потом только спустя пятьдесят пять лет, в шестом томе Собраний сочинений Маршака.

Во время одного из походов Самуил Яковлевич и Софья Михайловна побывали в лесной школе в Уэльсе — в «Школе простой жизни», где познакомились с ее учителями и

воспитанниками. «Упрощение жизненной обстановки, один из главных принципов школы, распространяется не только на подробности домашнего быта, но и на учебные предметы, и на программу детского чтения, — писал Маршак. — С течением времени перед детьми школы должна раскрыться самая содержательная и самая захватывающая из книг: книга природы…

Я посетил „Morkshin School“, или „Школу простой жизни“, на этих днях, то есть через полтора года после ее возникновения…

В трех часах езды от Лондона, в графстве Hampshire, среди сосновых лесов, одиноко высится красивое двухэтажное здание с садами, огородами, с разбросанными там и здесь палатками…

Дети были одеты, как их учитель. Длинные волосы их были перевязаны ленточками или начесаны на лоб. Впрочем, в школе не оказалось на этот счет общего правила, общего фасона: иные из мальчиков были коротко острижены, иные причесаны по-английски, с пробором…

Тут были дети всевозможных возрастов. Школа принимает и пятнадцатилетних юношей, и совсем малышей до грудных младенцев включительно и, — можно ли идти еще дальше? — до… родителей, которые являются в школу учиться воспитанию ребенка. Большая часть детей поступила в эту школу после долгих мытарств по другим — заурядным и „образцовым“ — школам и, главным образом, вследствие расшатанности здоровья и нервов…

Дети м-ра Ойлера не боятся ночной темноты. Впрочем, их маленькие, невозмутимые сердца недоступны никакому чувству страха…

Утром их ожидали обычные занятия, обычная работа. Это — прежде всего — работа по дому (после получасового „пробега“), затем — после завтрака — работа в саду, чтение, уроки. Гимнастику они проделывают не многосложную, не утомительную. Главные движения ее преподал им Раймонд Дункан, брат Айседоры.

Если день выдается очень уж пасмурный, с проливным дождем, — дети и учителя сидят в одной из комнат, ткут, прядут, слушают музыку или ведут тихую беседу. В одну из таких бесед Питер рассказывал детям, что у Эльзы через несколько месяцев должен родиться ребенок. Питер просил детей, как преданных друзей своих, пожелать чего-нибудь хорошего этому еще нерожденному младенцу. Дети отнеслись с глубокой серьезностью к просьбе учителя, и каждый по очереди пожелал младенцу таких прекрасных, таких волшебных вещей, каких бы не выдумал никакой мастер сказок, никакой Андерсен…»

Весной 1914 года Маршак много и плодотворно работал. Он

написал маленькое предисловие к сборнику своих переводов, которые собирался послать литературному критику А. Г. Горенфельду. Сборник, который мог бы стать первой в жизни книжкой Маршака, так и не вышел, но четырнадцать переводов из Блейка с его вступительной статьей были опубликованы в 1915 году в десятом номере «Северных записок».

Софья Михайловна и Самуил Яковлевич так полюбили Британские острова, что казалось, никогда не покинут старую добрую Англию. Однако надвигалась Первая мировая война, и Маршак понимал, что она может навсегда разлучить его с Россией, с родными.

СНОВА В РОССИИ

Путь из Англии в Россию оказался для Маршаков долгим. Они почти на год задержались в финском городе Тинтерне. Настроение у Самуила Яковлевича было прекрасное. «У меня много надежд на завтра», — пишет он в «Тинтернском дневнике» 6 апреля 1914 года. 29 (16) мая, в ночь на 30-е, у Маршаков родилась дочь Натанель. А вот запись от 15 марта 1915 года: «Натанель тихо спит в своей картонке на ящике, тихонько посапывает носиком, относясь равнодушно к окружающему миру, а иногда жалобно плача, будто ее здесь не поняли.

Сонечка спокойна, здорова и счастлива…

Сегодня у Натанели показался первый зуб.

Завтра ей 10 месяцев.

Я ей немного утром поплясал. Она по обыкновению пришла в большой восторг. Задергала ножками, а когда я ее взял на руки, ни к кому не хотела от меня идти.

Сейчас она спит.

Впрочем, из коляски уже показалась ножка в белом чулочке. Значит, проснулась.

С того времени, как она впервые научилась издавать звук: „та-та-та“, она сильно развилась и произносит теперь очень много звуков.

Вечер.

Радостно провела день и спокойно заснула. Улыбалась всем, в том числе и приехавшей Helmi, щебетала. Дитя — радость».

По пути из Финляндии в Россию Маршаки побывали в Белоруссии, в местечке Велиж Витебской губернии. Заехали не случайно — в знаменитой Велижской иешиве (ее окончили поэт Бялик, литератор Яффе) обучались раввины из рода Маршаков. В 20-х годах XIX века в Велиже состоялся один из самых кошмарных в России судебных процессов — евреев обвиняли в ритуальном убийстве. Длился процесс более десяти лет и окончился оправданием обвиняемых. Однако некоторые из них к тому времени погибли от пыток и истязаний. В 1915 году раввином в Велиже был Элизер Пупко (Маршак с ним встречался), осужденный в советское время за призыв к нуворишам не покупать некошерное мясо.

Из письма Самуила Яковлевича Е. Пешковой от 28 июля 1915 года:

«Дорогая Екатерина Павловна,

пишу Вам из имения Витебской губ., куда я приехал после долгого путешествия — железной дорогой, пароходом и

лошадьми. Живу я у милых моих друзей, людей очень хороших, и отдыхаю на славу. Захватил с собой Блэка, а в придачу, к моему прискорбию, пришлось захватить пьесу Азова. Я посылаю Вам и Максиму пару стихотворений, из которых первое было обещано мною Максиму…

Я думаю остаться на зиму (если меня не призовут, как ратника 2-го разряда) в Кирву или переехать в Вильпула.

Вот о чем я хотел попросить Максима: до выхода книжки Блэка никому не давать моих стихов, кот<орые> я посылаю. Если мне удастся теперь как следует поработать, я постараюсь издать книжку зимой.

Не соберетесь ли Вы на Рождество к нам в Финляндию?»

Здесь еще раз заметим, что судьба даровала Маршаку настоящих друзей, людей высокой духовности и нравственности. Но, как известно, люди достойные дружат лишь с теми, кто того заслуживает.

Уже давно не было в живых Владимира Васильевича Стасова, но дружба с его родственниками — Дмитрием Васильевичем (младшим братом В. В. Стасова, музыковедом и общественным деятелем) и его женой — длилась еще долго. Вот отрывок из письма, написанного Маршаком в санатории Кирву (Финляндия) 22 марта 1915 года. Здесь, неподалеку от Кирву, в городке Сайрала, жили тогда родители Маршака. Оставшись в годы войны без работы, они во многом нуждались. Помощь пришла от Стасовых. «Меня до слез тронуло сообщение моей матери о той помощи, которую Вы оказали ей…» — писал Самуил Яковлевич Дмитрию Васильевичу Стасову. Он рассказал ему о том, как жил последние годы — о путешествии по Палестине, об учебе в Англии, о своей журналистской работе, а в конце написал: «Но за все эти годы мне не привелось встретить человека прекраснее, чем был наш дорогой Владимир Васильевич. Память его я свято чту».

Здесь, в Кирву, случилась первая и одна из самых страшных трагедий в семье Маршаков — 3 ноября 1915 года погибла маленькая Натанель: она опрокинула на себя кипящий самовар. Произошло это в день рождения Самуила Яковлевича.

С малюткой я пережил снова
Счастливое детство мое.
В сиянии дня золотого
В саду забавлял я ее.

Забывшись невольной дремотой
Под ласками летнего дня,

Я видел, как маленький кто-то.
Поднявшись, стоит у плетня.

Здоровой и голенькой крошке
Привольно в саду, как в раю.
Нетвердые смуглые ножки
Чуть держат малютку мою.

Опять погружался я сладко
В дремоту, забыв про нее,
Не знал я, не ведал, как кратко,
Как призрачно счастье мое!..

Надо ли говорить об отчаянии, охватившем Самуила Яковлевича и Софью Михайловну? К кому могли обратиться они в такие тяжелые дни? Конечно же к Екатерине Павловне Пешковой. 20 ноября 1915 года Маршак ей написал:

«Дорогая Екатерина Павловна,

две с половиной недели тому назад меня и Софью Михайловну постигло страшное горе: умерла наша маленькая Натанель. Умерла не от какой-нибудь болезни (она была такая здоровая и цветущая), а от несчастного случая, о котором мне тяжело сейчас рассказывать. Какой это был радостный, добрый, чуткий ребенок, как развилась она за последнее время!

Сейчас мне и бедной Софье Михайловне хотелось бы одного: отдаться всей душой какой-нибудь интенсивной работе — делу помощи несчастным и обездоленным. Больше всего мы желали бы помочь детям. Не знаете ли Вы какого-нибудь отряда, организации или учреждения, где нас можно было бы устроить? Около месяца нам еще придется пробыть в Воронежской губернии, а затем мы могли бы поехать куда угодно, но лучше всего — на театр военных действий или куда-нибудь на юг.

Жена моя знает разговорно-еврейский язык и охотнее работала бы среди еврейской массы, но если такой работы не представится, то ей безразлично, где работать.

Пожалуйста, милая Екатерина Павловна, напишите поскорее, можем ли мы рассчитывать на что-нибудь. Привет Максиму и Марии Александровне.

Ваш С. Маршак».

Оставаться в Кирву Маршаки больше не могли. Из автобиографии Маршака: «Вернулся я из Англии на родину за месяц до Первой мировой войны. В армию меня не взяли из-за слабости зрения, но я надолго задержался в Воронеже, куда в

начале 1915 года приехал призываться».

Вскоре, 15 февраля 1916 года, Самуил Яковлевич получил документ о полной непригодности к военной службе («статья 37 литер А расписания болезней»). Супруги подумывали о возвращении в Петербург, где жили в то время родители Софьи Михайловны и куда переехали родители Маршака, когда пришло известие о новом горе — неожиданно для всех свел счеты с жизнью младший брат Софьи Михайловны Борис — человек мечтательный, романтик, он ненавидел насилие, войну — тем более. Однажды он ушел из дома и не вернулся. Очевидцы потом рассказали, что он вошел в широко разлившуюся реку в одежде и стал удаляться от берега, пока не скрылся под водой.

Маршак, не имея возможности приехать на постоянное жительство в Петербург — причин тому было немало, среди них и пресловутый «пятый пункт», — отвез туда Софью Михайловну, получившую еще во время учебы в институте вид на жительство. Сам же вернулся в Воронеж. «Здесь я с головою ушел в работу, в которую постепенно и незаметно втянула меня сама жизнь, — вспоминал он. — Дело в том, что в Воронежскую губернию царское правительство переселило в это время множество жителей прифронтовой полосы, преимущественно из беднейших еврейских местечек. Судьба этих беженцев всецело зависела от добровольной общественной помощи. Помню одно из воронежских зданий, в котором разместилось целое местечко. Здесь нары были домами, а проходы между ними — улочками. Казалось, будто с места на место перенесли муравейник со всеми его обитателями. Моя работа заключалась в помощи детям переселенцев».

Обитель для изгнанников. —
Для юных и для старых.
По шестеро, по семеро
Лежат они на нарах.

Меж ними мать печальная —
Вдова с пятью детьми.
И старший в роде — Менделе,
Мальчишка лет семи.

У Менделе, у Менделе
Веселые глазенки,
И голосок у Менделе
Смеющийся и звонкий.

— Шалить не место, Менделе,
Не время хохотать. —
И часто, часто мальчика
Зовет с укором мать.

Проснется ночью Гершеле,
Кричит он благим матом.
За ним проснется Ривеле
И плачет вместе с братом.

Берет тут мама Гершеле.
Возьмет его к груди
И просит: — Полно, доченька,
Соседей не буди.

Не слышит криков Менделе,
Спокойно спит в сторонке,
Прикрытый шалью рваною,
Раскинувши ручонки.

У мамы и на родине
Ни дома, ни двора.
И все ее имущество —
Вот эта детвора.

Это стихотворение «Менделе», написанное предположительно в 1916 году.

Стихи, да и другая литературная работа достаточных денег не давали. О том, как жил, точнее, перебивался Маршак в Воронеже, свидетельствуют его письма к родным: «Во вторник я должен явиться на трубочный завод и поработать несколько дней „на пробу“. Жалованье будет 60 рублей. Придется давать уроки. Но лучше бы получить литературную работу (надо поговорить с Успенским о переводе Карпентера — книга у меня — и о 100 рублях в месяц, обещанных издателем).

Посоветуйтесь, стоит ли мне оставаться, если будет возможность вернуться на службу в Петроград, и стоит ли тебе приехать сюда (комнаты очень трудно достать)…»

В начале 1917 года Маршак приехал в Петербург — ему удалось получить документ, дававший право жительства в столице. Согласно справке, выданной 23 января 1917 года, он числился «подмастерьем столярного мастерства».

В своих воспоминаниях об отце «Мой мальчик, тебе эту песню

дарю» сын С. Я. Маршака — Иммануэль Самойлович пишет: «Отец испытывал к ней (Софье Михайловне. — М. Г.) безграничное доверие. Она дорожила каждым проявлением его творческого духа — его рукописями и письмами, которые заботливо пронесла через суровые годы скитаний, первыми изданиями его книг, публикациями в периодических изданиях. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на толстую тетрадь со многими сотнями газетных и журнальных вырезок со стихами и прозой отца, начиная с 1908-го и кончая 1923 годом (в ней любовно собрано даже многое из того, что было опубликовано отцом еще до их знакомства). И они вместе выработали в себе такую духовную стойкость, которая позволила им выдержать, не теряя веры в красоту жизни, самые тяжкие испытания. Отец сохранил эту стойкость до конца жизни, которая продолжалась и после смерти матери в созданном ею для отца жизненном устройстве».

Они прожили вместе в любви и дружбе почти пятьдесят лет. Вот уж прав был Шекспир, написав: «Любовь не знает убыли и тлена». Немало страданий и горя выпало на их долю. Но как много счастья познали они вместе. И как много трагедий! Но об этом рассказ впереди. Уже когда Софьи Михайловны не стало, Самуил Яковлевич написал такие стихи:

Колышутся тихо цветы на могиле
От легкой воздушной струи.
И в каждом качанье негнущихся лилий
Я вижу движенья твои.

Порою печальная, подчас безутешна,
Была ты чужда суеты
И двигалась стройно, неслышно, неспешно,
Как строгие эти цветы.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1917 ГОД

Воистину роковой для России год: две революции, изменившие не только общественно-политический строй, но и духовное состояние людей. Великое событие произошло и в семье Софьи Михайловны и Самуила Яковлевича — 25 февраля 1917 года у них родился сын, нарекли его по предложению Якова Мироновича Иммануэлем, что в переводе с иврита означает «С нами Бог». Из воспоминаний Юдифи Яковлевны Маршак: «Мы с сестрой и Самуилом Яковлевичем сквозь толпы народа пробираемся на Васильевский остров, где в клинике Отта находится София Михайловна. По улицам движутся колонны рабочих с красными знаменами…

По ночам Самуил Яковлевич с револьвером на боку патрулирует у нашего дома.

Приезжают из Сяйние (местечко в Финляндии. — М. Г.) родители и младшая сестра.

Вспоминаю, как мы собирались по вечерам в нашей темной столовой (электричества не было) и распевали под мой аккомпанемент „Марсельезу“, „Варшавянку“ и песню, которую тут же сочинил Самуил Яковлевич. Пели мы ее на украинский мотив. Помню, там были такие строчки:

Больше не царь он,
А просто Николка,
Просто Николка
Романов.

Третьего апреля. Вечер. Мы идем всей семьей встречать Ленина… Привокзальная площадь полна народа. Кто половчее, залезли на фонари, столбы, карнизы. Мы все крепко держимся за руки, чтобы не потерять друг друга, а Самуила Яковлевича мы уже потеряли. Он, конечно, забрался куда-то повыше, чтобы лучше видеть. Слышен гудок подходящего поезда. Гремит „ура“. Над толпой — взволнованный гул. „Подняли на руки!“ — раздаются голоса. Гул резко усиливается и внезапно стихает — на башню броневика взошел Ленин…»

Пройдут десятилетия, и Маршак вернется к этому дню на Финском вокзале в стихотворении «Все то, чего коснется человек», написанном в конце или вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью…

Сегодня старый маленький вокзал,
Откуда путь идет к финляндским скалам,
Мне молчаливо повесть рассказал
О том, кто речь держал перед вокзалом.

А там еще живет Петровский век,
В углу между Фонтанкой и Невою…
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.

* * *

В Петрограде Маршаки задержались ненадолго — весной 1917 года Якову Мироновичу предложили работу в Екатеринодаре, и он отправился с семьей на Кубань. В Петрограде было голодно, а Кубань давала какие-то надежды, хотя бы на хлеб насущный. Вслед за родителями Самуила Яковлевича в Екатеринодар поехала и Софья Михайловна с младенцем Иммануэлем. Самуил Яковлевич остался в Петрограде. Здесь его удерживала не только работа, которую он не без труда нашел, но и дела литературные: в то время готовилась к изданию книга «Еврейская антология» (Сборник молодой еврейской поэзии). Редакторами его были Владислав Фелицианович Ходасевич — признанный поэт и литератор и Лев Борисович Яффе — поэт, переводчик, общественный деятель. О нем хочется рассказать поподробнее, так как в конце 10-х — начале 20-х годов XX века Маршака связывала с ним настоящая творческая дружба.

Лев Борисович Яффе учился в той же велижской гимназии, что и Хаим Нахман Бялик. Но настоящее, классическое образование он получил в 1897–1901 годы в знаменитых университетах Германии — Гейдельбергском и Лейпцигском. Тогда же (или немногим ранее) он примкнул к еврейскому движению, участвовал в первых конгрессах сионистов. Наряду с Жаботинским и Маршаком он в 1904 году написал стихотворение памяти Герцля, но на еврейском языке. На слова этого стихотворения была сложена песня «Нас душат слезы». В годы Первой мировой войны Лев Борисович Яффе оказывал всяческую

помощь и содействие беженцам-евреям, изгоняемым из Восточной Польши и Прибалтики в глубь России. Погиб Яффе в Палестине в 1948 году от рук террористов. Сегодня имя этого поэта, литературоведа и общественного деятеля почти забыто. Между тем именно он проложил «гешерим» — мост между русской поэзией и ивритской. В то время в России появилось много талантливых поэтов, писавших на иврите — среди них Саул Черниховский, Давид Фришман, Яков Фихаман, Давид Шиманович, Залман Шнеур. Лев Борисович Яффе понимал, что до многих евреев, для которых русский язык уже стал не только родным, но и единственным, поэзия молодых и талантливых еврейских поэтов, пишущих на иврите, не дойдет. Поэтому он решил организовать в Москве издательство «Сафрут» (книга) и сумел увлечь этой своей идеей не только Владимира Ходасевича, но и Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Вячеслава Иванова, Юргиса Балтрушайтиса… Они согласились выполнить переводы по сделанным Яффе подстрочникам для «Еврейской антологии». 27 ноября 1917 года Валерий Брюсов писал Яффе:

«Многоуважаемый Лев Борисович!

Очень благодарю Вас за присылку гонорара, который (восемьдесят четыре рубля) получил. С удовольствием готов продолжить свои переводы, если могу быть Вам полезен. В наши дни переводить хорошие стихи — наслаждение, а не работа.

Преданный Вам Валерий Брюсов».

Сборник «Еврейская антология» был издан в Москве в конце 1917 года. В истории русско-еврейской литературы явление это, несомненно, значительное. Предисловие к сборнику написал Михаил Осипович Гершензон, видный литературовед Серебряного века. Вот фрагмент этого предисловия.

«В этой книге собраны лучшие произведения новоеврейской лирики; но стихотворный перевод — печальная вещь. В подлиннике каждое из них переливает радугой, играет бесчисленными цветными лучами; перевод неизбежно гасит большинство тех лучей и многие заменяет иными…

Точно из старого мшистого корня вознесся свежий побег, точно старое сердце забилось свободой и восторгом, — такое чудо возрождения, обновления, освобождения я вижу в творчестве молодых еврейских поэтов. Что случилось с еврейством за последние 15 лет? Его внешнее положение нимало не изменилось к лучшему: все то же рассеяние, та же вражда со всех сторон, та же нищета в народной массе…

И вдруг — еврейскую музу не узнать. Было бы самонадеянно думать, что мысль способна разгадать темные движения народного духа. В нем действуют тайные силы по непостижимым

законам…

Эти молодые поэты любят, как юноши всех стран, и вольно и звонко поют свою любовь; им открыта природная жизнь, и они с любовью живописуют ее; они мыслят о жизни, о человеке, о Боге, — их гнетет неотвязная мысль о еврейской беде. И потому, когда их мысль обращается к ней, — потому что забыть о ней невозможно, — как ново звучат их слова о еврействе! Они — люди, свободные люди вполне, — а свободный человек горд и ясен. Черниховский не может изнывать в бессильных жалобах, Шнеур не может скорбно вспоминать о прошлом величии.

Я не знаю, что случилось с еврейством, я только свидетельствую: в книге еврейство — как прокаженный, который, весь, как раньше, в проказе, вдруг поднял лицо, и все видят: он ясен духом, он в духе победил свою болезнь…

До сих пор еврейская поэзия только жаловалась и вспоминала, и оба эти тона одинаково говорили о безнадежности… Еврейство века жило не только в материальном гетто, внешнее рабство делало его и духовным рабом, — рабом неотвязной мысли о своей народной судьбе. Беспечность — драгоценнейшее благо смертных, источник духовной свободы, родник величия и красоты — вот что история отняла у еврейства, а с ним отняла все… Быть свободным евреем не значит перестать быть евреем, — напротив, только свободный еврей способен проникнуться еврейской стихией во всю глубину расцветшего человеческого духа».

Собственно о том же писал подростку Маршаку Стасов. Если бы в советское время языки иврит, а позже идиш не выжигали каленым железом из памяти и сознания евреев, если бы знали они в оригинале стихи Бялика, Черниховского, Ленского, Гордона, Галкина, Гофштейна, Маркиша, ассимиляция, наверное, все равно бы состоялась, но была бы совсем иной. Впрочем, эта тема — иррациональна.

Кроме предисловия Гершензона сборник «Еврейская антология» предваряют несколько слов Ходасевича. Нет документов, подтверждающих личное знакомство Маршака и Ходасевича, но так как в «Антологии…» есть два больших перевода Маршака, к тому же его фамилию в предисловии упоминает Гершензон, не знать Маршака Владимир Фелицианович не мог. О том, насколько сильно Ходасевич увлекся творчеством еврейских поэтов, свидетельствует его книга «Из еврейской поэзии» (вышедшая в Берлине, в издательстве З. И. Гржебина в 1923 году). В предисловии к ней Ходасевич пишет: «Новой силой и свежими соками еврейская поэзия наполнилась только в середине и во второй половине XIX столетия, в России,

где постепенно сконцентрировалась самая значительная, жизнеспособная в национальном смысле часть еврейского народа… Переводам с древнееврейского я уделил наибольше времени и труда <…> Должен сказать, что предлагаемые переложения, по незнанию древнееврейского языка, сделаны не с подлинников, а с буквальных подстрочных переводов, исполненных преимущественно Л. Б. Яффе, которому, сверх того, я обязан признательностью за многие указания и разъяснения». По словам Ходасевича, большинство переводов в «Еврейской антологии» сделано специально для этого издания.

Что касается Маршака, то в его творчестве она сыграла особую роль. Это была первая книга, где имя Маршака-переводчика стояло рядом с именами выдающихся русских поэтов Серебряного века. Почему биографы, исследователи творчества Маршака «не замечали» этого — сегодня вполне объяснимо. Лев Борисович Яффе несомненно знал Маршака по его стихам, регулярно публиковавшимся с 1904 года в журнале «Еврейская жизнь». И конечно же читал переводы из «Пророков», «Из пророка Исайи», «Книги Руфь» и, что не вызывает сомнения, знал его стихи из «Сионид», опубликованные в первой книжке «Еврейской жизни» за 1907 год. Остальные же переводчики «Еврейской антологии», если не все, то большинство, имя Маршака увидели в этой книге впервые. Лев Борисович обратился к Маршаку с просьбой сделать переводы для этой книги в марте 1917 года. Самуил Яковлевич тут же откликнулся:

«Дорогой Лев Борисович!

До сих пор я еще ничего не успел подготовить для Вашего сборника, но надеюсь кое-что сделать в течение остающихся в моем распоряжении трех недель. Я рассчитываю дать не всю поэму Шнеура „В горах“ (слишком мало времени для этого), а только „Вступление“; кроме того, одно или два стихотворения.

Сообщите, милый Л. Б., в каких сборниках вы предполагаете поместить „Вечный жид“ Вордсворта, а также „Палестину“ и, кажется, „Schir-Zion“. Не забудьте прислать мне обещанную корректуру двух последних вещей».

Маршак сделал блистательный перевод поэмы Шнеура «В горах» и большого стихотворения Шимановича «Сфинксы».

Вот отрывок из стихотворения «Сфинксы»:

Эта полночь полна волшебства.
Мрамор зданий сияньем облит,
И во сне беспокойном Нева
Плещет в черный, недвижный гранит.
И встают средь ночной синевы

Два гиганта — два Сфинкса у вод…
Тихо слушают ропот Невы.
Белый Север им песнь поет.

Я иду к ним в сияньи немом,
В царстве белых волнующих чар.
Город спит, отягченный грехом,
И во сне его душит кошмар.
Над дворцами застыли рои
Легких тучек — лазурных, как лед.
Вот изгнанники — братья мои —
Сфинксы дремлют у северных вод.

Из пылающей зноем земли,
Из родных африканских пустынь
Сфинксов некогда в дар привезли
В край снегов и гранитных твердынь.
Словно в саване, мертвенным сном
Спят гиганты в туманные дни.
Летом, в бледном сияньи ночном,
Пробудясь, оживают они…

В октябре 1917 года Маршаку удалось побывать в Екатеринодаре, повидать своих родных и близких. Тогда же с опозданием отметили пятидесятилетний юбилей матери Самуила Яковлевича — Евгении Борисовны. Ничто не предвещало трагедии, которая произошла 25 ноября 1917 года — от скоротечной саркомы Евгения Борисовна умерла. И это спустя два с небольшим года после смерти Натанель. В Петрограде Самуил был совсем один. Как он пережил такое горе — можно лишь гадать. Ни писем, ни других документов не дошло до нас. Кроме, пожалуй, одного письма, адресованного в Петрозаводск брату Моисею: «Сегодня приехал сюда Любек, может быть, подумает об устройстве школы-колонии, где бы я мог работать. Для этого дела у меня нашлось бы много любви и воодушевления. Наряду с этим я занимался бы писанием, и все было бы хорошо. Не то что канцелярщина…»

Заметим, в 1917 году Самуил Яковлевич не написал (или до нас не дошло) ни одного оригинального стихотворения, но выполнил много переводов с английского, в особенности — из Блейка, из Вордсворта, в частности перевел вордсвортского «Агасфера».

Многопенные потоки,

Пробежав скалистый путь,
Ниспадают в дол глубокий,
Чтоб умолкнуть и заснуть.

Стая туч, когда смирится
Гнев грозы и гул громов,
Шлемом сумрачным ложится
На зубчатый ряд холмов.

День и ночь косуля скачет
По скалам среди высот,
Но ее в ненастье прячет
От дождя укромный грот.

Зверь морской, что в океане
Крова мирного лишен,
Спит меж волн, но их качанья
Он не чувствует сквозь сон.

Пусть, как челн, грозой гонимый,
Пляшет ворон в бурной мгле, —
Рад он пристани родимой
На незыблемой скале.

Робкий страус до заката
По пескам стремит свой бег,
Но и он спешит куда-то
В сень родную — на ночлег.

Образ Агасфера — «вечного жида» занимает заметное место в европейской литературе с XIII века. И русских писателей и поэтов эта тема интересовала — вспомним незавершенное, блистательное стихотворение Пушкина «В еврейской хижине лампада». «Агасфер» в переводе Маршака появился в знаменитом сборнике «У рек вавилонских», выпущенном московским издательством Л. Б. Яффе «Сафрут» в 1917 году. Самуил Яковлевич тогда попросил Льва Борисовича, чтобы в любой подборке его стихов для книги «У рек вавилонских» было это:

Как странно, что поток бурливый —
Века, событья, племена —
Не смыл здесь прошлого…
И живы В стране родимой имена

Священных мест. Я был в деревне
Феллахов бедных — Анотот.
Там рос и жил великий, древний
Пророк, оплакавший народ.

И глядя на немые камни
Жилищ, раскинутых окрест,
Я долго думал, как близка мне
Печаль суровых этих мест.

Не плиты предков гробовые
Меня пленяли стариной:
Восстав из праха, Еремия
Стоял в селеньи предо мной.

И «Плач», что в день девятый Аба
Отец мой медленно читал,
У скромной хижины араба
Из уст пророка прозвучал…

Когда у евреев России появился выбор между возвращением на историческую родину и построением новой, быть может, достойной жизни в диаспоре, раздвоенность обрела новую форму. Наверное, поэтому так звучит перевод Маршака последней строфы «Агасфера»:

Без конца моя дорога,
Цель все так же впереди,
И кочевника тревога
День и ночь в моей груди.

НОВАЯ «ШКОЛА ПРОСТОЙ ЖИЗНИ»

Из письма Маршака Льву Борисовичу Яффе от 14 января 1918 года: «…Давно хотел написать Вам, но очень тяжело было на душе. Недавно умерла моя мать, и я — и до того разбитый и утомленный — еще больше обессилел физически и духовно. Был в Екатеринодаре у родных, потом попытался жить и работать в Петрограде, а теперь решил поехать на 2–3 месяца в санаторию в Финляндию, где мой друг доктор обещает поправить меня. Поеду завтра.

Видел я содержание 1-го сборника „Сафрут“. Мне кажется, эти сборники будут иметь большой успех. Что еще собираетесь Вы издавать помимо сборников и антологии? Хотелось бы мне в будущем поработать вместе с Вами в этом издательстве.

Последнее Ваше задание пришлось мне очень по вкусу. „Сфинксы“ — прекрасная вещь. Я тотчас же набросал несколько строф перевода — идет легко. Перевожу я начало анапестом (трехстопным), рифмуя первый стих с третьим, второй с четвертым. Но, милый Лев Борисович, уж очень короткий срок Вы дали мне для перевода стихов. Я получил Ваше письмо 13-го. Вещи нужны к 26-му. Помимо того, что для стихов всегда хорошо иметь побольше времени, чтобы не слишком насиловать себя, когда нет соответствующего настроения, — у меня сейчас имеется много другой работы — журнальной и по книжке Блэка, которую я готовлю к печати. Все же я постараюсь подготовить перевод для Вас в возможно кратчайший срок, если только 26-ое не последний срок. Ко всему еще из Финляндии письмо идет дольше: я пришлю его в Петроград и поручу кому-нибудь послать Вам артелью».

В этом письме Маршак сообщает Л. Б. Яффе: его пригласил на работу директор открывающейся в Финляндии детской колонии. Он наслышан о педагогическом таланте Маршака и настоятельно просит его принять участие в этом мероприятии. «Я очень люблю детей, знаю их — и был бы счастлив заниматься наряду с писанием этим делом…

Жена моя с ребенком и все родные — в Екатеринодаре. К сожалению, им сейчас невозможно приехать сюда.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене и дочкам. Крепко целую Вас.

Ваш С. Маршак».

Детская колония в Финляндии не была открыта. Вероятно, потому что советское правительство предоставило Финляндии в конце 1917 года суверенитет. Но, как известно, от судьбы не уйдешь. В 1918 году детская колония была создана на берегу

Онежского озера в Олонежской губернии, в Петрозаводске. В этом городе жил брат Маршака — Моисей Яковлевич. Он работал там инженером на лесозаводе. Самуил Яковлевич приехал к брату в Петрозаводск — вероятно, это было связано с его работой — и оказался причастным к судьбе некоторых колонистов.

В колонии жили сироты, беспризорные, дети местных советских работников — всего человек шестьдесят в возрасте от десяти до четырнадцати лет.

Воспитатель Петрозаводской детской колонии Антонина Викторова рассказывала: «В городе тогда было очень много беспризорных ребят. Самуил Яковлевич подобрал одного смышленого, очень обтрепанного паренька лет тринадцати-четырнадцати. Был он довольно крупного роста — по плечо Маршаку, весь в веснушках, с крупными чертами лица, маленькими серыми глазами и отросшей после стрижки под машинку рыжеватой шевелюрой. Звали его Никифором.

Маршак привел его в Наробраз и попросил пристроить его в какое-нибудь детское учреждение. А там ему дали для Никифора направление в нашу колонию. И вот он явился с пареньком к нам и остался у нас на ночлег».

Никифор был не единственным найденышем Самуила Яковлевича Маршака. Он принял участие в судьбе многих беспризорников, некоторых возвращал к жизни в буквальном смысле слова.

Из воспоминаний А. Викторовой: «В свободные часы он затевал с ребятами разные игры, загадывал им загадки, отправлялся с ними в лес или на Онегу. Они облепят его со всех сторон, а он идет и рассказывает им о природе, о своих путешествиях, выдумывает разные занятные истории. Каких только рассказов не наслышались мы от него во время наших прогулок или сидя в полумраке за длинным столом, слабо освещенным свечками или керосиновой лампой!

Ребята чувствовали в нем „своего“, советовались с ним обо всем, доверяли ему свои тайны. До конца сохранил он особую дружбу с Никифором, который оказался очень расторопным, готовым на любую услугу. Будучи одним из самых старших и сильных ребят, Никифор постоянно выполнял у нас самые трудные работы — таскал и колол дрова, приносил из колодца воду.

Удивительно хорошо Маршак разбирал и устранял всякие недоразумения между ребятами. И когда он уходил от нас по понедельникам в Петрозаводск, ребята всегда хором упрашивали его непременно прийти опять. А по субботам, в тот час, когда можно было ждать его прихода, мы все — ребята и педагоги —

отправлялись гурьбой к нему навстречу».

Из Петрозаводска Маршак решил поехать к семье в Екатеринодар — больше года он не видел родных. Но 1918 год горестями своими напоминал год 1917-й — в пути из Петрозаводска в Москву Маршак узнал о том, что тяжело заболела Софья Михайловна. В годы Гражданской войны в стране свирепствовал тиф. Софью Михайловну пришлось изолировать, ребенка взяли на попечение младшие сестры. Ехать или не ехать к семье — этот вопрос для Маршака не существовал. Но как добраться до Екатеринодара? Ведь путь пролегал через Украину, в то время контролируемую германскими войсками. Нигде — ни в письмах Маршака того периода, ни в записках — не сохранилось воспоминания об этой поездке. Но известно, что до Екатеринодара он добрался, а наградой ему было улучшение здоровья Софьи Михайловны. Материальное положение семьи было катастрофическим, о возвращении Маршака из белогвардейского Екатеринодара в Петроград не могло быть и речи. Маршак остался с семьей. Надо было зарабатывать на жизнь. И он вспомнил старое свое «ремесло» — работу газетного и журнального фельетониста.

В ЕКАТЕРИНОДАРЕ — КРАСНОДАРЕ

Когда Маршак оказался в Екатеринодаре, власть в городе была в руках белогвардейцев, и порядки, разумеется, были «белогвардейские». Вполне понятно, что каждой власти нужна своя пресса. В Екатеринодаре выходило тогда немало газет и журналов. Судьбе было угодно, чтобы один из первых сборников стихов Маршака (возможно, первый) увидел свет в 1919 году именно в этом тихом, некогда сытом, провинциальном казачье-купеческом городе на Кубани. Книжечка эта называлась «Сатиры и эпиграммы», а автором ее значился Фрикен, тот самый Фрикен, чья подпись стояла под стихотворными фельетонами санкт-петербургских периодических изданий. Выпушенная мизерным тиражом, она оставила особый след в памяти Маршака. Он, наверное, пытался о ней забыть, но если уж не горят рукописи, даже когда их сжигают, то книги — тем более. Вот одно из стихотворений из этого сборника, опубликованное в газете «Утро юга» 1 января 1919 года.

Бой часов — как гул набата.
Указав куда-то ввысь,
Обе стрелки циферблата
Знаменательно слились.

Пейте!.. Год тяжелый прожит,
И за чашей круговой
Вновь грядущее тревожит
Нас загадкой роковой.

Всем явленьям жизни нашей
Время краткое дано…
Только миг, сверкая в чаше,
Буйно пенится вино.

Долго несся гром сражений,
Но и он умолк вдали.
Тот, кто был других надменней,
Пресмыкается в пыли.

Сколько было суеверья
И тщеславной суеты
В дни, когда чужие перья
Украшали их хвосты.

Пусть же помнят забияки,
Что — увы — noblesse oblige,
И легко при первой драке
Потерять былой престиж.

Рок дарит успех мгновенный.
Все растает, все пройдет.
Стрелки жизни неизменный
Совершают оборот.

И сейчас под гул набата,
Указав куда-то ввысь,
Обе стрелки циферблата
Знаменательно слились…

Здесь хочется отметить, что «часы на башне» позже будут не раз встречаться в стихах Маршака, в частности в стихотворении «По часам Кремлевской башни…» (иное название — «1947»).

Власть в Екатеринодаре не раз переходила от белых к красным, от красных к белым. Бывало и так, что в одной части города правили белые, в другой — красные. Нелегко ориентироваться в такой обстановке. В один из периодов двоевластья Маршак написал стихотворение «Два комиссара»:

…Жили-были два «наркома»,
Кто не слышал их имен?
Звали первого Ерема,
А второго — Соломон.

Оба правили сурово,
Не боясь жестоких мер.
У того и у другого
Был в кармане револьвер.

Красовались в их петлице
Бутоньерки из гвоздик,
И возил их по столице
Колоссальный броневик.

Угрожая, негодуя,
Оба в пламенных речах
На московского буржуя
Наводили жуть и страх.

Каждый в юности недаром
Был наукам обучен.
Был Ерема семинаром,
И экстерном Соломон…

К этим грозным властелинам
Все явились на поклон.
Брат Ерема был блондином
И брюнетом — Соломон.

Как-то раз в знакомом доме
У зеленого стола
О Московском Совнаркоме
Речь печальная зашла.

Ленин действует идейно.
Он — фанатик, маниак.
Но уж Троцкого-Бронштейна
Оправдать нельзя никак.

По каким же был причинам
Сей вердикт произнесен?
Брат Ерема был блондином,
Но брюнетом — Соломон…

А в другом знакомом доме
Разговор зашел о том,
Сколько нынче в Совнаркоме
Соломонов и Ерем.

И сказал чиновник в форме,
Что Израиля сыны
В трехпроцентной старой норме
В Совнаркоме быть должны.

Маршак обладал удивительной способностью собирать вокруг себя таланты. Это он раздобыл для «Утра юга» «крамольные» письма В. Г. Короленко к наркому просвещения Луначарскому, письма, преисполненные отчаяния от всего того, что сделала с интеллигенцией на Украине и не только там новая власть. Заметим, письма эти были опубликованы в России уже в годы перестройки.

Самуил Яковлевич понимал степень риска, но иначе поступить не мог. В то время он поддерживал дружеские отношения с такими литераторами, как Аркадий Аверченко, Зинаида Гиппиус, Иван Шмелев (сын его незадолго до этого был расстрелян большевиками). Не будем гадать, как удалось уцелеть Маршаку во времена красного террора. Скажем просто: слава Богу.

В конце 1918 года Маршак познакомился с Елизаветой Ивановной Дмитриевой — Черубиной де Габриак. Имя этой поэтессы в антологиях русской поэзии едва ли можно найти. Стихи Черубины де Габриак впервые были опубликованы в модном и популярном журнале русских символистов «Аполлон» в 1909 году, когда звезда символизма уже закатывалась. Родилась Елизавета Дмитриева в Петербурге 31 марта 1887 года, то есть она была всего на несколько месяцев старше Маршака. Вот несколько строк из ее автобиографии: «Небогатая дворянская семья… мать по отцу украинка… отец по матери швед… я — младшая, очень-очень болезненная, с 7 до 16 лет все время лежала — туберкулез и костей, и легких.

Мое детство все связано с Медным всадником, сфинксом на Неве…

В детстве, лет 14–15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темными, неведомыми недугами — и близка смерть. Я целых десять месяцев была погружена во мрак, я была слепой…

От детства я сохранила облик „Рыцаря Печального Образа“ — самого прекрасного рыцаря для меня — Дон Кихота… Гимназию окончила поздно, в 17 лет, в 1904 году, с медалью, конечно. Потом поступила в Женский императорский педагогический институт и окончила его в 1908 году по двум специальностям: средняя история и французская вековая литература… После была и училась в Париже, в Сорбонне — бросила… До 1918 года, когда я из Петербурга приехала в Екатеринодар, все время жила в Петербурге…»

Да, революция разбросала петербургскую интеллигенцию по свету: кого — в Париж, кого — в Прагу, кого — в Белград. А вот Дмитриева и Маршак оказались в Екатеринодаре. Незадолго до того, как Черубина де Габриак покинула Петербург, она написала такие стихи:

Тебе омыл Спаситель ноги,
Тебе ль идти путями зла?
Тебе ль остаться на пороге?
Твоя ль душа изнемогла?

Храни в себе Его примера
Плодоносящие следы,
И помни: всеми движет вера,
От камня до святой звезды.

Весь мир служил тебе дорогой,
Чтоб ты к Христу подняться мог.
Пади ж пред Ним душой убогой
И помни омовенье ног.

Знакомство Дмитриевой и Маршака переросло в настоящую дружбу. «После Гумилёва и Волошина Маршак был для меня самым близким человеком», — вспоминала позже Елизавета Ивановна. Самуил Яковлевич не раз говорил, что именно под влиянием Дмитриевой, благодаря ей он стал писать для детей. В 1920 году она вместе с Маршаком вела занятия в драматической студии клуба Красной армии.

Детский театр открылся 18 июля пьесой «Летающий сундук», написанной Е. Васильевой (фамилия Дмитриевой по мужу) и С. Маршаком по мотивам сказки Х. К. Андерсена.

«Я пришел к детской литературе через театр, — вспоминал впоследствии Маршак. — Интерес к детям был у меня всегда. До революции я много бывал в приютах, в Англии сблизился с Лесной школой. Но по-настоящему я узнал детей, когда в Краснодаре группа энтузиастов устроила театр: Елизавета Ивановна Васильева, я и художник Воинов. Замечательный был у нас актер Дмитрий Орлов — он потом работал в Москве у Мейерхольда. Прекрасно читал стихи Некрасова, а впоследствии „Василия Теркина“.

В голодные годы я организовал Детский Городок. Нам отдали бывшее помещение Кубанской рады — целый дворец, — и мы там устроили читальню, библиотеку, детский сад. А главное наше дело было — детский театр. Первые мои вещи в стихах для театра — „Кошкин дом“ (маленький) и „Сказка про козла“…» Все это было уже при советской власти.

Но вернемся в Екатеринодар белогвардейский и к стихам Д-ра Фрикена из сборника «Сатиры и эпиграммы»:

Известный Ножин нам поведал
В недавней лекции своей,
Что погубил страну и предал
Еврей, злокозненный еврей.

Весь мир евреи держат в путах…
Кто их влиянья избежит?
Во всех волнениях и смутах
Chercher le жид!
Chercher le жид!

Пусть нам рассказывает книжка
О том, что в сумраке веков
Мутил народ Отрепьев Гришка,
Затем Емелька Пугачев.

Но это — ложь и передержка,
А факт действительно таков:
Мутил народ Отрепьев Гершка,
А позже — Хаим Пугачев…

Неудивительно, что тема эта так волновала Маршака в белогвардейском Екатеринодаре. Все, кто не принял советскую власть, белогвардейцы же в особенности, хотели найти виновника. И конечно же пошли по проторенному пути. Но 25 августа 1920 года город снова, и на сей раз окончательно, перешел к красным. Среди прочих мероприятий советской власти состоялось открытие университета. Ректором его стал ученый-палеограф, фольклорист Никандр Александрович Маркс — давний друг поэта Волошина. Он собрал вокруг себя людей хорошо образованных. По предложению Маркса С. Я. Маршак был избран преподавателем английского языка факультета общественных наук Кубанского университета. 12 декабря того же года Маршак сделал доклад о Театре для детей в Кубанском институте народного образования. Н. А. Маркс высоко ценил деятельность Маршака и Васильевой. Вот что писал он в конце января 1920 года Волошину: «У нас бывают Е. Васильева, С. Маршак. <…> Всегда вспоминаем тебя с Леманом. Маршак и Васильева инсценируют мою легенду „Таир и Зоре“».

В апреле 1921 года Н. А. Маркс скончался, но созданный под его руководством университет, да и детский театр продолжали работать.

18 июля 1920 года — день, когда в помещении Городского театра имени Луначарского состоялась премьера пьесы «Летающий сундук», можно считать днем рождения первого большого детского учреждения. Позже его назовут Детский Городок, — явившегося прообразом дворцов пионеров. В том же году были поставлены спектакли «Сказка про козла», «Город

Злосчастья». Позже — «Кошкин дом», «Волшебная палочка», «Финист — Ясный Сокол». А осенью 1921 года был показан спектакль «Петрушка». Вот что писала об этом газета «Красное знамя»: «25 октября 1921 г. в Краснодаре открыл свои двери гос. театр для детей. Зимний сезон открылся премьерой „Петрушка“ — новой пьесой неутомимых инициаторов театра для детей Е. И. Васильевой (Черубина де Габриак) и С. Я. Маршаком (Д-р Фрикен). Спектакль очень тепло был принят ребятами в возрасте от 5 до 12 лет. В зале все время был смех. Пьеса заразительная, с прекрасным русским языком. Актеры играли ярко и весело».

В спектакле «Петрушка» главную роль исполнял Дмитрий Николаевич Орлов. Из воспоминаний Самуила Яковлевича Маршака: «Познакомились мы в 1920 году в городе Краснодаре, куда Д. Н. Орлов и жена его, актриса А. В. Богданова, приехали незадолго до того. Оба они раньше играли в известной харьковской труппе Синельникова.

По приезде в Краснодар они сразу приступили к работе в местном театре имени Луначарского, а я был в то время председателем художественного совета другого театра — одного из первых по времени своего возникновения Театра для детей…

Душой всего дела, любимцем ребят, в какой бы роли ни появлялся он перед ними, стал Дмитрий Николаевич Орлов.

В его игре не было и тени упрощения, небрежности или снисходительности, которыми так часто грешат „взрослые“ актеры, участвующие в детских утренниках…

Актер в детском театре должен быть для ребят и товарищем в игре, и учителем.

А Дмитрий Николаевич мог научить их многому и прежде всего — хорошей русской речи…

Большинство сотрудников Городка могло бы найти для себя работу, которая давала бы им более существенный паек, чем тот, который они получали у нас. Но и актеры, и педагоги успели так привязаться к новому, интересному, радующему своими успехами делу, что в течение долгого времени никто из них не помышлял об уходе».

Здесь уместно привести и воспоминания жены Дмитрия Орлова — актрисы Анны Васильевны Богдановой: «1921 год. Первое знакомство с Самуилом Яковлевичем Маршаком произошло в Краснодаре, где он с группой энтузиастов — не по плану, не по заданию, а по своему чистому душевному посылу — затевал великое в то время дело для детей. Поэт Маршак с товарищами строил фантастический Детский Городок.

Тогда же Самуил Яковлевич пригласил меня, моего мужа Дмитрия Николаевича Орлова и еще нескольких наших

товарищей из „взрослого“ театра имени Луначарского, согласившихся принимать участие в будущих спектаклях Городка как актеры-совместители, осмотреть весь Детский Городок в его повседневной жизни. И вот я иду впервые по Детскому Городку рядом с человеком, которого еще не знаю и который, пожалуй, пока ничем меня не заинтересовал. Самуил Яковлевич говорит немного глуховатым голосом, движения его целеустремленны, быстры, он как бы торопится успеть показать все свои „клады“…

Потом мы переходим в отделение искусства. Зал с огромными окнами. Сцена.

— Почему же она серо-коричневая? И тряпичный занавес и порталы в этом золоченом зале? — спрашиваю я Самуила Яковлевича.

— Все, что у нас нашлось на складе, — отвечает Самуил Яковлевич и тут же спрашивает: — Это может помешать, Анна Васильевна, творить на сцене сказку для наших детей?

Почувствовав в его интонации, в голосе некую долю суровости, я торопливо отвечаю:

— Нет, конечно нет, Самуил Яковлевич. Мне думается, Для сказки не надо внешнего блеска, мы соткем сказку из добрых слов…

Я посмотрела на Самуила Яковлевича — и поверила его голосу, словам, глазам.

— Хорошо, Самуил Яковлевич. Я буду работать, чтобы научиться быть режиссером.

…Осенний пасмурный день. Закончили репетицию с опозданием. Перед самым спектаклем решили пойти обедать к тому, кто ближе живет к театру. Пошли к нам. Е. И. Васильева (поэтесса, писавшая с С. Я. Маршаком пьесы для детей), Самуил Яковлевич и мы с Дмитрием Николаевичем. В руках у всех полученный паек: 400 граммов черного хлеба. Дома быстро, как в сказке, появилась „скатерть-самобранка“: 4 стакана из обрезанных бутылок, чайник с кипятком и около каждого прибора — паек хлеба. Как всегда, мы продолжали разговоры о жизни и делах Детского Городка. Действительно, эти разговоры были бесконечными.

Кто-то тихо постучал в окно. Я подошла и увидела: по росту — ребенок, но лицо такое опухшее, что трудно определить возраст. Ярко запечатлелся весь облик этого мальчика: в руках длинная стариковская палка, серый деревенский рваный армячок, на голове рваная зимняя шапка. Он что-то говорил, но слов не было слышно. Я открыла окно и услышала надорванный, слабый, простуженный голос мальчика, который ему, видимо, не подчинился. Он протянул руку, а потом поднес ее ко рту, шепча:

— Крошечку… — И докончил: — Только подержать во рту…»

Мальчика этого звали Васютка. Надо ли говорить, что вскоре он и его младшая сестричка оказались в Детском Городке и были спасены не только от голодной смерти, но и получили путевку в жизнь.

Детский театр в Краснодаре, как, впрочем, и весь Детский Городок — истинная педагогическая поэма. Но, увы, век ее был недолог. Слух о талантливых актерах этого театра дошел до Москвы, и лучшие его актеры — Богданова и Орлов были приглашены в столицу. Вспоминает Анна Васильевна Богданова: «С нежной любовью прощались с детьми, с родной семьей Детского Городка… На четвертушке листа значилось: „Управление Городка просит Вас принять вместо цветов нижеследующее: 1 п. муки (ржаной), 10 ф. масла (постного) и наличными 10 млн. рублей“. Ребята уходили домой в слезах. Остались взрослые. Помнится, мы с Д. Н. не стыдились своих искренних слез и говорили себе: „Не забудем никогда!“ До сих пор я думаю о Детском Городке, о его людях как о верных товарищах. Самуил Яковлевич в этот прощальный вечер прочел написанные им на память о Детском Городке шуточную оду и частушки…»

Вот отрывок из этой оды:

Городок, наш Городок,
Каменное зданье.
Здесь дают в короткий срок
Детям воспитанье.

Заправляет Городком
Лебедь, рак да щука, —
Леман, Свирский с Маршаком,
Вот такая штука!..

Пишет пьесы нам Маршак
Вместе с Черубиной.
В старину играли так
Лишь на пианино…

Есть Богданова у нас
Для ролей, где плачут.
Ей поплакать целый час
Ничего не значит.

Кто смешит детей без слов,

Кто наш главный «душка»?
Разумеется, Орлов —
Весельчак-Петрушка…

Городок, наш Городок.
Ты хоть краснодарский,
Но тебя, наш Городок,
Знает Луначарский.

Между тем детскому театру в Краснодаре было уже «тесно», не за горами был его переезд в Петроград или Москву. Черубина де Габриак днем работала в переплетной артели, вечерами — в Детском театре, по ночам писала стихи и рецензии на публикации любимых поэтов. В частности, на поэму Ахматовой «У синего моря». Вечером 1 января 1922 года, придя в театр, она прочла всем собравшимся такие стихи:

Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Приемлю,
Как благостный предел, завещанный для всех,
Души, моей души невспаханную землю
И дикою лозой на ней взошедший грех».

Чтоб не склоняться мне под игом наважденья,
А всей мне, всей гореть во сне и наяву,
На крыльях высоты и в пропасти паденья.
Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Живу».

Говорят, что Самуил Яковлевич, услышав эти стихи, сказал: «Вы хоть знаете, какой Вы поэт, Елизавета Ивановна!»

Детский театр в Краснодаре остался навсегда в памяти и Самуила Яковлевича Маршака, и актеров, в нем работавших. Дмитрий Николаевич Орлов (он играл в театре Мейерхольда, в Театре Революции, во МХАТе) умер 19 декабря 1955 года. Незадолго до смерти Орлов написал в своих дневниках: «В обществе Самуила Яковлевича всегда интересно!.. Мы видимся редко, иногда раз в год. Мы хорошо проводим время: общую любовь к нашему театру храним поныне. Мы состарились, а воспоминания молодости придают тихую грусть. Встречаясь, мы ощущаем нежность друг к другу».

Самуил Яковлевич узнал о смерти Дмитрия Николаевича с опозданием. Из больницы он послал письмо Анне Васильевне Богдановой: «Бывают люди, в которых так много света, что после смерти в жизни остается светящаяся тень их существования.

Таков был Митя, таков был его талант — очень русский, широкий, обаятельный и в своем юморе, и в своем лиризме. Будем же помнить его и любить, как любили многие годы…»

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТРОГРАД

В середине мая 1922 года Елизавета Ивановна Дмитриева, ее второй муж Б. Леман и семейство Маршаков уехали из Краснодара в Петроград, где Самуил Яковлевич был назначен завлитом Театра юных зрителей, а Елизавета Ивановна Дмитриева вскоре стала его заместителем. Но мысли его возвращались к Краснодарскому детскому театру.

В Петроградском детском театре ему нравилось многое: и то, что там обязательны для всех ритмика, акробатика, пение, танцы; и то, что там много внимания уделяется повышению культуры актеров. Не всегда по душе ему был репертуар театра, но для Маршака главное в театре — актеры, а талантливых актеров в этом театре было немало. И все же ему не хватало Орлова и Богдановой, он очень хотел видеть их здесь. Да и они, безусловно, мечтали работать с Маршаком, но… «дело в том, что положение мое в театре не такое, как было у нас в Екатеринодаре. Я не глава театра, а только заведующий литературно-репертуарной частью. Поэтому я могу быть только посредником в переговорах», — писал Маршак своим давним друзьям 2 августа 1924 года. В том же письме он сообщил: «Я пережил большое горе, от которого еще до сих пор не оправился». 24 апреля 1924 года умер Яков Миронович Маршак — отец Самуила Яковлевича.

В декабре 1923 года он писал Д. Орлову и А. Богдановой: «Что бы вы обо мне ни думали, а я люблю вас по-прежнему, и только постоянная сутолока и множество работы мешали мне переписываться с вами. Простите и верьте, что я очень люблю вас, помню и считаю время работы с вами прекрасной порой в моей жизни. Какие трудные были тогда условия… как хорошо мы работали!» И еще он рассказывает в письме о своей жизни в Петрограде. Помимо работы в театре он много пишет. В 1923 году вышли его книги «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Синяя птица», «Пожар». Готовилось переиздание книги «Театр для детей» (первое издание появилось в Краснодаре в 1922 году).

Принято считать, что в детскую литературу Маршак пришел в 1923 году. Это не совсем так. Ведь еще для Краснодарского детского театра он написал немало пьес. «К детской литературе я пришел странным путем, — писал он М. Горькому 9 марта 1927 года. — В 1913 году я познакомился с очень любопытной школой в Южном Уэльсе („Школа простой жизни“ Ф. Ойлера. — М. Г.). Дети жили там почти круглый год в палатках, легко одевались, вели спартанский образ жизни, участвовали в постройке школьного дома. Я прожил с ними около года — и это было

счастливейшим временем моей жизни. Во всяком случае это было единственное время, когда я чувствовал себя здоровым. После революции я работал в наших колониях для ребят. Блейк и народная детская поэзия — вот еще что привело меня к детской литературе. А к тому же у меня дома есть читатели, которые иногда заказывают мне книги, — мои маленькие сыновья». Письмо это было написано уже тогда, когда «Фабрика детской литературы» в Ленинграде работала в полную мощь. «Очень мешает нам в работе отношение педагогов (а они почти единственные, к сожалению, критики и рецензенты дет. литературы). Почти всегда они оценивают произведение только со стороны темы („Что автор хотел сказать?“). При этом они дают похвальные отзывы часто явно бездарным произведениям и порицают талантливые книжки, не подходящие под их рубрики… Прежде всего они боятся сказочности и антропоморфизма. По их мнению, фантастика (всякая) внушает детям суеверие. Напрасно в спорах мы указывали, что всякий поэтический образ грешит антропоморфизмом — оживлением, очеловечиванием всего окружающего. Один из педагогов на это ответил мне: если поэтическое сравнение употребляется со словом „как“ („то-то, как то-то“), тогда можно; если же без слова „как“, то сравнение собьет ребят с толку. Веселые книжки — особенно те, в которых юмор основан на нелепице, — упрекают в легкомыслии и в том, что они вносят путаницу в детские представления».

Могли ли эти деятели от педагогики воспринять стихи Маршака и его учеников, скажем, стихотворение Введенского «Черный кот»?

Дождь идет,
Потоки льются,
Черный кот
Глядит на блюдце.
В блюдце
Нету молока,
Смотрит кот
На облака:
Хоть бы раз
Полил нарочно
С неба в блюдце
Дождь молочный!

Многие стихи Введенского созданы не без влияния Маршака, но при этом они вполне оригинальны:

Села кошка на окошко,
Замурлыкала во сне.
— Что тебе приснилось, кошка?
Расскажи скорее мне.

И сказала кошка: — Тише,
Тише, тише говори.
Мне во сне приснились мыши,
Не одна, а целых три!

Осенью 1923 года, вскоре после выхода книги Маршака «Детки в клетке», в издательстве «Петроградская правда» возникла идея создания детского журнала. В то время уже издавался небольшой детский журнал «Воробей», где публиковались стихи Маршака. Поэтому мысль о привлечении Самуила Яковлевича в новый журнал была вполне естественной. Когда с этим предложением по поручению Ивана Михайловича Майского — редактора «Петроградской правды» — к Маршаку обратилась Наталья Волотова — сотрудник редакции, он сказал: «Разве я могу работать в партийной печати? Я же беспартийный. А вдруг я в Бога верю?» Но отказаться от такого предложения Маршак не смог. Талантливый организатор, он начал, как всегда, со сбора команды.

Из воспоминаний Натальи Волотовой: «Самуил Яковлевич сразу стал поворачивать журнал к настоящей жизни, к современности. Он бросил лозунг: чтобы детская литература стала здоровой и полнокровной, ей нужны бывалые люди (слово „бывалые“ и придумано было Маршаком). И, как говорится, на ловца и зверь бежит. Маршак привлек к работе в журнале ослепительно красивого молодого человека, похожего на артиста-итальянца, Виталия Бианки. Тот пришел к нему в кружок с какими-то слабыми стихами, а Самуил Яковлевич, расспросив подробно о его жизни и узнав, что он страстный охотник и к тому же с детства много слышал о зоологии (отец Бианки был ученым-орнитологом), выбрал для него подлинную литературную дорогу — рассказы из жизни животных. И даже форму необыкновенную придумал для коротких рассказов в журнале: постоянный, переходящий из номера в номер отдел „Лесная газета“ (из этих публикаций потом составилась одна из лучших книг Бианки).

Следом за Бианки в редакции стали появляться и другие бывалые люди, а за „Лесной газетой“ — и другие придуманные Маршаком постоянные журнальные отделы („Бродячий фотограф“ и „Наш дневник“ — иллюстрированная хроника текущих

событий, „Лаборатория“ — с короткими рассказами о науке и технике, „Погляди на небо“ — с описанием астрономических явлений и т. д.). Пришел штурман дальнего плавания и мастер на все руки Борис Житков, пришли астроном В. Шаронов, инженер-химик М. Ильин, шлиссельбуржец М. Новорусский, Евгений Шварц, тогда еще только актер.

А почувствовав живой пульс и талантливость нового дела, к нему потянулись и „большие“ профессиональные писатели для взрослых (с каждым из них Маршак тоже проделывал немалую редакторскую работу) — поэт Николай Тихонов, с легкой руки Маршака напечатавший у нас отличные прозаические повести „Вамбери“ и „От моря до моря“, и Константин Федин (рассказ „Бочки“), Борис Пастернак и Осип Мандельштам, Алексей Чапыгин и Борис Лавренев, Михаил Слонимский и Александр Слонимский, Вениамин Каверин и Виктор Шкловский. В журнале приняли участие прекрасные художники: Б. Кустодиев, А. Бенуа, В. Сварог, Н. Тырса, К. Рудаков, В. Конашевич, В. Лебедев, В. Владимиров, В. Ходасевич, А. Пахомов и др. На „необитаемом острове“ литературы для детей возникло преуспевающее хозяйство. И летом 1924 года Маршак вполне обоснованно дал нашему журналу новое имя: „Новый Робинзон“, объяснив его в предисловии к первому номеру журнала с этим названием: „…Ну а вся наша теперешняя жизнь? Разве она не Робинзоновская?.. Русские рабочие и крестьяне сейчас делают то, что до них еще никогда и никто не делал… И наш „Новый Робинзон“ — только маленький молоточек среди десятков тысяч огромных рабочих молотов, кующих новую жизнь…“»

Между тем Маршак продолжал дружить со своими краснодарскими знакомыми, в частности с Черубиной де Габриак. Они вместе бывали в гостях у Максимилиана Волошина, когда он в апреле 1924 года приехал в Ленинград и остановился у своих друзей на Невском, 59. О добрых, теплых отношениях Маршака и Е. И. Дмитриевой свидетельствует подаренное ему на память стихотворение, которое она написала 10 января 1925 года.

Ненужные стихи, ненужная тетрадь,
Души, больной души слепое отраженье, —
Бесплодные мечты хотела я сдержать,
Запечатлеть виденья…

Но разве так должны входить мы в этот храм,
Где чаша вечная с нетленным Божьим словом,
И разве для того, чтоб причаститься там,
Не надо стать готовым?

Поэта светлый долг — как рыцаря обет;
Как латы рыцаря горит служенье наше,
И подвиг восприяв ценою долгих лет,
Придем мы к Вечной Чаше.

Я душу подняла, как факел смоляной,
Но ветер налетел и пламя рвет на части…
Я Господа зову, идем к Нему со мной.
Наш путь в Господней власти.

Маршак так много работал, что это не могло не сказаться на его здоровье. Обеспокоенные этим друзья настояли на том, чтобы он поехал подлечиться в Германию. В июле 1925 года Самуил Яковлевич написал своему восьмилетнему сыну из Берлина, где он находился проездом в санаторий в Силезию:

«Мой милый мальчик Элик,

посылаю тебе это письмо воздушной почтой. Я опушу его в маленький ящик на углу, и сегодня же аэроплан понесет его в Ленинград.

Вчера я был здесь в Зоологическом саду (немцы называют его просто: „Цоо“). Видел слоненка величиною с комод. Он бродил один по клетке (очень большой) и очень смешно изгибал свой хобот. Видел маленькую обезьянку, которая прицеплялась к животу своей матери, когда хотела взобраться на верхнюю перекладину. Кто-то принес обезьянам круглое зеркальце, и они все по очереди любовались собой. Только одна из них попробовала погрызть его. Видел четырех <львят>, которых кормит овчарка (матери у них нет). Дети скоро перерастут свою кормилицу. Какой-то мальчик протянул обезьянке руку, — она так больно стиснула руку, что мальчик с трудом выдернул ее из клетки — всю в крови.

Берлин очень большой город. Автомобили все здесь хрюкают. Дома серые. Много деревьев. Подземная дорога. Сейчас это очень хорошо: прохладно. А наверху жара.

Все, даже дети, говорят по-немецки, как ты.

Целую тебя, мой маленький, и прошу помнить обещание: делать все весело, бодро и аккуратно, хорошо питаться, не шалить до одурения. Якова поцелуй и расскажи ему от моего имени сказку про золотое яичко.

Целую вас обоих, мои мальчики.

Ваш отец».

Работая главным консультантом Детского отдела

Государственного издательства в Ленинграде, С. Я. Маршак привлек к сотрудничеству в отделе Д. И. Хармса и А. И. Введенского. (Отметим, что Хармс называл Маршака, наряду с Хлебниковым и Введенским, своим учителем.)

На допросах 15 декабря 1931 года и 17 января 1932 года по так называемому «делу Детского сектора Госиздата» А. И. Введенский сообщил следующее: «В Детский отдел Ленотгиза наша группа пришла в 1928 году. Идейное и художественное руководство в отделе принадлежало С. Я. Маршаку. Наше творчество в целом было одобрено Маршаком, и он предложил нам работать в Детском отделе. Внимание и поддержка Маршака, оказываемые им нашей группе, распространялись настолько далеко, что наша группа пользовалась особыми привилегиями в Детском отделе Ленотгиза: нас принимали вне очереди, Маршак работал с нами у себя на дому. Все или почти все наши детские книги проходили глубокую редактуру Маршака, а на некоторых из них Маршак с полным правом мог бы поставить свое соавторство».

Самуил Яковлевич оказал влияние и на Аркадия Гайдара.

«С Гайдаром было так, — вспоминал Маршак. — Я ему сказал, встретившись в Москве:

— Вы человек талантливый, пишете хорошо, но не всегда убеждаете… Логика действий должна быть безупречной, даже если действия эксцентрические.

— Ладно, — сказал он, — я приеду в Ленинград.

Приехал, мы засели в гостинице. Работали над „Голубой чашкой“. Мы все переписали вместе, и во время работы он восхищался каждым найденным вместе словом. И вдруг позвонил мне:

— Я все порвал. Это не мой почерк. Я все сделал заново.

И принес. Я был очень доволен. У него появилась забота об убедительных деталях. Сравните „Голубую чашку“ с этим отвратительным „Мальчишем“… Там — все недостоверно».

Маршак любил Гайдара, а о том, как Гайдар относился к нему, можно судить по дарственным надписям на его книгах: «Тов. Маршаку. Первому, с которым пришлось работать над детской и юношеской книгой. Арк. Гайдар. 1930»; «Самуилу Яковлевичу Маршаку — старому и строгому другу. Арк. Гайдар. 1939. 7.VII, Москва».

Тем, что в советской детской литературе появилась книга Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика Шкид», читатели обязаны в первую очередь Маршаку. «Пробить» издание этой книги, не принятой не только советскими чиновниками, но и автором «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко, было не так-то просто.

Леонид Пантелеев понимал, чего это стоило. На своей книге он сделал такую дарственную надпись: «Дорогому Самуилу Яковлевичу, другу и учителю, на память о тех далеких днях, когда на твой редакционный стол легла эта книга, испеченная легко, весело, с пылу с жару, как пекут пирожки на рынке.

Теперь она подается в слегка разогретом виде. С любовью. Твой всегда Л. Пантелеев. 20. XI. 60 г.».

Немало трагических событий постигло Детский отдел ГИЗа в начале 1930-х годов. В 1931 году арестовали Хармса, Введенского, Бахтерева, Туфанова, Андроникова. Арестовали, разумеется, под видом борьбы с контрреволюцией. В показаниях Введенского говорится: «Я входил совместно с писателями Хармсом, Бахтеревым, ранее Заболоцким и др. в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные стихи». В показаниях Туфанова были слова: «В нашу организацию, которая ставила себе задачей установление и распространение зауми как средства борьбы с Советской властью, входили Д. Хармс, А. Введенский, Заболоцкий, Вигилянский, Марков, Богаевский и др.».

Права была Анна Андреевна Ахматова, сказав: «Кто не жил в эпоху террора, этого никогда не поймет». Именно с этой точки зрения надо оценивать поступок молодого Ираклия Андроникова, который 20 декабря 1931 года дал следующие показания: «Я знал о существовании группы Хармса — Введенского, в которую входили писатели Хармс, Введенский, Бахтерев, Разумовский, художники Глебова, Порэт, Гершов, а также Калашников и ему подобные. Существование образцов реакционного творчества (картины художников филоновской школы Порэт и Глебовой), любовь к старому строю, антисоветская сущность детских произведений Хармса, Введенского и личные беседы с ними, в которых они выявляли себя как убежденные противники существующего строя, свидетельствовали об антисоветских убеждениях названной группы литераторов». А месяц спустя Андроников дал такие показания: «В Детском секторе ГИЗа группа Введенского — Хармса опиралась на редакторов: Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского-Савельева, помогавших ей протаскивать свою антисоветскую продукцию… Идейная близость Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липавского с группой Хармса — Введенского выражалась в чтении друг другу своих новых стихов обычно в уединенной обстановке, в разговорах, носивших подчас интимный характер, в обмене впечатлениями и мнениями, заставлявшими меня думать об общности интересов и идейной близости этих лиц. В ГИЗ Хармс и Введенский приходили постоянно, проводя почти все время в

обществе Шварца, Олейникова и Заболоцкого, к которым часто присоединялся Липавский, и оставались в нем по многу часов. Часто, желая поговорить о чем-либо серьезном, уходили все вместе в пивную под предлогом использования обеденного перерыва». И далее: «Редкие, но совместные посещения Шварцем, Хармсом и Введенским симфонических концертов и совместное посещение Шварцем и Хармсом выставки картин художника Нико Пиросманишвили и также открывшейся выставки картин художника Филонова, на которой я также встретил их, так же как и обмен мнениями по этому поводу в редакции в присутствии Введенского, Заболоцкого, Олейникова и Липавского, окончательно убедили меня в том, что эти люди связаны между собой идейной общностью, выражавшейся в их взглядах и настроениях».

В биографическом очерке о Николае Олейникове, напечатанном в его книге «Стихотворения и поэмы», сын репрессированного поэта сообщает, что вскоре после ареста отца 11 ноября 1937 года«…в Белом зале Союза писателей потребовали от С. Я. Маршака, чтобы он отрекся от шайки врагов народа. Этого не произошло».

Репрессивный аппарат 1930-х годов уничтожил многих авторов, писавших для детей, и сегодня вернулись не только их имена, но и произведения. Среди них имя Даниила Хармса. В книге Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» есть такие строки: «Всю жизнь он не мог терпеть детей. Просто не выносил их. Для него они были — тьфу, дрянь какая-то. Его нелюбовь к детям доходила до ненависти. И эта ненависть получала выход в том, что он делал для детей…

И вот такая необъяснимая штука — при всей ненависти к детям он, как считают многие, прекрасно писал для детей, это действительно парадокс…»

Нередко задаюсь вопросом: мог ли человек, не любивший детей, написать такие для них стихи, да еще и посвятить их воспитанникам детского дома?

Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — судомойка,
Чиж — поломойка,
Чиж — огородник,
Чиж — водовоз,
Чиж за кухарку,
Чиж за хозяйку,

Чиж на посылках,
Чиж — трубочист.

Печку топили,
Кашу варили
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — с поварешкой,
Чиж — с кочережкой,
Чиж — с коромыслом,
Чиж — с решетом,
Чиж накрывает,
Чиж созывает,
Чиж разливает,
Чиж раздает.

Ездили всем домом
К зябликам знакомым
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — на трамвае,
Чиж — на моторе,
Чиж — на телеге,
Чиж — на возу,
Чиж — в тарантайке,
Чиж — на запятках,
Чиж — на оглобле,
Чиж — на дуге!

Лежа в постели,
Дружно свистели
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж: трити-тити,
Чиж: тирли-тирли,
Чиж: дили-дили,
Чиж: ти-ти-ти,
Чиж: тики-тики,
Чиж: тики-рики,
Чиж: тюти-люти,
Чиж: тю-тю-тю!

В стихах этих не только влияние, редакция Маршака, но и его участие.

«Маршак очень любил Даню, — рассказывала жена Хармса Марина Дурново. — И я думаю, Даня также относился с большим

уважением к Маршаку.

Однажды мы поехали с Даней куда-то на пароходе по Волге. И с нами ехал Маршак. Это была длинная прогулка, на несколько дней, а может быть, и дольше.

С Маршаком плыли его сыновья Элик и Яша. Маршак очень мило со мной обращался. И он тогда узнал от меня, что мои родители — мама, папа и бабушка — все трое — в ссылке. Ему я об этом могла рассказать».

А вот отрывок из письма Хармса Пантелееву, написанного им в Курске, где он находился в ссылке: «Если дать ему (Маршаку. — М. Г.) в день по стишку для прочтения, то он все же умудрится быть занятым целый день и ночь. На этом стишке он создаст теорию, проекты и планы и сделает из него мировое событие.

Для таких людей, как он, ничто не проходит зря. Все, всякий пустяк, делается частью единого целого. Даже съесть помидор, сколько в этом ответственности! Другой и за всю жизнь меньше ответит. Передайте. Самуилу Яковлевичу мой самый горячий привет. Я еще не написал ему ни одного письма. Но значит, до сих пор и не нужно было…»

Хармс искренне восхищался Маршаком, в особенности был очарован его переводами из Киплинга. И еще важная деталь. «Он очень любил книгу „Голлем“, о жизни еврейского гетто, и часто ее перечитывал, — вспоминала Марина Дурново. — А я ее несколько раз брала, и когда начинала читать, всегда что-нибудь мне мешало дочитать ее. Или кто-нибудь позвонит, или кто-нибудь войдет… — так я и не дочла ее до конца.

Для Дани „Голлем“ был очень важен. Я даже не знаю почему. Он о ней много говорил, давал мне читать. Это была, так сказать, святая вещь в доме…

У нас было много друзей-евреев, прежде всего у Дани. Он относился к евреям с какой-то особенной нежностью. И они тянулись к нему».

Состоялся ли бы Хармс как поэт, если бы не встретился с Маршаком, — вопрос, быть может, абстрактный, но стихотворения «Кто из вас не прочитал?» о журнале «Еж», к работе в котором его привлек Маршак, в детской литературе не было бы.

Кто из вас прочитал,
Кто из вас не читал
Приключенья в последнем «Еже»?
Ты еще не читал.
Он еще не читал, —
Ну а мы прочитали уже.

Интересный рассказ
Специально про вас
Напечатан в последнем «Еже»,
Пионерский приказ
Специально для вас
Напечатан в последнем «Еже».

Мы считаем, что «Еж»
Потому и хорош,
Что его интересно читать.
Все рассказы прочтешь,
И еще раз прочтешь,
А потом перечтешь их опять.

Как портной без иглы,
Как столяр без пилы,
Как румяный мясник без ножа,
Как трубач без трубы,
Как избач без избы —
Вот таков пионер без «Ежа».

«Новый Робинзон» был не первым журналом, в котором Самуил Маршак выступил как редактор. В юности Сёма Маршак редактировал «самиздатовские» домашние журналы, часто, едва ли не от номера к номеру менявшие названия. Среди авторов были его братья, сестры и друзья: Саша Черный, Яков Годин. Журналы назывались «Лужица», «Звонари», «У камелька», «Черт знает что». Последний журнал пользовался особой популярностью у читателей и просуществовал дольше других. Закрыли его из-за опубликованного в нем объявления: «Я был лысым и остался», сопровождавшегося изображением человека, лечившегося от облысения и оставшегося лысым. Владельцы клиники, о которой шла речь в этой рекламе, добились закрытия журнала.

Кстати, объявления не раз губили домашние журналы семьи Маршаков. В журнале «Лужица» напечатали такое сообщение: «Окончивший гимназию с золотой медалью ищет место дворника». Случилось так, что именно в то время, когда вышел этот номер журнала, Моисей Маршак окончил гимназию с золотой медалью. И вскоре читатели журнала — почти все они были знакомы друг с другом — при встрече с Моисеем стали поздравлять его с «новой должностью». После этого, вспоминает Юдифь Яковлевна, «Лужица» приказала долго жить, ибо «цензура»

приняла сторону Моисея. Потом появился журнал «Звонари». Открывался он стихотворением, автор которого угадывается легко:

Первым звоном грянули:
Дрогнула околица.
Новым звоном дернули:
Церковь вся расколется.

Гулко ходит колокол.
Пляшут колокольцы,
Словно рассыпаются
Несвязанные кольца.
Медные, медные,
Серебряные кольца.

Звонари-присяжные,
Други-добро вольцы!
Дуйте в гулкий колокол,
Бейте в колокольцы!

Отслужим обеденку —
Пусть народ помолится,
Отслужим обеденку —
Выйдем за околицу.
Водка ль там не царская?
Брага ль не боярская?
Брызжется и пенится,
Щиплется и колется.
Ой ли!

В этом же журнале был опубликован роман сестры Маршака — Сусанны. Начинался он «оригинально»: «В доме была суматоха». Судя по всему, роман был написан под впечатлением «Анны Карениной», начинавшейся словами: «Все смешалось в доме Облонских». Причиной закрытия журнала стало анонимное стихотворение (но все заподозрили, что автором был Сёма Маршак):

Болтунья,
Езуитка,
Лгунья,
А вместе — ведьма.

Узнавшая себя «героиня» стихотворения потребовала суда за оскорбление, и «Звонарей» постигла та же участь, что и предыдущие журналы.

Следующий журнал — «У камелька» вышел через три года после закрытия «Звонарей». Редактором его была младшая сестра Маршака — Леля. В отличие от прежнего редактора — Самуила Маршака — ее роль сводилась в основном к собиранию материалов. Самуил по этому поводу немедленно написал четверостишие:

Редактировать журнал
Очень, очень трудно.
Прибывает матерьял
Очень, очень скудно.

Оформлял этот журнал Илья Маршак. В одном из номеров был помещен его рисунок: четыре старика, дремлющие перед камином. Под рисунком была подпись: «Мистер Панкс». Под этим псевдонимом в журнале «У камелька» Илья печатал свои стихотворные фельетоны. Рисунок «Четыре старика» знаменит еще и тем, что стихи к нему написал Саша Черный:

У камелька, у камелька
Сидят четыре старика.
Один чихнул, второй зевнул,
А третий попросту уснул.

С этого и началась дружба Самуила Маршака и Саши Черного. В статье «Волшебник» поэт и литературовед Александр Иванов писал: «Оба они (Маршак и Черный. — М. Г.) более всего любили шататься белой ночью по питерским улицам, называя это времяпрепровождение „умозгованием весны“. Еще любили устраивать дружеские пирушки. Однажды жена Саши Черного, Мария Ивановна, застала их… под столом, где они декламировали стихи. С какой стати они там оказались? Кажется, я догадываюсь…

В доме Маршака устраивались любительские спектакли: юный Маршак вместе с братом (тогда еще гимназистом) и сестрой выпускали домашние журналы… Развлекаясь таким образом, шутя и играя, они едва ли помышляли о творчестве для детей, но уже тогда, видимо, исподволь, подспудно вызревало в душе то, что проявилось гораздо позже».

Юдифь Яковлевна рассказывала мне, что стихотворение «У

камелька» Маршак прочел однажды со «сцены» домашнего театра, оно имело огромный успех. «Кажется, тогда я подумал, что буду писать стихи для детей», — сказал позже сестре С. Я. Маршак.

Маршак и Саша Черный… В 1911 году Маршак написал стихотворение «Инквизиция». Опубликовано оно было в 1912-м. Вспомнил ли о нем Саша Черный, когда писал свою «Легенду» в 1920 году?

Это было на Пасху, на самом рассвете:
Над окопами таял туман.
Сквозь бойницы чернели колючие сети,
И качался засохший бурьян.

Воробьи распевали вдоль насыпи лихо.
Жирным смрадом курился откос…
Между нами и ими печально и тихо
Проходил одинокий Христос.

Но никто не узнал, не поверил виденью:
С криком вскинулись стаи ворон,
Злые пули дождем над святою мишенью
Засвистали с обеих сторон.

И растаял, исчез над гранью оврага,
Там, где солнечный плавился склон.
Говорили одни: «Сумасшедший бродяга», —
А другие: «Жидовский шпион».

Сашу Черного и Маршака объединяла и роднила не только любовь к поэзии, но и к детям. В 1920 году Саша Черный написал стихотворение «Мартышка».

Отчего ты, мартышка, грустна
И прижала к решетке головку?
Может быть, ты больна?
Хочешь сладкую скушать морковку?
— Я грустна оттого,
Что сижу я, как пленница, в клетке,
Ни подруг, ни родных — никого,
Ни зеленой развес истой ветки…
В африканских лесах я жила,
В теплых солнечных странах;
Целый день, как юла,
Я качалась на гибких лианах…

А вот стихотворение «Обезьяна», написанное Маршаком в 1923 году. (Отрывки из него я приводил в предисловии.)

Приплыл по океану
Из Африки матрос,
Малютку обезьяну
В подарок нам привез.

Сидит она, тоскуя,
Весь вечер напролет
И песенку такую
По-своему поет:

«На дальнем жарком юге,
На пальмах и кустах
Визжат мои подруги,
Качаясь на хвостах.

Чудесные бананы
На родине моей.
Живут там обезьяны
И нет совсем людей».

Это стихотворение Маршака лишь кажется похожим на «Мартышку» Саши Черного. «Обезьяну» Маршак написал в 1923 году, «Мартышка» Саши Черного была впервые опубликована в 1921 году в Белграде, в России же она стала известна многими годами позже.

Но вернемся к журналу «Новый Робинзон». Этот журнал открыл для читателей много талантливых поэтов и прозаиков. Именно в нем впервые опубликовал свои произведения Борис Степанович Житков. Характер у него был сложный (впрочем, и у Маршака нрав был непростой), но отказаться от такого автора, прекрасного рассказчика, человека много повидавшего, Самуил Яковлевич не мог. Вот что пишет об этом Н. Волотова: «…Самуил Яковлевич заставлял Житкова писать просто — о фактах и событиях, которые тот наблюдал на протяжении своих обширных странствий и о которых необыкновенно хорошо рассказывал в товарищеских беседах. Житков поначалу этому противился, но в конце концов поддавался. И создавал при этом свои лучшие произведения, такие, как „Про слона“, „Черная махалка“, „Дяденька“ (позднее, уже без влияния Маршака, он написал

основанного на других принципах „Почемучку“, вещь, на мой взгляд, более слабую, чем то, что он печатал тогда)».

А вот еще одно ее воспоминание:

«Вместе с Олейниковым, Шварцем, Хармсом и Липавским Николай Алексеевич Заболоцкий любил бывать в хлебосольном доме Бориса Степановича Житкова, еще недавно верного сподвижника Маршака в их общей борьбе против казенщины и чиновничьего давления в детской литературе. Житков выставлял гостям целую коллекцию приготовленных им настоек и интересно рассказывал о своих морских путешествиях по всему свету. Многие из этих рассказов потом переходили в его книжки. За столом у Житковых всегда было как-то особенно оживленно». Шварц так описывал те застолья: «Мы были веселы. Веселы до безумия, до глупости, до вдохновения…»

Иногда Житков демонстрировал новые номера выдрессированных им кота и собаки.

Но порой в это веселье вплеталось и ядовитое начало, которое представлял Олейников. Недаром Маршак, зная, как опасно попадаться ему на язык, сочинил эпиграмму:

Берегись Николая Олейникова,
Чей девиз: никогда не жалей никого.

Бывавший иногда у Житковых Н. Л. Степанов рассказывал: «Почему-то мне запомнились беседы о Маршаке, которого все единодушно осуждали и порицали за лицемерие, сервилизм, беспринципность. Видимо, это был уже период разрыва и ссоры между Б. С. Житковым и его недавним другом. Особенно резко и ядовито высмеивал Маршака Н. М. Олейников, передразнивавший его любвеобильную фразеологию („дорогой мой“) и постоянную рисовку». При общем положительном отношении к Маршаку Заболоцкий тоже говорил о нем с иронией и подсмеивался над его пристрастием к позе.

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТЫ ОТДАВАЛА ДАРОМ…» (Габбе и Маршак)

Стихов о любви у Маршака было немного, но они едва ли не лучшая часть его лирической поэзии.

Ветер жизни тебя не тревожит,
Как зимою озерную гладь.
Даже чуткое сердце не может
Самый легкий твой всплеск услыхать.

А была ты и звонкой и быстрой.
Как шаги твои были легки!
И казалось, что сыплются искры
Из твоей говорящей руки.

Ты жила и дышала любовью,
Ты, как щедрое солнце, зашла,
Оставляя свое послесловье —
Столько света и столько тепла!

Стихи эти посвящены памяти Тамары Григорьевны Габбе, которая умерла 2 марта 1960 года. Она была не только его близким другом, сподвижником, она была человеком, явившим его альтер эго.

10 мая 1960 года Маршак пишет Корнею Ивановичу Чуковскому: «Все, что написано Тамарой Григорьевной (а она написала замечательные вещи), должно быть дополнено страницами, посвященными ей самой, ее личности, такой законченной и особенной.

Она прошла жизнь легкой поступью, сохраняя изящество до самых последних минут сознания. В ней не было и тени ханжества. Она была человеком светским и свободным, снисходительным к слабостям других, а сама подчинялась какому-то строгому и непреложному внутреннему уставу. А сколько терпения, стойкости, мужества в ней было, — это по-настоящему знают только те, кто был с ней в ее последние недели и дни.

И, конечно, Вы правы: главным ее талантом, превосходящим все другие человеческие таланты, была любовь. Любовь добрая и строгая, безо всякой примеси корысти, ревности, зависимости от другого человека. Ей было чуждо преклонение перед громким

именем или высоким положением в обществе. Да и сама она никогда не искала популярности и мало думала о своих материальных делах».

Самуил Яковлевич посвятил Тамаре Григорьевне Габбе цикл стихов, который предварил четверостишием не совсем «маршаковским»:

> Бремя любви тяжело, если даже несут его двое.
> Нашу с тобою любовь нынче несу я один.
> Долю мою и твою берегу я ревниво и свято,
> Но для кого и зачем — сам я сказать не могу.

Творческое сотрудничество Маршака и Габбе началось в конце 1920-х годов и продолжалось до конца жизни Тамары Григорьевны. Она редактировала книги в ленинградском Детгизе, среди них «Подводные мастера» К. Золотовского, «Жизнь Имтеургина Старшего» Тэки Одулока, сборник «Мы из Игарки».

Вот что записал в своей телефонной книжке Евгений Львович Шварц о Т. Г. Габбе: «Назовешь это имя — и столько противоречивых чувств тебя парализуют, что хоть молчи. С одной стороны — человек быстрый, острый, имеющий дар вдруг выразить ощущение. Например, стоим мы напротив кинематографа „Титан“. На вывеске вспыхивает и гаснет стрелка, указывающая на название картины. И Габбе говорит: „Ужасно неприятно! Так же у меня дергало палец, когда он нарывал“. В Филармонии увидели мы Каверина с палочкой. „Почему он с палочкой?“ — спросил кто-то. И Габбе ответила: „Потому что у Тынянова нога болит“ (Тынянов и Каверин были неразлучными друзьями. — М. Г.). Получалось это весело и смешно и определяло положение вещей в те давние, доисторические времена. Это с одной стороны. С другой же — ум ее, резко ограниченный и цепкий, все судил, всех судил и выносил окончательные приговоры, как это было принято в кругу Маршака. Приговоры самого Самуила Яковлевича носили отпечаток его библейского темперамента и оглашались в грозе и буре, в тумане и землетрясениях, и тень Шекспира появлялась при этом событии, и Блейка, и Пушкина. Однажды я читал у Габбе свою пьесу „Телефонная трубка“. Это Олейников настоял. Из любопытства. Было много народу — редакционного. Пили чай после чтения и обсуждали пьесу за чаем. И Габбе говорила и продолжала есть и пить. Нет, здесь и духа не было Библии — куда там. Жуя определенно по-заячьи, она говорила быстро, отчетливо и уверенно. Она знала, что такое сюжет. Она одна. Она знала, что такое характер. Она знала, какая сцена удалась, какая нет. Во

всяком случае была уверена в этом. Пожует, сделает глоточек и приговорит. А я, кроме удивления, ничего не испытывал. Резко ограниченный ум. Система, в которую уверовала она, когда училась. И полная несоизмеримость ее пунктирчика с предметом. Маршак был неясен, но понятен. Он намекал — и это было точно. А Габбе говорила точно, однако непонятно. Уверенность — вот ее бич. Она-то уж знает, что есть рассказ… Что сюжет. Что заявка. Что развязка…

Была Тамара Григорьевна сосредоточена, а не сжата, и говорила так, как подобает в том мире, куда привела нас судьба, как бы заново увидев все. По деятельной натуре своей не могла она просто терпеть и ждать. Нашла себе работу — читала детям в бомбоубежище. И рассказывала, как заново услышала то, что читает. Одно годилось, другое — не переносило испытания. И новый этот взгляд на вещи был убедителен. И начисто лишен ученической уверенности. И в Москве в 43 году я рад был встрече с нею. И опять говорили мы дружески. Но постепенно все вернулось на свое место. С людьми сходишься или расходишься по причинам органическим, непреодолимым. Та новая Габбе, с тяжелыми временами раскрывавшаяся, исчезла, когда жизнь вошла в колею. Снова разум ее словно бы обвели контуром, и душа ее сжалась в кулачок. И при встрече чувство внутреннего протеста вспыхивает во мне с новой силой».

Почему мы так много внимания уделяем Тамаре Григорьевне Габбе в этой книге? Да потому, что ее участие в жизни и творчестве Маршака воистину велико. И не удивительно, а вполне естественно, что он приходил ей на помощь в самые трудные годы, даже в 1937-м, когда она была арестована. Он буквально вырвал ее из рук палачей Ягоды, вернул за письменный стол. О трогательной заботе Маршака о Габбе свидетельствует множество его писем к ней.

«Дорогая Тамара Григорьевна,

спасибо Вам за Ваше письмо. Очень хотелось бы знать подробнее о том, как Вы живете, как проводите дни, бываете ли за городом, дышите ли воздухом или ведете комнатный образ жизни. Я думаю, если Вам не придется поехать куда-нибудь на дачу, то надо хоть иногда выезжать за город или ходить на острова. Были ли у врачей, в том числе у горлового врача? Как Ваше горло?..

Не утомляйтесь слишком. „Книга для первого чтения“, вероятно, потребует от Вас больших усилий. Подобрать и составить ее нелегко. Поэтому, работая параллельно над критическими статьями и рецензиями, старайтесь работать без спешки и напряжения, а с удовольствием и размеренно…

Гуляйте побольше, заботьтесь о себе, будьте здоровы.

17 июля 1939 года».

Маршак помнил о Габбе всегда. 8 марта 1942 года он пишет ей: «Я живу один, а присматривает за мною, как за пушкинским мельником русалка, соседская домработница. Я очень устал, постарел, много работаю. Ну, пишите».

Осенью 1942 года Маршак поехал в Алма-Ату, где в то время находились Софья Михайловна и Яша. Здоровье Яши ухудшалось с каждым днем, и Самуил Яковлевич не мог оставаться вдалеке от семьи. О своем отчаянном положении он не мог рассказать никому кроме, пожалуй, Тамары Григорьевны. «Все время хотел Вам написать, но не было ни одной минуты для этого. Почти весь день провожу в больнице у Яши (а Софья Михайловна проводит там и ночи)… Он очень ослабел, мало ест. Дважды в сутки ему впрыскивают камфору. Очень тяжело видеть его в таком состоянии. Сегодня — 25-й день его болезни. Доктора говорят, что самые тревожные и трудные недели этой болезни — третья и четвертая, а дальше, если нет осложнений, будет легче. Вот уже четвертая неделя идет. Удручает меня и то, что пришлось из-за болезни сына оторваться от работы в такое время».

И действительно, без литературной работы Маршак буквально погибал. В том же письме есть такая фраза: «Тревожное, тоскливое и бездеятельное состояние очень томит меня». Он просит Габбе о многом: поговорить с Верой Яковлевной Орловой — ответственным работником издательства — о возможности издания его «Двенадцати месяцев», встретиться с Твардовским и напомнить, чтобы тот сохранил для него экземпляр поэмы «Василий Теркин». В другом письме от 28 октября 1942 года Маршак спрашивает Тамару Григорьевну, видела ли она Фадеева, рассказывала ли ему о делах Маршака. Он послал Габбе стихи для сборника «Вересковый мед», чтобы она передала их Чагину.

Через несколько лет после смерти Габбе в Западно-Сибирском книжном издательстве вышел сборник сказок «Быль и небыль» в обработке Тамары Габбе, над которым она работала несколько лет и на который Маршак еще 31 января 1946 года написал такой отзыв: «Я давно люблю русские сказки и знаю как будто нехудо. Однако я прочел сборник Т. Г. Габбе, как новую, еще незнакомую книгу. Многие сказки в этом сборнике были мне попросту неизвестны раньше, другие повернулись ко мне какой-то новой, неожиданной стороной.

Сборники сказок обычно считают достоянием детей. Эта книжка по характеру своему отнюдь не детская. В сказках и легендах, входящих в нее, живет та взрослая, чуть ироническая и

спокойная мудрость, которая является результатом большого и нелегкого жизненного опыта…

Сказки эти имеют право именоваться сказками в первоначальном и буквальном смысле этого слова. Их живая интонация напоминает нам о традициях лесковского сказа…

Нам, литераторам, давно пора заняться сказкой, как поэзией, не отдавая ее всецело в распоряжение ученых, которые ищут и находят в ней материал для своих специфических целей. Дело литераторов — создать обширный свод русских сказок, и старинных, и более поздних, для того, чтобы показать читателю все художественное богатство народной поэзии.

Мне кажется, что книга Т. Г. Габбе служит этой задаче талантливо и добросовестно…»,

Тамара Григорьевна Габбе была не только выдающимся литератором, но и педагогом. Первая ее статья, написанная после освобождения, была опубликована в журнале «Детская литература» (№ 18–19, 1938) и называлась «О школьной повести и ее читателе». Статья эта получила немало откликов школьных преподавателей литературы, что побудило Тамару Григорьевну продолжить эту работу. В «Литературной газете» № 37 за 1939 год вышла ее статья «Повесть о детстве и для детей». Писала она и о детских писателях, и о художниках детской книги, но главным образом ее творчество было связано с творчеством Самуила Яковлевича Маршака. «Тридцать лет она была первым редактором С. Я. Маршака, редактором негласным, неофициальным, другом, чей слух и глаз нужны были поэту ежедневно, без чьей „санкции“ он не выпускал в свет ни строчки. Я не раз была свидетельницей этой их совместной работы. Сначала — ученица Самуила Яковлевича — один из самых близких единомышленников знаменитой „ленинградской редакции“ детской литературы — в 30-х годах Тамара Григорьевна стала самым требовательным редактором самого поэта…» — писала литературовед Вера Смирнова в сборнике Тамары Габбе «Быль и небыль». Ей же принадлежит предположение — и небезосновательное, — что стихотворение свое «Поэт не должен говорить на „ты“…» написано Тамарой Габбе о Маршаке:

Поэт не должен говорить на «ты»
Ни с ласточкой, ни с камнем, ни с судьбою.
Ищи ее — лукавой простоты,
А простота смеется над тобою.

Ты словно повторяешь наизусть

Чужих стихов знакомые страницы…
Какою мерой нам измерить грусть?
В какую форму радости отлиться?

Каким простым названием назвать
Уроки горькой жизненной науки,
Чтобы свое могли в них узнавать
И сверстники, и сыновья, и внуки?

Не угадать, не вспомнить, не найти!
Неверный звук не вызовет ответа.
Другим открыты тайные пути.
Надежные и точные приметы.

А ты — ты эхо чьих-то голосов,
Покорное магической привычке,
И нет твоих — незаменимых — слов
В бессмертном гуле вечной переклички.

Мне довелось услышать рассказ академика медицины Кассирского о первой его встрече с Маршаком. Самуил Яковлевич пришел к нему раньше условленного времени. С первых же слов стало ясно, что он очень встревожен:

— Надежда только на вас, дорогой Иосиф Абрамович! Это человек самый необыкновенный, самый талантливый. Тамара Григорьевна должна жить. Ей еще нет и шестидесяти. Она так много может и должна еще сделать!

Кассирский и Маршак незамедлительно поехали к Тамаре Григорьевне. В машине Маршак рассказывал Кассирскому о симптомах болезни Тамары Григорьевны. Допытывался, буквально пытал о возможных перспективах. Иосиф Абрамович, как и положено опытному врачу, отвечал уклончиво…

Прошли годы, и Иосиф Абрамович написал воспоминания о Т. Г. Габбе и С. Я. Маршаке: «Тамара Григорьевна — маленькая женщина, какая-то вся нежная, деликатная, утонченная и своей наружностью, и манерами — напомнила мне очаровательную Щепкину-Коперник, которую мне тоже пришлось лечить. Она была очень бледна, но о болезни старалась не говорить. Кроме малокровия и „некоторой слабости“, ни на что не жаловалась. Уклоняясь от осмотра, Тамара Григорьевна завела с Самуилом Яковлевичем разговор о его книге, верстку которой недавно просмотрела…

Да, в разговоре не было громких слов, красивых выражений,

эмоциональных взлетов, но я почувствовал крепкую творческую дружбу этих людей, почувствовал внутреннюю содержательность Тамары Григорьевны и облагораживающую силу ее красоты — душевной и физической. Я ощутил совсем близко атмосферу „лаборатории“ поэзии. Я понимал, что для них обоих весомость и качество слов — это жизнь стиха, его право на вечность.

Но вот я приступил к ознакомлению с историей болезни пациентки, и во мне заговорил „голос специалиста“. Я почуял что-то недоброе. Я обратил внимание на одну важную гематологическую деталь — необоснованный сдвиг формулы. В сочетании с малокровием это могло указывать на рак. Рентгеновское исследование, произведенное через два дня, подтвердило диагноз: рак желудка. Операцию делал чудесный хирург профессор Павел Иосифович Андросов. Раковая опухоль, которую мы увидели на столе, была совсем маленькой — величиной с ноготь. Павел Иосифович артистически удалил две трети желудка, и больная, несмотря на то, что болела еще диабетом, при котором операции проходят плохо, быстро пошла на поправку. Однако через десять месяцев разыгралась драма. При очередном осмотре я определил у Тамары Григорьевны маленькое уплотнение в печени.

Все было кончено, непоправимо. Через несколько месяцев Тамара Григорьевна умерла».

И далее в своих воспоминаниях Иосиф Абрамович пишет: «С. Я. Маршак отдавал последние силы близкому человеку. Я не могу забыть его чуткой повседневной заботы о больной, когда он долгие часы сидел возле нее и потом уезжал к себе и снова возвращался в клинику. Он был жертвенно беспощаден к себе и, казалось, не знал утомления».

Тамаре Григорьевне Габбе Маршак посвятил одно из самых лучших своих восьмистиший:

Люди пишут, а время стирает,
Все стирает, что может стереть.
Но скажи — если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.

Тамару Григорьевну Габбе похоронили на Новодевичьем кладбище. В 1962 году на ее могиле установили памятник, на нем

выгравирована строфа Маршака:

Ты горстью пепла стала, ты мертва.
Но помню, как у смертного порога
Произнесла ты медленно слова:
«Люблю я сильно, весело и строго».

Одно из самых проникновенных и философских стихотворений «Надпись на камне» написал Маршак вскоре после смерти Габбе:

Не жди, что весть подаст тебе в ответ
Та, что была дороже всех на свете.
Ты погрустишь три дня, три года, десять лет,
А перед нею — путь тысячелетий.

МАНДЕЛЬШТАМ, МИХОЭЛС, МАРШАК

В начале — несколько слов о влиянии библейской поэзии Маршака на творчество Мандельштама. Самуил Яковлевич был старше Осипа Эмильевича немногим больше чем на три года. Первые стихи свои на библейскую тему Маршак написал еще в начале XX века, Мандельштам же обратился к этой теме значительно позже. Быть может, самое примечательное его стихотворение на эту тему — «Среди священников левитом молодым…», написанное в 1917 году и посвященное А. В. Карташеву — видному ученому, церковному деятелю, занимавшему пост министра исповедания во Временном правительстве. Это стихотворение Мандельштама вызвало немало споров:

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес опасна желтизна!
Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина —
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи!

Он с нами был, когда на берегу ручья
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвешником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

К стихотворению о гибели Иерусалима, предсказанной молодым левитом, Мандельштам пришел не случайно. Двумя годами ранее он написал «Петрополь». Это стихотворение о другом времени, о другом городе. Однако пророчество молодого левита не давало покоя Мандельштаму накануне революции в Петербурге.

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

Итак, предреволюционный Петербург воспринимается Мандельштамом как город, где жизнь превратилась в ожидание гибели. Маршак же в ту пору в Петербург приезжал редко, от литературы был далек, если и писал о Иерусалиме, то совсем по-иному:

Когда в глазах темно от горя,
Я вспоминаю край отцов,
Простор бушующего моря
И лодки, полные гребцов.
Несутся к городу — к обрыву,
Легко ныряя, челноки.
Там гул нестройный и ленивый,
Торговцев крики и звонки.
В кофейне низкой и убогой
Идет игра, дымит кальян…
А рядом пыльною дорогой
Проходит тихий караван.
И величавый, смуглолицый,
Степных просторов вольный сын,
Идет за стройной вереницей
Своих верблюдов бедуин.
То у ворот Иерусалима
Дает верблюдам он покой,
Расположась невозмутимо
Среди тревоги городской.
То в мирной и счастливой сени
Случайной рощицы олив
Верблюды спят, склонив колени,
Пока не будит их призыв.
Давно в печальное изгнанье
Ушли Иакова сыны, —
Но древних дней очарованье
Хранят кочевники страны…

«Ерусалима ночь и чад небытия» в одно и то же время, но по-разному завораживают и Маршака, и Мандельштама. Когда стихотворение Мандельштама «Среди священников левитом

молодым…» уже было опубликовано, процитированные стихи Маршака еще «ходили в списках». Быть может, поэтому споров и дискуссий они не вызывали.

Споры спорами, но то, что оно свидетельствует о глубоком знании Мандельштамом Ветхого Завета, сомнений не вызывает. После разрушения Храма — в особенности Второго, евреям, оказавшимся в изгнании, Книга Книг заменила многое — богослужения в храмах и не только богослужения, но и жертвоприношения. Сказано в Талмуде: «Молитвы заменяют собой постоянное всесожжение». Повторим: стихотворение это написано в ноябре 1917 года, уже после октябрьского переворота.

И еще объединяет Маршака и Мандельштама путь к еврейству. Маршак пришел к ивриту, к еврейству в доме деда — ребе Боруха Гиттельсона. Что-то похожее произошло в детстве и с Осипом Мандельштамом, правда, в более позднем возрасте, нежели это случилось с Маршаком. Любопытно отметить, что и у поэта Осипа Мандельштама связь с еврейством нашла свое воплощение в образах дедушки и бабушки: «Дедушка — голубоглазый старик в ермолке, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел… Добрая бабушка, в черноволосой накладке на седых волосах… мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-ни-будь угостить». Однажды дедушка вытащил из ящика комода «черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой…»

Как все это похоже на воспоминания Маршака о детстве в Витебске.

Тема «Мандельштам — Маршак» переплетается с именем Михоэлса. Быть может, втроем они никогда не встречались, но дуэты «Михоэлс — Маршак», «Маршак — Мандельштам», «Михоэлс — Мандельштам» составляют триумвират.

В этой главе я не раз буду обращаться к воспоминаниям и Осипа Эмильевича, и Надежды Яковлевны Мандельштам. И не только к ним. Думаю, что в ней важны любые «свидетельские показания».

Зимой 2001 года я встречался с женой поэта Переца Маркиша — Эсфирь Лазебниковой. Она рассказывала мне, что в конце 1920-х, то ли в начале 1930-х годов, когда положение Мандельштамов было трагическим, Перец Маркиш поручал ей разыскать их («где хочешь, как хочешь, но найди») и передать им

хотя бы немного денег. Сами Маркиши в ту пору тоже не были бог весть как богаты, но в отличие от многих людей, отворачивавшихся от Мандельштамов, они находили возможность в трудную минуту поддержать их. Надежда Яковлевна в своих мемуарах вспоминает: «Читая Михоэлсу свои стихи „И в кулак зажимая истертый год рождения…“, Мандельштам почему-то зажал паспорт в кулаке и хотел его порвать. Попытки свести счеты с жизнью были не однажды… Нам не на что было жить, и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи. Часть лета мы прожили на деньги Катаева, Жени Петрова и Михоэлса. Он (Михоэлс. — М. Г.) обнял О. М. и наперебой с Маркишем старался говорить все самое утешительное…»

Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс рассказывала мне, что во время гастролей Государственного еврейского театра (ГОСЕТа) в Ленинграде Соломон Михайлович не раз просил ее или кого-то из близких друзей «сходить за Мандельштамами». При этом давал конверт с деньгами и контрамаркой, а на конверте писал: «Все содержимое этого конверта оставьте дома. Мандельштамов в ГОСЕТ пропустят без контрамарок».

Из воспоминаний Н. Я. Мандельштам:

«Я могу легко перечислить, сколько раз мы были в театре, — и чаще всего в Воронеже, когда приезжали москвичи. Там мы ходили даже на „Сверчка на печи“, а в Москве на такой подвиг никогда бы не отважились. Михоэлса, которым Мандельштам по-настоящему увлекался, мы увидели впервые в Киеве на гастролях, а затем в Ленинграде. Мы были на нескольких спектаклях с Ахматовой, она гордилась, что понимает текст, и хвалила Михоэлса, но все же упорно козыряла против него Чеховым. Не тогда ли Мандельштам впервые воскликнул: „Как оторвать Ахматову от Художественного театра!“ Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми. Я соглашалась, когда речь шла о Раневской, действительно хорошей актрисе, но хвалы, расточаемые киноактеру Баталову, сердили меня…

В увлечении Михоэлсом, который действительно был поразительным, ни на кого не похожим актером, сыграл, должно быть, большую роль интерес Мандельштама к еврейству, да и то, что, слушая речь актера на незнакомом языке, нельзя уловить актерскую интонацию. Не знаю, была ли она у Михоэлса. Как будто нет…

Мандельштам резче чувствовал противопоставленность актера и поэта, и я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не близко к нему находящемуся слушателю…

Иным способом достигает актер единства себя и персонажа,

которого он играет. Актер как бы жертвует собой ради роли, потому что может привнести в нее лишь отдельные черты своего „я“. Михоэлс требовал от художника, чтобы грим не искажал, а только подчеркивал черты его лица. Он избегал явной личины или маски, но все равно она у него была, хотя в ней сохранялись черты его лица. Без личины актера не существует, иначе один человек не мог бы вместить всех, кого ему приходилось играть в течение сценической жизни. Недавно один молодой актер написал в газете, что его задача не вживание в роль, но находка себя в каждой роли, потому что всякий раз он играет самого себя. Это любопытное замечание о соединении двоих, но все же в исполнительском процессе участвуют те же двое: „я“, поставленное в любую ситуацию и принявшее черты другого. „Я“ и соединившийся с ним „он“ привносят от себя в разных пропорциях, чтобы возник актер в данной роли…

Поэзия — подготовка к смерти. Актер, умирая на сцене, не воскресает, а снова становится самим собой, отбросив вместе с личиной чужую судьбу. Актер в известной степени соизмерим с писателем, с литературой, которая, в сущности, тоже уничтожает личность, вводя ее в иллюзорный и мнимый мир…

Раз человек поставил себя над людьми и захватил право распоряжаться жизнью и смертью, он уже не властен над собой…

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если б Мандельштам запел соловьем о мастерстве и мастерах — может, прикончили бы О. М., как Михоэлса, и уж, во всяком случае, приняли бы более жестокие меры, чтобы уничтожить рукописи…»

Я не случайно так подробно останавливаюсь на теме «Мандельштам — Михоэлс», ибо она соприкасается с другим дуэтом «Маршак — Мандельштам».

Я, конечно, предполагал, что поэтические судьбы Маршака и Мандельштама пересекались не только во времени, хотя в архивах Маршака, в его опубликованных сочинениях подтверждений этому не нашел. Но когда читал библейские стихи Мандельштама, то уловил в них отзвук «Сионид» Маршака и его стихов из цикла «Палестина». В литературном наследии Маршака, во всяком случае в том, что дошло до нас, упоминание о Мандельштаме если и встречается, то крайне редко. Мандельштам же в письмах не всегда справедливо говорит о Маршаке. Нельзя забывать, что в трудные для Осипа Эмильевича времена, когда стихи его не публиковали вообще, для него оказались доступными лишь журналы «Воробей» (именно в пятом номере этого журнала он опубликовал свой «Детский цветник стихов» — вольный перевод из Стивенсона) и «Новый Робинзон». Без одобрения Маршака в ту пору это было невозможно. И хотя

Надежда Яковлевна Мандельштам написала: «Маршак сильно испортил „Шары“ и „Трамвай“», это не совсем так. Эти стихи Мандельштама, написанные скорее для заработка, чем по вдохновению, не попали бы в разные детские издательства, если бы не были опубликованы до этого в журналах Маршака. И тем более непонятна фраза Надежды Яковлевны о Маршаке: «Он первоклассный ловец душ — слабых и начальственных. О. М. не спорил — с Маршаком соизмеримости у него не было. Но вскоре он не выдержал: ему вдруг послышался рожок, прервавший гладкие рассуждения Маршака, и с ним случился первый приступ грудной жабы».

О непростых отношениях, сложившихся между Маршаком и Мандельштамом, я прочел в воспоминаниях Надежды Яковлевны. Позже, читая письма Мандельштама, я понял, что во второй половине 1920-х годов положение Маршака в литературе было уже довольно весомым и от него что-то зависело. Маршак заключает договор с Мандельштамом на биографию Халтурина — плотника-народовольца… «Это очень легко, я напишу за пять дней», — пишет Мандельштам жене 7 февраля 1927 года. А через две недели 22 февраля сообщает: «Детский договор (книга о Халтурине. — М. Г.) отвергнут. Не люблю Маршака»… Думаю, и даже уверен, что «признание» это сделано О. Мандельштамом «в пылу гнева». Не понимал он тогда, что нож сталинской гильотины висел над ними обоими. Маршаку просто повезло…

Из письма Мандельштама жене от 23 октября 1926 года: «Но я хочу, мой родненький, взять работу от „Прибоя“ и от Маршака и приехать к тебе. Я не знаю, удастся ли это без продажи какой-нибудь меблишки? Но ведь стоит, милый. Зачем нам вещи, когда мы не вместе?..»

Однако его желание встретиться с Надеждой Яковлевной в Крыму не осуществилось. Из письма, датированного ноябрем 1926 года: «А что ты скажешь о моем плане встретиться в Москве? Мне безумно хочется». И снова, сообщая о своих делах, Мандельштам пишет, что Маршак ему предлагает сделать пересказ Тартарена (повесть Доде. — М. Г.) по 80 рублей с листа (это чепуха: турусы (пустая болтовня. — М. Г.) на колесах) и редактуру у него же по 50 рублей.

В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам я прочел: «У О. М. был долгий период молчания. Он не писал стихов — прозы это не коснулось — больше 5 лет: с 1926 по 30-й год. То же произошло с Ахматовой — и она какое-то время молчала, а у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. Можно ли считать случайностью, что трех действующих поэтов постигло временное онемение?.. Первым из троих замолчал О. М… Это случилось,

вероятно, потому, что… отношения с эпохой стали основной движущей силой его жизни и поэзии. „Что-то, должно быть, было в воздухе, — сказала Анна Андреевна, и в воздухе действительно что-то было — не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти…“»

В своей «Второй книге» в главе «Несовместимость» Н. Я. Мандельштам пишет: «Про его публичные выступления я только слышала от тех, кто на них присутствовал. Ни меня, ни Ахматову на вечера стихов и на публичные выступления он не пускал. Наше присутствие в зале стесняло бы его… При мне лишь однажды… Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие „научная поэзия“… Вообще резкость суждений у нас осуждалась всеми кругами без исключения. На смену базаровщины 20-х годов пришло „изысканное“ обращение, полутона, воркование. Самый доходчивый тон нашел Маршак, который, задыхаясь, говорил о любви к искусству, о Поэзии. На эту удочку клевали все. Называть вещи своими именами считалось неприличным, жесткая логика воспринималась как излишняя грубость…

Среди поклонников науки затесались и жулики, но они-то и пели слаще всех…

Редактор, чтобы не скучать за чисто запретительными занятиями, возомнил себя стилистом, блюстителем языка и вдохновителем новых жанров. Одним из первых на этих ролях стал подвизаться Маршак. Хрипловато-вдохновенным голосом он объяснял авторам (у него были не писатели, но авторы), как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому: все становились поэтичными, и голос у него дрожал… Он хотел превращать в писателя всех и каждого, кому хотелось писать и у кого был хоть какой-нибудь опыт в какой-нибудь области… всякий ведь обладает опытом, и он-то и есть материал литературы, если его изложить хорошим языком… Сейчас еще ходят по земле писатели, с которыми работал Маршак. Они с умилением вспоминают его советы: знать про героя решительно все… Искать по газетам сюжеты для повести, чтобы по свежим следам воспроизводить опыт великой эпохи.

Поганый век — поганые книги, лишь бы они не одевались в приличное обличье. Я предпочитаю коммерсантов, загребающих деньги на детективах, Маршакам.

Маршак исключительно умело избегал мысли и реальной действительности, которые были запрещены, предпочитая говорить обо всем „поэтическом“… Для души он завел целую коробку гладкой мудрости, вызывающую умиление даже у

начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил инкубаторов. Маршак — характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена… Он нанес бы больший вред, если бы существовала неокрепшая мысль, которую можно было бы задушить, но мысль исчезла, и он ничего не уничтожил и не испортил, даже детей из кисло-сладкого университета. Дети эти принадлежали к обреченному поколению и погибли, кто на войне, кто — после войны…»

Это не так. Создание Маршаком Дома детской литературы в Ленинграде было событием значительным. Помогли Маршаку Сергей Миронович Киров и видные педагоги Ленинграда. Из воспоминаний А. Гольдберга: «Зачем был создан ДДЛ? Этот вопрос задавали Маршаку и те, от кого зависело устройство не предусмотренного никакими штатами „детского учреждения“, и ленинградские литераторы, многие из которых скоро стали нашими гостями, и мы сами — от девятилетних октябрят до шестнадцатилетних комсомольцев. И всем Маршак отвечал одно и то же: в ДДЛ собраны ребята, любящие литературу».

Лично я понимаю: оценки Н. Я. Мандельштам субъективны. С. Я. Маршак внес такой вклад в русскую литературу, не только детскую, но и «большую» — помог стать писателями стольким людям, что уже за это заслуживает огромного уважения.

Трагедия Маршака в другом.

Если бы не революция, Великая Октябрьская, то Маршак стал бы поэтом совсем другим, и, быть может, его место в русской поэзии было бы рядом с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом. Ведь ранние стихи Маршака высоко ценили Блок, Саша Черный, да и сама Анна Андреевна. Но после революции Маршак, испугавшись собственных «Сионид», пошел другим путем…

Напомню слова Надежды Яковлевны Мандельштам: «Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха».

И Маршак стал таким, каким сделало его время. И как бы прощаясь с «Сионидами» и вообще с еврейской темой, в 1920 году Самуил Яковлевич урезал до неузнаваемости свое стихотворение «Мы жили лагерем в палатке» из цикла «Палестина», напечатанное за три года до этого полностью в сборнике «У рек вавилонских». И все же после Маршака, Мандельштама остались стихи, проза, пьесы, записки, а о театре Михоэлса, да и о нем самом только воспоминания…

Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях пишет, что, когда Осип Эмильевич вместе с комиссариатом

просвещения переехал из Петербурга вместе со всем правительством в Москву, у него произошел конфликт с Блюмкиным (да-да, тем самым революционером-террористом Блюмкиным, который в июле 1918 года совершил убийство Мирбаха, немецкого посла в России). Мандельштам подрался с ним и вырвал у него большую пачку бумаг с приговорами к расстрелу, куда оставалось лишь вписать фамилии людей, которых Чека хотела уничтожить. Он так рьяно рвал эти документы, что Блюмкин не сумел этому помешать. Думается мне, что расстрельные ордера были выписаны вновь. Блюмкину — как с гуся вода, а Мандельштам получил нервное расстройство и, чтобы прийти в себя, уехал в Петроград. Но вскоре был вызван в Москву, лично к Дзержинскому на допрос по поводу того же Блюмкина — расследовалось дело об убийстве Мирбаха. Едва ли Осип Эмильевич мог «обогатить» материалы следствия. Тогда он уцелел.

Но в руки этой же организации он попадал потом неоднократно. Однако именно он первым из русских поэтов написал еще в 1933 году антисталинские стихи. Этого вождь ему не простил.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца…

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей! […]
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Михоэлс пережил Мандельштама на восемь лет. Как и Осип Эмильевич, он пал жертвой «кремлевского горца».

Маршаку повезло — ни в 1937-м, ни позже, в 1940-м, его не тронули. Почему? Вопрос остается открытым.

ЧУКОВСКИЙ И МАРШАК

Эти два имени в сознании нескольких поколений читателей запечатлелись как что-то единое, воспринимаются как целое. Наблюдательный и остроумный Виктор Шкловский, хорошо знавший и Чуковского, и Маршака, сравнивал их с Томом Сойером и Геком Финном — эти непохожие мальчики не просто сошлись, но и подружились. Вот как написал о знакомстве с Чуковским семидесятилетний Маршак:

Я в первый раз тебя узнал,
Какой-то прочитав журнал,
На берегу столицы невской
Писал в то время Скабичевский,
Почтенный, скучный, с бородой.
И вдруг явился молодой,
Веселый, буйный, дерзкий критик,
Не прогрессивный паралитик,
Что душит грудою цитат,
Загромождающих трактат,
Не плоских истин проповедник,
А умный, острый собеседник,
Который, книгу разобрав,
Подчас бывает и неправ,
Зато высказывает мусли.
Что не засохли, не прокисли.
Лукавый, ласковый и злой,
Одних колол ты похвалой,
Другим готовил хлесткой бранью
Дорогу к новому изданью…

А вот как вспоминал Корней Иванович Чуковский о первой своей встрече с Маршаком: «…Меня сразу словно магнитом притянула к нему его увлеченность, я бы даже сказал, одержимость великой народной поэзией — русской, немецкой, ирландской, шотландской, еврейской, английской… Мудрено ли, что я после первых же встреч всей душой прилепился к Маршаку, и в ленинградские белые ночи — это было в самом начале двадцатых годов — мы стали часто бродить по пустынному городу, не замечая пути, и зачитывали друг друга стихами Шевченко, Некрасова, Роберта Браунинга, Киплинга, Китса и жалели остальное человечество, что оно спит и не знает, какая в

мире существует красота». Сказки и легенды Редьярда Киплинга объединили в буквальном смысле этого слова Маршака и Чуковского. В 1923 году Корней Иванович решил издать книгу сказок Киплинга. Многие его сказки завершались стихотворением. В качестве переводчика этих стихов Чуковский пригласил Маршака. Разумеется, это было не первое знакомство Маршака с Киплингом. Но в переводах Маршака стихи Киплинга получили особое, «русское» звучание. Не случайно стихотворение «На далекой Амазонке» (им завершается сказка «Откуда взялись броненосцы») стало детской песней, которую поют уже более восьмидесяти лет.

На далекой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда, —
Только «Дон» и «Магдалина»
Ходят по морю туда…

Именно сказки и легенды Киплинга сдружили Чуковского и Маршака. Прав был английский писатель Честертон, сказав: «Сказка — это история, которую рассказывают в безумные времена единственному нормальному существу — ребенку. Легенда же — история, которую рассказывали человеку, когда он был еще в здравом рассудке».

В 1922 году Корней Иванович Чуковский попытался включить в библиотеку «Всемирной литературы» стихи Блейка в переводе Маршака. Против их публикации выступил Горький, посчитав их слишком мистическими.

«Самуил Яковлевич приходил ко мне и стучал в мою дверь, — писал Корней Чуковский, — я всегда узнавал его по этому стуку, отрывистому, нетерпеливому, четкому, беспощадно воинственному, словно он выстукивал два слога: Мар-шак. И в самом звуке этой фамилии, коротком и резком, как выстрел, я чувствовал что-то завоевательное, боевое:

— Мар-шак!

Был он тогда худощавый и нельзя сказать, чтобы слишком здоровый, но когда мы проходили по улицам, у меня было странное чувство, что, если бы сию минуту на него наскочил грузовик, грузовик разлетелся бы вдребезги, а Маршак как ни в чем не бывало продолжал бы свой стремительный путь — прямо, грудью вперед, напролом».

По-разному Чуковский и Маршак входили в зарождающуюся советскую детскую литературу, но именно они были ее

зачинателями. Вот что писал литературовед Мирон Петровский: «Литературу для детей оба осмыслили не как „маленькую литературу“, а как основоположение, краеугольный камень, не подвластный времени и моде, фундамент, закладываемый в основание личности на самых ранних этапах ее формирования. Интересы и представления взрослых людей разбросаны по разным социальным, профессиональным, возрастным, политическим и прочим отсекам, но в детстве все пропитываются детской литературой, одними и теми же ее произведениями, которые в силу этого принимают на себя высокую функцию „главной книги“, общенационального мифа».

Путь Чуковского и Маршака в детскую литературу был нелегким, скорее — тернистым, трудным. В бессмертной «Чукоккале» есть такое стихотворение:

Расправившись с бело-зелеными,
Прогнав и забрав их в плен, —
Критическими фельетонами
Занялся Наркомвоен.
Палит из Кремля Московского
На тысячи верст кругом.
Недавно Корнея Чуковского
Убило одним ядром.

В начале 1925 года Корней Иванович Чуковский познакомил Маршака с Борисом Житковым, перебивавшимся случайными заработками. Во что вылилось это знакомство, мы сегодня знаем.

Любопытна запись Корнея Ивановича Чуковского, сделанная 8 апреля 1925 года в своих дневниках: «…Вчера в час дня у Сологуба: Калицкая, Бекетова, я. Ждем Маршака…

Пришел М[аршак] навеселе. Очень похожий на Пиквика…

Потом на улице я читал Маршаку свое „Федорино горе“. Он сделал целый ряд умных замечаний и посоветовал другое заглавие. Я сказал: не лучше „Самоварный бунт“? Он одобрил».

Обстоятельства сложились так, что у Маршака, в отличие от Чуковского, появилась возможность влиять на политику в области детской литературы — об этом мы подробно будем говорить ниже — но, забегая вперед, что-то расскажем сейчас. Против стихов для детей Корнея Ивановича Чуковского — в частности против «Тараканища» — выступали идеологические работники, отвечавшие за воспитание детей, среди них Надежда Константиновна Крупская и Семен Афанасьевич Венгеров — литературовед и библиограф, от которого во многом зависело издание книг для детей (позже в беседе с Чуковским Маршак

скажет: «Когда нет Венгерова, воздух чище»), «Эта гадина, оказывается, внушил Крупской ту гнусненькую статью о „Крокодиле“… Сейчас он выступил с двумя доносами на Институт детского чтения и на журнал „Искусство в школе“. Институт провинился перед ним в том, что Покровская (руководитель вышеупомянутого института. — М. Г.) в одном своем отчете о детских книгах не написала ни разу слов „пролетарская революция“, а в другом — написала не „коммунистическая“, но „общественная“. Читая все это, задумываешься, что и как быстро сделала с людьми новая власть! Ведь совсем еще недавно, в 1918 году, в альманахе „Елка“, выходившем под редакцией М. Горького и К. Чуковского, Венгеров напечатал свое стихотворение „Мышата“, а в 1920 году выпустил несколько детских книг. Есть у Венгерова такие стихи:

Гули-гули-гуленьки,
Что ж вы это, братцы?
Разве можно, жулики,
Из-за зерен драться?

Воробей, воробей.
Голубей ты не бей —
Будет, будет каждому
По зернышку важному,
И водицы по глоточку, —
Слышишь, точно молоточки,
Булькая и тенькая,
Капают сосульки…
Со ступеньки на ступеньку
Скачут гули-гуленьки.

Трудно представить, что всего через несколько лет после написания таких искренних стихов для детей автор стал обыкновенным доносчиком советской системы, потребовавшим — ни мало ни много — закрытия института и прочил себя на место Покровской».

Как известно, Крупская не разделяла взглядов К. И. Чуковского на творчество Н. А. Некрасова — Некрасов уже был «назначен» революционным поэтом. К. И. Чуковский не рассматривал его творчество столь примитивно. В защиту Чуковского выступил Маршак — он пошел к Людмиле Рудольфовне Менжинской, проректору Академии коммунистического воспитания имени Крупской. Из дневников К. И. Чуковского (запись от 1 апреля 1928 года): «Она…

предупредила (Маршака. — М. Г.): „Если Вы намерены говорить о Чук., не начинайте разговора, у меня уже составилось мнение“». Тогда Маршак пошел дальше — к самой Надежде Константиновне Крупской. «По поводу меня он сказал ей, что она не рассчитала голоса, что она хотела сказать это очень негромко, а вышло на всю Россию, — пишет Чуковский. — Она возразила, что „Крокодил“ есть пародия не на „Мцыри“, а на „Несчастных“ Некрасова (!), что я копаюсь в грязном белье Некрасова, доказываю, что у него было 9 жен. „Не стал бы Чук. 15 лет возиться с Некрасовым, если бы он его ненавидел…“ — сказал М[аршак]. „Почему же? Ведь вот мы не любим царского режима, а царские архивы изучаем уже 10 лет“, — резонно возразила она. „Параллель не совсем верная, — возразил М., — нельзя же из ненависти к Бетховену разыгрывать сонаты Бетховена“. Переходя к „Крокодилу“, М. стал доказывать, что тема этой поэмы — освобождение зверей от ига. „Знаем мы это освобождение, — сказала Кр. — Нет, насчет Чук. вы меня не убедили“, — прибавила она, но несомненно сам Маршак ей понравился.

Тотчас после его визита к ней со всех сторон забежали всевозможные прихвостни и, узнав, что она благоволит к Маршаку, стали относиться к нему с подобострастием».

Как пишет Корней Чуковский, его недруги были запуганы и письмом Горького, и протестом группы писателей, но более всего«…тем влиянием, которое приобрел у Крупской мой защитник Маршак, — и судьба моих книжек была решена». Разрешили печатать и «Тараканище», даже «Муху-цокотуху» (этот гимн мещанству), «Мойдодыра», как ни странно, под запретом оставалось «Чудо-дерево». Вот под каким предлогом: во многих семьях нет сапог, а Чуковский так легкомысленно разрешает столь сложный социальный вопрос. Сегодня это кажется смешным, но тогда… Вот запись из дневника Корнея Ивановича Чуковского, сделанная многими годами позже, 26 декабря 1958 года: «В 1921 году Л. М. Клячко (известный литератор и издатель. — М. Г.) задумал основать издательство… — Он пригласил меня… В то время после „Всемирной литературы“ я сильно голодал, семья была большая, и я охотно пошел в поденщики… Когда я привел к нему Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. Помню, как он декламирует:

На площади базарной,
На каланче пожарной,

упиваясь рифмами, ритмом, закрывая глаза от удовольствия. В качестве газетного репортера он никогда не читал никаких стихов. Первое знакомство с поэзией вообще у него состоялось тогда, когда он стал издателем детских стихов — до той поры он никаких стихотворений не знал. Весь 1922 и 1923 год мы работали у него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга, — потом эта дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова, которые по непонятной причине невзлюбили С. Я., и я не то чтобы поддался их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда М[арш]ак».

Отошел, но уйти совсем от детской литературы Корней Иванович, разумеется, не мог. В начале 1930 года Чуковский писал Маршаку: «Воображаю, как Вы устали. У меня тоже была проклятая зима. И как было бы чудесно нам обоим уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший — почти невозможный на земле — отдых и сразу обновляет всю нашу телесную ткань. Помните, как мы среди всяких „радужных“ дрязг вдруг брали Тютчева или Шевченко и до слез прояснялись оба. Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с Вами».

Бой за стихи К. И. Чуковского победитель Маршак закончил словами: «Я должен открыто сказать, что я не сочувствую запретительной деятельности вашей комиссии… Ваша обязанность — стоять на страже у ограды детской литературы». Не без влияния Маршака в Комиссию по детской литературе были введены Вересаев, Пастернак, Асеев.

В июле 1928 года в СССР вернулся Горький. В конце августа того же года он инкогнито приехал в Ленинград. Чуковский и Маршак пошли к нему в гостиницу «Европейская». К Горькому не допускали никого, но, услышав знакомые голоса, он велел пригласить их к себе.«…Нас позвали в соседний 7-й номер, где и был Горький, — вспоминал К. И. Чуковский. — Он вышел нам навстречу, в серой куртке, очень домашний, с рыжими отвислыми усами, поздоровался очень тепло (с Маршаком расцеловался, М. потом сказал, что он целует, как женщина, — прямо в губы), и мы вошли в 7-й номер. Там сидели 1) Стецкий (агитпроп), 2) толстый угрюмый ч[еловек] (как потом оказалось, шофер), 3) сын Горького Максим (лысоватый уже, стройный мужчина) и Горький, на диване. Сидели они за столом, на котором была закуска, водка, вино, — Горький ел много и пил — и завел разговор исключительно с нами, со мной и М. (главным образом с М., которого он не видел 22 года!!). (31 августа)».

О дружбе С. Маршака и К. Чуковского можно рассказывать бесконечно. Из дневников Корнея Чуковского (2 февраля 1929 года): «Мне легче. Температура 36,9. Маршак и Лебеденко прямо с поезда. М[аршак] пополнел, новая шапка, колеблется, принимать ли ему должность главы московско-ленинградской детской литературы, требует, чтобы согласились и Лебедева назначить таким же диктатором по художественной части; в чемодане у него Блейк (Горький обещал ему, что издаст). Забывая обо всех делах, он горячо говорит о „Songs of Innocence“ („Песни невинности“. — М. Г.), которые он перевел, — ушел с сжатыми кулаками, как в бой».

В тот же день Маршак читал Чуковскому свои новые рассказы об Ирландии, новые переводы из Блейка. Все, знавшие Маршака, отмечали, что диалог с ним был непрост, а порой он превращался в монолог Самуила Яковлевича. И снова из дневника К. И. Чуковского (11 февраля 1929 года): «Характерна нынешняя „манера говорить“ у Маршака. Он пришел ко мне… и стал говорить мне о своих печалях.

Я пробую вставить слово. Он кричит: „Не перебивайте!“ Как будто он читает стихи».

Между тем Чуковский и Маршак были, пожалуй, единственными, кого Горький привлек к работе с литературой для советских детей. Алексей Максимович понимал, что очень скоро вырастут совсем иные дети, совсем другие читатели, чем те, что были до 1917 года. Интересна запись из дневника Корнея Ивановича Чуковского от 21 августа 1932 года: «Бумага Горького — Маршака (вчера мне дали ее прочитать) о детской литературе робка — и об ошибочной литературной политике говорит вскользь. О сказке вообще не говорит полным голосом, а только о „развитии фантазии“».

В ту пору Горький хотел и даже был уверен, что центр детской литературы будет в Ленинграде. Он поручил Маршаку подготовить предложения о будущем статусе Детгиза, составить дальнейшие планы развития детской литературы. И все это Маршак делал при участии Корнея Ивановича Чуковского: «Вчера был у меня Маршак. Полон творческих сил. Пишет поэму о северных реках, статью о детской литературе, лелеет огромные планы, переделал опять „Мистера Твистера“. Изучил итальянский язык, восхищается Данте, рассказывает, что Горький в последней статье (О планах в детской л-ре) почти наполовину написал то письмо, к-рое он, М., написал Горькому». Противоречия между Маршаком и Чуковским возникали не раз. Вот запись от 24 января 1934 года: «Вчера утром мой друг Маршак стал собираться на какое-то важное заседание. — Куда? — Да так, ничего,

ерунда… Оказалось, что через час должно состояться заседание комиссии Рабичева по детской книге и что моему другу ужасно не хочется, чтобы я там присутствовал… „Горького не будет, и вообще ничего интересного…“ Из этих слов я понял, что Горький будет и что мне там быть необходимо. К великому его неудовольствию, я стал вместе с ним дожидаться машины Алексинского. Алексинский опоздал <…> наконец прибыл А., и мы поехали».

На этом заседании Корней Иванович обратил внимание на молодую поэтессу, сидевшую напротив Горького рядом с Маршаком, с необычной фамилией Барто. «Она каждую минуту суетливо писала разным лицам записочки. В том числе и мне». На том заседании Маршак читал доклад, подготовленный ему Габбе, Задунайской, Любарской, Лидией Чуковской. Доклад, как отмечает Корней Иванович, великолепный, серьезный и художественный. «Горький слушал влюбленно… и только изредка поправлял слова: когда М. сказал „промозглая“, он сказал: „Маршак, такого слова нету, есть „промзглая“. Потом спросил среди чтения: „В какой губернии Боровичи?“ М. брякнул: в Псковской. (Я поправил: в Новгородской.) Сел в лужу Маршак с Дюма. „Я вообще замечал, что из тех юношей, которые в детстве любили Дюма, никогда ничего путного не выходит. Я вот, например, никогда его не ценил…“ — „Напрасно, — сказал Горький (любовно), — я Дюма в детстве очень любил… И сейчас люблю… Это изумительный мастер диалога… изумительный… Как это ни парадоксально — только и есть два таких мастера: Бальзак и Дюма“. М. замялся…“»

В 1936 году под эгидой ЦК ВЛКСМ была созвана Конференция детских писателей. На ней детально рассматривался вопрос о будущем детской литературы. С докладом на конференции выступил Самуил Яковлевич Маршак. Вот фрагменты его выступления: «Всего несколько лет тому назад стране нужны были только пятитысячные и десятитысячные тиражи детских книжек. Сейчас речь идет о стотысячных и даже миллионных тиражах. Отчего это произошло? Оттого ли, что наши книги стали в десять или во сто раз интереснее? Нет, это — результат всеобщей грамотности… Разговаривая с нашим читателем, детство которого протекает в тридцатых годах нашего столетия, мы имеем дело с человеком пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов! Мы должны дать этому человеку мировоззрение борца и строителя, дать ему высокую культуру».

И еще Маршак призвал уделять больше внимания литературе народов СССР, отметив при этом, что произведения таких

талантливых писателей, как Лев Квитко, Наталья Забила, Мыкола Трублаини, до сих пор не переведены на русский язык. Между тем только переведенные на русский язык они найдут читателей разных национальностей в разных уголках Советского Союза. Выступление Маршака на этой конференции было полностью опубликовано в «Комсомольской правде» 22 января 1936 года, его цитировал в своем выступлении вождь молодежи, секретарь Центрального комитета комсомола Косарев.

«Он прелестно картавит, и прическа у него юношеская, — писал о нем Чуковский. — Нельзя не верить в искренность и правдивость каждого его слова. Каждый его жест, каждая его улыбка идет у него из души. Ничего фальшивого, казенного, банального он не выносит. Какое счастье, что детская л-ра наконец-то попала в его руки. И вообще в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра, словно дверь распахнули. Прежде она была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк.

Многие фальшивые репутации лопнут, но для всего творческого, подлинного здесь впервые будет прочный фундамент».

В том же 1936 году, в августе, Корней Иванович пишет Маршаку: «Дорогой Самуил Яковлевич.

Здесь, в Киеве, мы с Квиткой окончательно выбирали и рассматривали переводы его стихов на русский язык, чтобы составить из них книжку. И чуть-чуть призадумались над концом „Лошадки“. Общий тон превосходен, но есть две-три детали, которые мы решили просить Вас переделать, зная, что Вы сами любите многократно возвращаться к своим произведениям, чтобы снова и снова переработать их…» Но даже Маршаку не далась «Лошадка». В письме от 28 августа 1936 года он признается К. И. Чуковскому: «Но сколько я ни пытаюсь вернуться к „Лошадке“, оседлать ее вновь мне не удается».

По предложению Корнея Ивановича Маршак перевел шесть стихотворений Квитко, но работа эта явилась причиной конфликта между Чуковским и Маршаком. «Сейчас позвонил мне Маршак. Оказывается, он недаром похитил у меня в Москве две книжки Квитко — на полчаса, — пишет Чуковский. — Он увез эти книжки в Крым и там перевел их — в том числе „тов. Ворошилова“, хотя я просил его этого не делать, т. к. Фроман месяц сидит над этой работой — и для Фромана перевести это стихотворение — жизнь и смерть, а для Маршака — лишь лавр из тысячи». Этот случай, разумеется, омрачил, но тогда не изменил творческое содружество Маршака и Чуковского. Их дружба прервалась надолго, почти на пятнадцать лет, по другой причине.

Было это в тяжелом для всех и конечно же для Чуковского 1943 году. «Мне опять, как и зимою 1941/1942 гг., приходится добывать себе пропитание ежедневными выступлениями перед детьми или взрослыми…» Так вот, в том году речь шла о публикации сказки Чуковского «Одолеем Бармалея». Николай Тихонов из Ташкента прислал телеграмму: «Печатанье сказки приостановлено. Примите меры». Решение с печатанием затягивалось. Ряд писателей, среди них — Алексей Толстой, Михаил Шолохов, поддержали Корнея Ивановича. От Шолохова Чуковский отправился к Маршаку и тут… произошло неожиданное! «Маршак вновь открылся предо мною, как великий лицемер и лукавец. Дело идет не о том, чтобы расхвалить мою сказку, а о том, чтобы защитить ее от подлых интриг Детгиза. Но он стал „откровенно и дружески“, „из любви ко мне“ утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне не печатать ее, и не подписал бумаги… Сказка действительно слабовата, но ведь речь шла о солидарности моего товарища со мною». Но поссориться окончательно Чуковский и Маршак не могли — судьба детской литературы в значительной мере зависела от обоих.

В марте 1939 года за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы Маршак был удостоен наивысшей по тем временам награды — ордена Ленина. В 1940 году Корней Иванович, поздравив Маршака с наградой («Вы вполне заслужили ее… страстным и мучительно-тяжелым трудом»), пишет прежде всего о делах в детской литературе: «Я знаю, как Вы сейчас утомлены, и все же не могу не напомнить Вам, что мы дали Сундукову (директору Учпедгиза. — М. Г.) обещание исправить несчастную „Родную речь“. Я познакомился с другими учебниками для первого класса. К моему удивлению, оказалось, что и Арифметика, и Букварь — превосходны, плоха только „Родная речь“. Больно будет, если и в следующем году школьники окажутся вынуждены пользоваться этой бездарной халтурой. Я мог бы исправить „Родную речь“ в несколько дней — и потом прислать ее Вам для дополнительной правки, но Сундуков, как мне кажется, вовсе не желает нашей помощи. По крайней мере я вынес такое впечатление из недавнего разговора с ним (по другому поводу). Что же нам делать? Не поговорить ли с Потемкиным (в то время — народный комиссар просвещения. — М. Г.)?»

В годы войны Корней Иванович Чуковский оказался в эвакуации в Ташкенте. В декабре 1941 года он пишет Маршаку: «Здесь я живу хорошо, хотя и бедствую, ибо никаких денег у меня нет. Приходится зарабатывать тяжелым трудом: лекциями,

выступлениями. Но хорошо хоть то, что лекции мои собирают народ и что у меня есть еще силы читать их. Я бросил все мое имущество на произвол судьбы, т. к. уехал внезапно. Не знаю, дошло ли до Вас мое письмо, где я благодарил Вас и Софью Михайловну за дружеское отношение к Лиде. Без Вашей помощи Лида не доехала бы до Ташкента — этого я никогда не забуду». В этом же письме Корней Иванович Чуковский с восторгом отзывается о переводах Маршака, к которым он вернулся в Ташкенте, готовясь к лекциям в институте: «Рядом с Вами другие переводчики — почти все — косноязычные заики». Фраза эта вырвалась у Корнея Ивановича Чуковского не случайно. В письме от 15 ноября 1954 года он писал Маршаку: «Виртуозность Вашего стиха такова, что рядом с Вами большинство переводчиков (не только Шенгели) кажутся мне бракоделами».

После длительного перерыва, омраченного «Бармалеем», дружба Чуковского с Маршаком возобновилась лишь во второй половине 1950-х годов. Маршак из-за болезни не смог присутствовать на юбилейном вечере Корнея Ивановича, но на нем было зачитано известное «Послание семидесятипятилетнему К. И. Чуковскому от семидесятилетнего С. Маршака». Вскоре Корней Иванович написал Маршаку ответ:

«Дорогой Самуил Яковлевич.

Как весело мне писать это слово. Потому что — нужно же высказать вслух — между нами долго была какая-то стена, какая-то недоговоренность, какая-то полулюбовь. Анализировать это чувство — не стоит, вникать в его причины скучновато; думаю, что это зависело не от нас, а от обстоятельств и добрых людей. Я, Вы знаете, никогда не переставал восхищаться Вашим литературным подвигом, той многообразной красотой, которую Вы вносили и вносите в мир, очень гордился тем, что когда-то — в первый год нашего сближения — мне посчастливилось угадать Ваш чудесный талант, созданный для огромной литературной судьбы (вообще то время вспоминается как поэтическое и самозабвенное единение двух влюбленных в поэзию энтузиастов) — и зачем было нам угашать эти первоначальные чувства? От всей души протягиваю Вам свою 75-летнюю руку — и не нахожу в себе ничего, кроме самого светлого чувства к своему старинному другу».

Немногие отважились выступить в защиту Иосифа Бродского. Среди этих немногих Маршак и Чуковский. Именно они отправили в суд телеграмму: «Иосиф Бродский — талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик… Мы просим Суд… учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности

этого молодого человека». И хотя подписи были нотариально заверены, судья (если бы так повел себя только судья, а сколько писателей повели себя более гнусно) отказался приобщить эту телеграмму к делу. Бродского осудили.

Прочитав книгу Маршака «В начале жизни», Корней Иванович написал Самуилу Яковлевичу 5 мая 1960 года: «Книга ваша была для меня утешением во все время моей болезни. Я читал ее десятки раз — и держал у себя под подушкой. Книга — что и говорить! — первоклассная, не имеющая никаких параллелей в современной словесности. Рядом с нею другие книги такого же жанра кажутся косноязычными, неряшливыми, неуклюжими, тусклыми. Восхищает меткость попаданий — стопроцентная. Сто из ста возможных».

В 1962 году Корней Иванович написал Маршаку: «Я с ума сошел от радости, когда услыхал Ваши стихи. И радовался я не только за себя, но и за Вас: ведь если Вы можете ковать такие стихи, значит, Ваша чудотворная сила не иссякла, значит — Вы прежний Маршак, один из самых мускулистых поэтов эпохи».

А спустя некоторое время Чуковский вновь пишет Маршаку: «Как-то даже неловко говорить в лицо человеку, особенно другу, такие слова, но ничего не поделаешь, — ведь то, что я хочу Вам сказать, это сущая — а не юбилейная — правда: Вы, Самуил Яковлевич, истинный классик. Я считаю это определение наиболее точным. Вы — классик не только потому, что Вы ведете свою родословную от Крылова, Грибоедова, Жуковского, Пушкина, но и потому главным образом, что лучшие Ваши стихи хрустально-прозрачны, гармоничны, исполнены того дивного лаконизма, той пластики, которые доступны лишь классикам. В них нет ни одной строки, которая была бы расхлябанной, путаной, туманной и вялой».

Закончить повествование на тему «Чуковский — Маршак — дети» хочу блистательным посланием Маршака Корнею Ивановичу Чуковскому:

Мой старый, добрый друг Корней
Иванович Чуковский!
Хоть стал ты чуточку белей,
Тебя не старит юбилей:
Я ни одной черты твоей
Не знаю стариковской.

Таким же будешь ты и впредь.
Да разве может постареть
Веселый бард, чья лира

Воспела Мойдодыра.

Тебя терзали много лет
Сухой педолог-буквоед
И буквоед-некрасовед,
Считавший, что науки
Не может быть без скуки.

Кощеи эти и меня
Терзали и тревожили
И все ж до нынешнего дня
С тобой мы оба дожили.

Могли погибнуть ты и я,
Но, к счастью, есть на свете
У нас могучие друзья,
Которым имя — дети!

Последним четверостишием этого послания Чуковский завершил подготовленную к изданию в конце 1960-х годов рукопись своей «Чукоккалы».

ЛАУРЕАТ ЛАУРЕАТОВИЧ (Иммануэль Самойлович Маршак — сын и опора)

Среди воспоминаний о Маршаке, быть может, самые проникновенные те, что написаны его сыном Иммануэлем. Они заканчиваются так: «С самого раннего детства, на протяжении всей жизни, мне время от времени являлся по ночам один и тот же страшный сон, — как будто мой отец умер и весь свет для меня потускнел и стал каким-то приглушенным. С каким счастьем я просыпался в сознании, что он жив, что я могу снова его увидеть! А теперь этот сон так надолго затянулся…»

Иммануэль Самойлович Маршак — ученый с мировым именем, лауреат Государственной премии, автор многих монографий, изданных в СССР и за рубежом. В статье, посвященной восьмидесятилетию со дня его рождения, говорилось: «Несомненно, что Иммануэль Самойлович Маршак, благодаря своей масштабной научной и производственной деятельности в области ВИС (высокоинтенсивных источников света. — М. Г.), должен быть отнесен к выдающимся представителям отечественной светотехники» (журнал «Светотехника», 1997, № 2).

Иммануэль Самойлович оставил после себя не только добрую память, но и весомое литературное наследие — он открыл для русских читателей замечательную английскую писательницу Джейн Остин, блистательно переведя ее романы «Гордость и предубеждение» и «Аббатство Нотенгер».

Об одаренности этого человека свидетельствует, в частности, такой факт: среднюю школу он окончил в пятнадцать лет, а физический факультет Ленинградского университета — в девятнадцать.

Отношения между отцом и сыном были трогательно близкими. «К вечеру пришел Маршак с сыном Эликом… — записал 24 февраля 1925 года в своем дневнике К. И. Чуковский. — Элику 8 лет, он уже читает „Красную газету“, — славный, большеголовый, вечно сонный мальчик, страшно похожий на отца…» А вот отрывок из письма Маршака одиннадцатилетнему Элику: «…Я сейчас в Москве. Завтра вечером поеду к вам в Ленинград… очень хочу тебя видеть, мой хороший мальчик… Я видел гидроплан. Это такой аэроплан, который плавает на воде, а потом подымается и летает. Когда ты будешь совсем большой, мы с тобой будем летать на гидроплане

и аэроплане… Когда приеду, будем с тобой играть, я буду рассказывать сказки…»

А вот письмо из Севастополя, отправленное одиннадцатилетнему Элику 3 мая 1928 года:

«Мой дорогой мальчик Элик,

ты мне очень мало и редко пишешь. Хоть бы раз написал мне обстоятельное письмо о том, что случается в школе, что ты видел в театре, с кем подрался (надеюсь, впрочем, что ты перестал быть милитаристом), что говорит и делает Лялик (так дома звали Якова — младшего сына Маршака. — М. Г.).

А у меня вчера было много приключений. Я поехал на автомобиле в Балаклаву (стоит 1 рубль). По дороге ветер хлестал мне в лицо, пытался даже сорвать очки».

Думается мне, что, переводя стихотворение Р. Киплинга «Завещание сыну», Маршак прежде всего обращался к собственному сыну:

…И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —
Без прежних сил — возобновить свой труд,

…И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Земля — твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты — человек!

Иммануэль Самойлович сам стал отцом троих сыновей: Алексея, Якова и Александра. Случилось так, что старший его сын Алексей в детстве редко видел его.

Девятнадцатилетний Иммануэль, недавно завершивший учебу в Ленинградском университете, влюбился в милую и обаятельную девушку. Звали ее Татьяной. Они уже были знакомы: Татьяна оказалась среди пассажиров парохода, на котором путешествовали по Волге дети 10–14 лет из «Школы юных дарований». «Капитаном корабля» был Самуил Яковлевич Маршак. Тогда, в 1935 году, Татьяна на Иммануэля, старшего сына Маршака, не обратила внимания — ей куда больше запомнились другие «путешественники». В особенности —

Даниил Хармс, помогавший Маршаку руководить этим детским коллективом. Татьяна Алексеевна до сих пор вспоминает высокого, худого поэта, вышагивающего по палубе парохода взад и вперед. Он беспрестанно находился в движении. По просьбе детей Даниил Иванович читал им свои стихи. Вот стихотворение Хармса, услышанное Татьяной Алексеевной на пароходе:

Летят по небу шарики,
летят они, летят,
летят по небу шарики,
блестят и шелестят.
Летят по небу шарики,
а люди машут им,
летят по небу шарики,
а люди машут им.
Летят по небу шарики,
а люди машут шапками,
летят по небу шарики,
а люди машут палками.
Летят по небу шарики,
а люди машут булками,
летят по небу шарики,
а люди машут кошками.
Летят по небу шарики,
а люди машут стульями,
летят по небу шарики,
а люди машут лампами.
Летят по небу шарики,
а люди все стоят,
летят по небу шарики,
блестят и шелестят.
А люди тоже шелестят.

Отец Татьяны, академик Алексей Дмитриевич Сперанский, и Самуил Яковлевич Маршак были знакомы давно. Алексей Дмитриевич бывал в доме Маршаков в Ленинграде, они подружились. В 1936 году Алексея Дмитриевича перевели на работу в Москву. Однажды в столицу приехал Самуил Яковлевич. Заболев, он конечно же обратился к профессору Сперанскому, проживавшему тогда на Земляном Валу в недавно построенном, но еще не заселенном полностью доме 14/16. Узнав о возможном переезде в Москву Маршаков, Алексей Дмитриевич искренне обрадовался: «Мне кажется, мы будем жить еще ближе друг к другу, чем в Ленинграде. Над нашей квартирой „пустует“ такая

же». И Алексей Дмитриевич со свойственной ему энергией ходатайствовал о предоставлении Маршакам квартиры 113, расположенной над 111-ой. Хлопоты его увенчались успехом — семье Маршаков, переехавшей из Ленинграда в Москву, была предоставлена именно эта квартира. В этом-то доме и встретились вновь Иммануэль Маршак и Татьяна Сперанская. Вскоре они поженились, а 11 декабря 1937 года у них родился сын. Нарекли его Алексеем. Судьба, как известно, решает все по-своему, порой вопреки влюбленным или их родителям. Алексей Дмитриевич обожал Иммануэля, Самуил Яковлевич же был влюблен в свою невестку Татьяну. Вот его стихи, ей посвященные:

Слушай, дочь моя, Татьяна,
Не вставай ты утром рано,
До рассвета, с петухом…
Не спеши скакать верхом.
Будь немного равнодушней
Ты к манежу и конюшне,
К шенкелям и мундштуку…
Верь, Татьяна, старику!

Но даже такая любовь родителей к своим чадам изменить ничего не могла — брак Иммануэля и Татьяны оказался недолгим. Алексей остался в семье матери. С отцом виделся нечасто. Но оба деда всегда очень любили его. В 1948 году Самуил Яковлевич, даря Алексею Дмитриевичу книгу «Избранное», написал такой автограф:

Мы связаны любовью и судьбою,
И празднуем мы дважды юбилей.
Сто двадцать лет мы прожили с тобою,
Мой старый друг, Сперанский Алексей…

…Сроднили нас и дружеские чувства,
И маленький Алеша, общий внук.
И знаем мы, что истина искусства
Недалека от истины наук.

Пройдут десятилетия, и маленький Алеша станет Алексеем Иммануэлевичем Сперанским-Маршаком и в 1989 году уедет в Иерусалим, святой город, так любимый его дедом Самуилом. В Иерусалиме Алексей 22 апреля 1996 года напишет воспоминания о своем знаменитом дедушке: «Обаяние личности Самуила

Яковлевича и тот особенный, характерный только для него одного, как мне всегда казалось, светлый и чистый мир Поэзии и мудрого философского раздумья о жизни и о людях открылись мне очень рано, когда я еще совсем маленьким мальчиком приезжал вместе со своим отцом, Иммануэлем Самойловичем Маршаком, в квартиру деда на улице Чкалова. Конечно, я еще очень многого не понимал своим детским, пытливым и чрезвычайно эмоциональным восприятием, не осознавал по-настоящему всего того нового, что мне открылось тогда; я еще не умел отделить главное от второстепенного, серьезное и глубокое от невинной шутки и игры.

Помню только ту радость, которая охватывала меня, когда я еще лишь узнавал о предстоящей поездке к деду. Еще бы, ведь каждый раз я предчувствовал то новое, волнующее, интересное, с чем я обязательно встречусь в доме моего „дедушки Сёмы“. И лишь через несколько лет, уже в юности, прочитав в книге „С. Я. Маршак. Избранная лирика“, вышедшей первым изданием в начале шестидесятых годов, замечательные строки: „Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет“, я поразился созвучности этих строк моим первым детским впечатлениям и радостям новых открытий, новых чувств, окружавших меня, когда я переступал порог этого дома.

Есть общеизвестная фраза, вошедшая в поговорку: „Театр начинается с вешалки“. Квартира Самуила Яковлевича Маршака начиналась для меня с библиотеки. Ни с чем не сравнимым наслаждением было зарываться в книги, многие сотни, тысячи книг, стройными рядами стоявшие вдоль открытых стеллажей, которые занимали полностью, от пола и до потолка одну из стен уютной и немного старомодной во вкусе интеллигентных домов начала XX века квадратной гостиной, находившейся в самом центре этой четырехкомнатной квартиры. В те детские годы, такие далекие уже для меня теперь, я просто физически не мог бы отделить личность деда от этих полок с книгами, сулившими такие увлекательные и необыкновенные странствия моего ненасытного детского воображения. Фамилия „Маршак“ и слова „Интересная книга“ стали для меня тогда синонимами, хотя я едва ли осознавал тогда это, скорее просто чувствовал своей детской, непосредственной душой.

И еще из первых детских впечатлений — дом деда был всегда полон людьми, очень разными, молодыми и пожилыми, степенными и веселыми, и у всех них было какое-то дело к Самуилу Яковлевичу, и для каждого он находил время, чтобы побеседовать, прислушаться к человеку, и сказать ему свое слово,

иногда ободряющее, иногда укоризненное, часто шутливое, или же мудрое и раздумчивое, но никогда — назидательно-скучное. Мне это казалось таким естественным и само собой разумеющимся — „а как же может быть иначе?“ — и лишь потом, через много лет, я понял секрет этой открытой перед людьми маршаковской двери и этого неиссякаемого внимания деда к таким разным и непохожим друг на друга человеческим судьбам, проходящим перед ним длинной чередой.

В этом тоже был один из источников его творчества. Своим чутким ухом поэта он неустанно вслушивался в биение человеческих сердец, чтобы почувствовать движение самой Жизни, многоликой Жизни, проходившей перед ним. Он знал, что в самых прозаических, житейских вещах, вокруг которых могла вращаться беседа с тем или иным человеком, могла вдруг возникнуть Поэзия, мог забить из-под пластов земной жизни чистый источник, питавший его художественное Слово.

Много-много раз, и маленьким мальчиком, и позже, через несколько лет — подростком, а потом уже юношей, студентом-историком, я приходил в этот дом, где неоднократно был (такое уж мое счастливое везенье) одним из самых первых слушателей его новых стихов, поэтических переводов, новых пьес или литературно-критических статей, только что сошедших с его большого рабочего стола в уютном его кабинете, стола, всегда заваленного рукописями и книгами. Рабочий кабинет Самуила Яковлевича — место, где проходила большая часть его ежедневной жизни, литературных трудов, встречи и беседы с людьми. Удобное, полукруглое рабочее кресло красного дерева у письменного стола, слева от которого — большое окно во двор, с ветвями тополей, заглядывающими через это окно в комнату. Большой кожаный диван — за спиной, и такое же кожаное большое кресло, с могучими, круглыми, плотно обтянутыми кожей валиками, — справа от стола, — для друзей, гостей, всех тех, кто удостаивался чести переступить порог его кабинета. Здесь он читал свои новые стихи, голосом немного глуховатым и полным тонких оттенков авторского чувства, рождаемого поэтическим словом, произнесенным вслух…

Образ моего любимого деда в памяти моей неотделим от другого образа, его старшего сына и моего отца, Иммануэля Самойловича Маршака. Его любовь и беззаветная преданность отцу, стремление окружить его максимальной заботой, вниманием, оказать ему необходимую помощь во всех его жизненных вопросах, прежде всего таких, как охрана его здоровья (Самуил Яковлевич часто болел, и эти болезни ложились тяжелым грузом на его жизнь), подлинное соучастие в его жизни

и литературном труде — навсегда останутся для меня высочайшим примером выполнения сыновнего долга, примером нравственного благородства и любви. Уже после смерти Самуила Яковлевича в 1964 году Иммануэль Самойлович Маршак предпринял огромные усилия по сохранению и публикации творческого наследия поэта. Без его личных усилий, неустанного, целеустремленного труда было бы невозможно издание в конце 60-х — начале 70-х годов восьмитомного Собрания сочинений Самуила Яковлевича Маршака, многих отдельных публикаций его художественных переводов, лирических стихов, драматических произведений. Больших его усилий потребовало также приведение в необходимый порядок архива писателя, обеспечившее возможность для исследовательской работы ученых-литературоведов, интересующихся творчеством С. Я. Маршака и общими вопросами истории развития литературы в дореволюционной и в послереволюционной России, неотделимой частью которых являлось и является его творчество».

Когда Алексей писал эти воспоминания, уже не было в живых не только Самуила Яковлевича, но и Иммануэля Самойловича, заботившегося о старшем сыне ничуть не меньше, чем о младших. Алексей же отношение отца оценил, только повзрослев. И даже попытался что-то изменить, написав об этом отцу…

Вот ответ Иммануэля Самойловича (от 30 июля 1959 года):

«Мой дорогой Алёшенька,

я был очень тронут твоим глубоким, человеческим письмом. Поверь мне, что я всегда надеялся на установление между нами настоящей дружбы и воспринимал отдельные неприятные эпизоды как явления временные, связанные с твоим возрастом и, конечно, очень трудным твоим детством. Мне было очень больно и горько за тебя, но коренное улучшение твоей судьбы — путем восстановления нашей с Таней (Татьяна Сперанская — мать Алексея. — М. Г.) семьи было невозможно, а паллиативы ничего не давали, даже иногда увеличивали твою отчужденность и замкнутость. Об одном я жалею — о том, что моя мама, а твоя бабушка, которая любила тебя, пожалуй, больше других внуков, не смогла прочесть этого твоего письма. Как бы она ему порадовалась!

Я всей душой отзываюсь на твой призыв к тому, чтобы зачеркнуть старое и установить между нами настоящую большую, взрослую дружбу…

В конце августа мы с дедушкой, очевидно, поедем на 2 недели в Англию — в гости к Мэйхью. К твоему возвращению мы, наверно, тоже вернемся.

Буду очень рад твоим новым письмам…»

А вот отрывок стихотворения, которое Самуил Яковлевич Маршак написал своему внуку и так и назвал — «Алеше Сперанскому»:

Мой милый внук Алеша,
Твой старый дед-поэт
Полезный и хороший
Дает тебе совет…

Чтоб заниматься делом,
Даны нам две руки:
Почистим зубы мелом,
А ваксой башмаки.

Страшись ошибки грубой.
Бывают чудаки,
Что чистят ваксой зубы,
А мелом — башмаки…

Сиди и жадно слушай
Учителей своих.
На то даны нам уши,
Чтоб жадно слушать их!

Пусть твой учитель школьный
Запишет в твой дневник:
«Алешей мы довольны,
Примерный ученик!»

Первый раз я пришел к Иммануэлю Самойловичу, когда он жил в Москве на Ново-Песчаной улице. Мы встретились, как старые знакомые — возможно, сказалась наша длительная переписка. В тот день я и узнал о встречах Маршака с Александром Блоком и впервые услышал о друге Блока — Владимире Алексеевиче Пясте. В середине 1930-х годов Пяст не просто бедствовал — нищенствовал. Маршак решил помочь ему, но от денег Владимир Алексеевич отказывался. Тогда Маршак выхлопотал у издателя Клячко аванс для Пяста под будущую книжку, а потом написал ее за него. Это был первый вариант «Рассеянного». Книжка вышла под названием «Лев Петрович». Вот отрывки из нее:

Лев Петрович Пирожков

Был немножко бестолков.

Вместо собственной постели
Ночевал он на панели,
Удивляясь лишь тому,
Что проходят по нему…

Человек он был хороший,
Но всегда менял калоши:
Купит пару щегольских,
А гуляет — вот в таких!

За дровами у сарая
На дворе он ждал трамвая
И сердился — просто страсть, —
Что на службу не попасть…

Очень часто к телефону
Вызывал свою персону:
«Два пятнадцать двадцать пять,
Льва Петровича позвать!»

Лев Петрович Пирожков
Был ужасно бестолков.

Он пошел на именины
Воробьевой Антонины,
А попал в соседний пруд.
Тут
И был ему капут.

Иммануэль Самойлович рассказал мне о том, что Маршак принял участие в судьбах многих старых интеллигентов, отвергнутых советской властью в 1920-х годах. Так, он помог поэту, литературоведу, переводчику Михаилу Кузмину, предложив ему сделать новый перевод «Илиады» Гомера. Михаил Алексеевич удивился: «А что, перевод Гнедича уже устарел?» На что Самуил Яковлевич ответил: «Поверьте, Вы сделаете очень важное и нужное дело!» Кузмин последовал совету Маршака. Пройдет несколько лет, и Михаил Алексеевич напишет: «Не могу не выразить своей благодарности С. Я. Маршаку, благодаря которому я взялся за эту работу (…) доставившую на долгое время самые чистые и плодотворные радости».

Помогал Маршак и писателю Е. П. Иванову, тетке Блока — М. А. Бекетовой, литературоведу Эриху Голлербаху. Последний, правда, своеобразно отблагодарил Маршака — в книге «Незабываемо» он не нашел ничего лучшего, как написать о Маршаке: «Поэт М. шел с женою по Садовой. Жена несла огромный куль с яблоками. Одно яблоко упало на панель. М. стоял, засунув руки в карманы. Женщина нагнулась, подняла яблоко. Куль лопнул, из него выпало еще несколько яблок. М. стоял, глядя сверху вниз на жену и на яблоки. Этого Адама явно не соблазняла Евина приманка. Наконец Ева собрала яблоки, и супруги двинулись дальше. М. шагал впереди, расставив локти, толстый, рябой, сытый. За круглыми очками сонно мигали его маленькие глазки. Жена поспешала за ним, нарядная, пышная, со злым лицом, покрасневшим от усилия удержать на груди груду яблок». Разумеется, такие люди в окружении Маршака исключение. Как правило, ему везло на друзей.

Я часто бывал у Иммануэля Самойловича и в доме на Чкаловской, в квартире Самуила Яковлевича. Все здесь сохранилось, как было при жизни Самуила Яковлевича. По существу, квартира С. Я. Маршака превратилась в музей, но, увы, для немногих. Два раза в год — в день рождения и годовщину смерти Самуила Яковлевича — здесь собирались его друзья. Это были импровизированные и замечательные маршаковские вечера.

Много интересного и нового о Маршаке услышал я на этих вечерах, задолго до того, как прочел сборники воспоминаний о Самуиле Яковлевиче… Жаль, что некоторые устные воспоминания — например С. Т. Рихтера, И. С. Козловского — не были записаны, а что-то из записанного — в частности воспоминания о Маршаке А. П. Потоцкой-Михоэлс — так и не вошло в изданные сборники.

Никогда не забуду путешествие на Соловки, в которое отправились мы — Иммануэль Самойлович, Мария Андреевна — его жена и я — в июне 1969 года. Лишь на двух эпизодах, не имеющих отношения ни к Самуилу Яковлевичу, ни к литературе, хочу остановиться. Жили мы на территории бывшего монастыря, в гостинице, где некогда были монашеские кельи. Однажды на острове случился пожар. Местный руководитель, кажется, председатель сельсовета, в рупор призывал туристов помочь в тушении пожара. После долгих его призывов желающих оказалось двое — измученный страшным приступом радикулита Иммануэль Самойлович Маршак и я.

В какой-то день туристов повезли на один из островков Белого моря. Среди моря на камне восседал тюлень и пронзительно кричал. Крик этот напоминал плач. Создалось

впечатление, что тюлень почему-то не может спрыгнуть в воду. Все сочувственно охали и ахали, а были среди нас и молодые мужчины: «Как ему помочь?!» И только Иммануэль Самойлович, не раздумывая, с палочкой, дошел до берега, вошел в очень холодное море и поплыл по направлению к тюленю. И когда он уже был совсем близко от животного, тюлень, повернув к нему голову, шустро нырнул в море. Под аплодисменты туристов, ждавших на берегу, Иммануэль Самойлович вышел из моря, не хромая, уверенной походкой. И, обращаясь к Марии Андреевне, сказал: «Я, кажется, запатентую новый способ лечения радикулита».

Иммануэль Самойлович поведал мне, что его отец слыл в юности знатоком иврита и Священного Писания; он был одним из переводчиков поэтических текстов книги «Дом молитвы», изданной в 1907 году в Вильнюсе. Мне удалось разыскать эту книгу; к сожалению, имена переводчиков стихов в ней не указаны, — указан лишь переводчик текста — Вол., но приведу здесь не полный текст, а отрывок стихотворения «Песнь о козице». Обычно такие стихи, как пред-пасхальные агады, читали и распевали в канун Пасхи:

…Отнимет Бог у смерти меч,
Спешивший мясника упечь,
Что на убой вола обрек,
Который выпил ручеек,
Гасивший ярый огонек.
Тот самый, что дубину сжег,
Свалившую собаку с ног
За то, что на кота насел.
Который козицу заел.
Отец мне сам ее купил,
Два целых Зевса заплатил,
Козица, козица.

Процитирую отрывок из маршаковского «Дома, который построил Джек»:

Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это корова безррогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А эти стихи — один из первых вариантов С. Я. Маршака — еще больше похожи на «Песнь о козице»:

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха.
Который бранится с молочницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Поймавшего крыс,
Забравшихся в рис,
В доме, который построил Джек.

Сравнив эти два отрывка, я предположил, что переводчиком обоих, скорее всего, был С. Я. Маршак.

Дружба с Иммануэлем Самойловичем явилась для меня продолжением моего знакомства с С. Я. Маршаком. Мы часто и много беседовали о Самуиле Яковлевиче. По рекомендации Иммануэля Самойловича я стал общественным сотрудником Комиссии по литературному наследию С. Я. Маршака. Иммануэль Самойлович был ответственным секретарем комиссии.

Однажды я рассказал ему о своей находке — в «Сборнике молодой еврейской поэзии» (Еврейская антология. М.: Сафрут), изданном под редакцией В. Ходасевича и Л. Яффе, я обнаружил два неизвестных перевода Маршака из З. Шнеура и Д. Шимоновича. Зная, что готовится собрание сочинений Самуила Яковлевича, я предложил включить найденные мною переводы в это издание. Иммануэль Самойлович согласился с тем, что перевод из Шимоновича (стихотворение «Сфинксы») представляет большой интерес, а перевод стихотворения Шнеура «В горах» выполнен просто замечательно, но сказал:

— Еще не время. Да и в течение всей жизни Самуил Яковлевич никогда не вспоминал об этих стихах. Он был человеком русской культуры, русским поэтом. Помните его стихи:

По-русски говорим мы с детства,
Но волшебство знакомых слов
Мы обретаем, как наследство,
В сиянье пушкинских стихов.

— Но ведь все равно и «Сиониды», и «забытые» переводы Маршака с еврейского когда-то придут к читателю, — настаивал я.

— Сейчас их включить в собрание не дадут. Не разрешают даже поместить предисловие А. Т. Твардовского из-за того, что он упоминает о небольшой статье Маршака в «Известиях», в которой Самуил Яковлевич воздал должное таланту и мужеству Солженицына, а уж еврейская и библейская темы для нынешних литературных функционеров ненавистнее и страшнее, чем гулаговская…

Как-то раз я спросил Иммануэля Самойловича: что, по его мнению, привело Маршака к детской литературе, тем более уже в зрелом возрасте. Он задумался и ответил так:

— Во-первых, я убежден, что делить поэта на «детского» и «взрослого» невозможно… Во-вторых, Самуил Яковлевич всю жизнь любил детей. И дети отвечали ему взаимностью. Ни одного письма от детей Самуил Яковлевич не оставлял без ответа. Он старался исполнить не только их просьбы, но порой даже прихоти. Вступал в переписку с руководителями разных городов, чтобы те помогали детям, нуждающимся в этом… Я хочу подготовить статью «Дети пишут Маршаку», похожую на публикацию Самуила Яковлевича «Дети пишут Горькому».

На вечере, посвященном девяностолетию Маршака (он состоялся в Колонном зале Дома союзов в конце 1977 года), сестра поэта Юдифь Яковлевна тоже рассказывала мне о необыкновенной любви и привязанности Самуила Яковлевича к жене и маленькой дочери Натанели, безвременно ушедшей из жизни, и прочла стихи, до того мне неведомые:

Она сидит у колыбели.
Ребенок дышит в сладком сне.
А за окном чернеют ели,
Снега темнеют при луне.
На край покойной колыбели
Склонилась, дремлет, не поет.
Там, за окном, трепещут ели.
Лежат снега. Луна плывет.

В воспоминаниях Юдифи Яковлевны я прочел: «…Для своей работы С. Я. облюбовал помещение на чердаке. Особенно любил он работать, когда рядом на крошечном балкончике спит в своей корзинке Натанель… Никогда не забуду я этих дней в Кирву, которые мы провели с нашей маленькой племянницей…

Видя, как мы не можем на нее нарадоваться, Любек (директор детского дома. — М. Г.) как-то сказал:

— Вы ее слишком любите. Не нужно так любить.

— Но почему же? — удивленно спросила я.

Любек ничего не ответил и посмотрел на Натанель грустным и долгим взглядом. Эти слова Любека запомнились мне и моим сестрам на всю жизнь…»

До сих пор не изучено литературное наследие Иммануэля Самойловича, а оно, несомненно, представляет интерес. Давно известно: человек талантливый талантлив во многом. Иммануэль Самойлович сочинял музыку (в молодости даже написал оперетту), стихи. Вот строки одного из них:

Летит в пространстве самолет,
Мелькая искрой красной.
Он мне сигнал оттуда шлет
О жизни ненапрасной.
Мной сотворенные огни
Останутся на свете,
Как остаются жить одни,
Отца лишившись, дети.

А о том, как Иммануэль Самойлович чтил память отца, свидетельствуют, в частности, его письма ко мне. Приведу несколько отрывков из них.

От 4 апреля 1966 года:

«…В Моссовете уже больше года лежит ходатайство Союза писателей о переименовании улицы и установлении мемориальной доски на доме, где жил Самуил Яковлевич. Доска уже почти готова и скоро будет установлена. А вот относительно улицы пока решения нет. Но у них там большая очередь в Комиссии по наименованию улиц. Обращаться в нее мне не хочется. Да это и не суть важно — отца не забывают по книгам, и всему придет время…»

От 20 октября 1966 года:

«…Том Кемпбел уехал после нашей с Вами общей встречи. Он — очень хороший, умный и талантливый человек. По профессии он — сапожник, но это не мешает ему превосходно знать

английскую и русскую литературу и уделять большое внимание шотландско-советской дружбе… У нас здесь гостил еще один большой друг Самуила Яковлевича из Шотландии — депутат парламента от округа, в котором родился Бернс, Эмрис Хьюз. Он написал для серии „Жизнь замечательных людей“ книгу о своем друге, Бернарде Шоу. Если Вам интересно получить эту книгу — напишите мне, и я ее Вам вышлю…»

От 18 февраля 1967 года:

«…Бабеля я не встречал (мы тогда жили в Ленинграде, а он — в Москве). Самуил Яковлевич действительно подружился с ним в Италии, где они гостили почти одновременно у Горького. Имеется фотография, на которой они сняты вместе… А воспоминания о Шварце я купил. Книга мне не очень понравилась. Очень неприятное впечатление оставляют воспоминания Николая Чуковского, который, вместо благодарности Самуилу Яковлевичу за большую помощь в работе над первыми книгами, говорит о нем глупо и недоброжелательно и при том искажает факты…»

От 24 сентября 1967 года:

«…Спасибо за письмо от 11.09. Передайте сердечный привет моим друзьям из вашей школы. У меня до сих пор сохраняется в душе теплое чувство от встречи с ними на улице Чкалова.

Не знаю — будет ли проводиться в Союзе писателей ка-кой-нибудь торжественный вечер, посвященный 80-летию Самуила Яковлевича. В эти дни внимание будет там занято другим, более значительным юбилеем, и о 80-летии могут попросту позабыть. А мне самому не хочется хлопотать по такому поводу. День 3 ноября я проведу на Чкаловской и буду рад всякому, кто сам по себе придет туда, вспомнив об отце…»

От 7 сентября 1968 года:

«Дорогие Дора Марковна и Марк,

большое спасибо за дружеские письма и за теплое приглашение. Мне очень хотелось бы поехать к Вам, но сейчас это невозможно. У моей двоюродной сестры (племянница Самуила Яковлевича, переводчица Орловская. — М. Г.) обнаружилось тяжелое мозговое заболевание. Я не могу сейчас оставить без поддержки мою тетку — сестру отца (Юдифь Яковлевну. — М. Г.), у которой это — единственная дочь…

Беды всегда приходят целой семьей: кроме этого несчастья, у нас еще попал в больницу младший сын Саша. При очередной проверке у него обнаружили открытую язву двенадцатиперстной кишки…

Я очень много работаю: сдал сверку 1-го тома, верстку 2-го, наборную рукопись 3-го, заканчиваю рукопись 4-го тома и

забочусь о других материалах.

Мне не удалось передать Вам, Марк, бланк подписки на 8-томное Собрание сочинений отца, по которому нужно будет получать книги в Москве на Кузнецком мосту. Оставить ли бланк у меня или передать его Мэри (моя жена. — М. Г.)? Посылаю Вам „Лирику“. Желаю Вам всего-всего хорошего…»

ШЕКСПИРОМ ЗАВОРОЖЕННЫЕ… (Маршак и Пастернак)

В судьбах Самуила Маршака и Бориса Пастернака было немало общего. Оба они родились и выросли в интеллигентных семьях. Каждому из них выпало отрочество вундеркиндов. Каждый довольно рано познал на себе прелести «процентной нормы», существовавшей в царской России. О поступлении Маршака в острогожскую гимназию мы уже рассказали. Поступление Бориса Пастернака в московскую Пятую гимназию было не менее драматичным. Евгений Борисович Пастернак — сын поэта — рассказывает в книге «Существованья ткань сквозная»: «Обстоятельства гимназических вступительных экзаменов, точнее, сопровождавшие их впечатления Пастернак воссоздал в конце первой части повести „Детство Люверс“.

Он держал их в Одессе, где семья задержалась, вероятно, потому, что после годичной изнурительно спешной работы, летней поездки в Париж и семейных несчастий Леонид Осипович заболел.

18 августа 1900 года он отправил в Москву прошение:

„Его превосходительству г-ну директору московской 5-й гимназии.

Желая определить сына моего Бориса в 1-й класс вверенной Вам гимназии и представляя при сем удостоверение, выданное г-ном директором одесской 5-й гимназии за № 1076 от 17 августа 1900 г. в том, что сын мой успешно выдержал испытания для поступления в первый класс гимназии, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать распоряжение о зачислении сына моего в число учеников вверенной Вам гимназии.

Преподаватель Л. Пастернак“.

Были приложены необходимые документы, включая свидетельство о привитии оспы.

Предвидя возможные затруднения, Леонид Осипович обратился к помощи директора училища князя Львова, а тот попросил содействия московского городского головы

В. М. Голицына.

„26 августа.

Многоуважаемый Леонид Осипович.

Спешу препроводить Вам в подлиннике ответ директора 5-й гимназии, ответ, к сожалению, неутешительный. Если еще что-либо можно сделать располагайте мною.

Искренне Вам преданный Кн. Владимир Голицын“.

В конверт вложено подробное объяснение.

„25 августа.

Ваше сиятельство, милостивый государь Владимир Михайлович.

К сожалению, ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для г. Пастернака: на 345 учеников у нас уже есть 10 евреев, что составляет 3 %, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея, согласно министерскому распоряжению. Я посоветовал бы г-ну Пастернаку подождать еще год и в мае месяце представить к нам своего сына на экзамен во 2 класс. К будущему августу у нас освободится одна вакансия для евреев, и я от имени педагогического совета могу обещать предоставить ее г-ну Пастернаку.

Искренне благодарю ваше сиятельство за содействие открытию у нас канализации; действует же она не очень исправно.

Прошу принять уверение в глубоком почтении и преданности покорнейшего слуги Вашего Сиятельства А. Адольфа“.

Пришлось следовать доброму совету директора. Предметы первого класса мальчик проходил с домашним учителем, который готовил его с расчетом на повышенные требования. Он регулярно занимался, много и с интересом читал. Ему было свойственно стремление к доскональности, к тому, чтобы все основательно понять и усвоить. Однако понять, почему он занимается дома и должен блестяще выдержать предстоящий экзамен, было невозможно. В этом было что-то обидно неестественное и возмутительно требовательное. Это надо было молча терпеть и преодолевать усилием воли».

Что касается терпения, его Пастернаку хватало не только в этом вопросе. Что касается «преодоления», Борис Леонидович отказался от этого. Быть может, его христианство также явилось следствием этого «преодоления». И снова обратимся к книге «Существованья ткань сквозная». Евгений Борисович однажды рассказал отцу, что слышал от Симы Маркиша «…о намерениях Сталина, прерванных его смертью, выслать всех евреев из Москвы на Дальний Восток». Борис Леонидович изменился в лице, помрачнел и сказал: «Чтобы ты при моей жизни не смел об этом говорить. Ты живой человек! И нам с тобой нет до этого дела». И далее Евгений Борисович пишет: «Это единственный раз, что я завел с ним разговор об антисемитизме. Я знал, что этой темы для него не существует, слишком большое и страшное место она занимала в его детстве и родительском доме, — когда совсем рядом проходили черносотенные погромы, дело Бейлиса, и

„процентная норма“ регулировала его поступление в гимназию и окончание университета. Я понимал, что мечта Миши Гордона „расхлебать“ вконец эту чашу, которую заварили взрослые, была его собственной детской мечтой, не позволявшей ему никогда молча склоняться перед несправедливостью такого разделения. И слишком хорошо зная, как мертвит и ограничивает эта тема и связанные с ней психологические комплексы духовную свободу человека, и какого труда стоило ему преодоление всего этого в себе, папочка стремился навсегда избавить меня от узости подобного взгляда на мир».

В отличие от Пастернака Маршаку до этого всегда было дело. Не только в юности, когда он разделял идеи сионизма — достаточно вспомнить его участие в сборнике «Песни гетто», его стихи, посвященные памяти Михоэлса, активное участие в деятельности Еврейского антифашистского комитета.

И все же ни трудности, связанные с понятием «процентная норма», ни отношение к «еврейскому вопросу» тем более не явились связующим звеном в судьбах Маршака и Пастернака. Их объединил, а позже оказался стеклянной стеной между ними Уильям Шекспир. Споры о нем, словесные баталии шли между этими поэтами десятилетия. Знакомы они были да и дружили еще с середины 1920-х годов. Начало знакомства этих двух разных, близких по возрасту, но не похожих друг на друга поэтов было дружественным, радостным для обоих и уж конечно не предвещало соперничества. Из воспоминаний Евгения Борисовича Пастернака: «В поисках заработка отец обратился к помощи поэта Николая Чуковского, и тот заручился обещанием Самуила Яковлевича Маршака напечатать детские стихи, если отец их напишет. Папа описал наши совместные с ним прогулки за город и в зоопарк, и получилось два больших стихотворения. К сожалению, не сохранился отзыв на них Корнея Чуковского, который помогал их публикации». А письмо Пастернака Николаю Корнеевичу Чуковскому сохранилось: «Милый Николай Корнеевич! У меня к Вам просьба. Окажите мне протекцию в Кубуч (Комиссия по улучшению быта ученых. — М. Г.) с „Каруселью“, если, на Ваш взгляд, она не слишком плоха и подходит для детей… Кажется, дрянь. Не стесняйтесь ругать» (весна 1925 года).

Любопытна запись из дневника Корнея Ивановича Чуковского: «Видал Мейерхольда. Рассказывает, что поэт Пастернак очень бедствует…»

Вот отрывок из стихотворения Пастернака «Зверинец»:

Как добродушные соседи,

С детьми беседуют медведи,
И плиты гулкие глушат
Босые пятки медвежат.

Бегом по изразцовым сходням
Спускаются в одном исподнем
Медведи белые втроем
В один семейный водоем.
Они ревут, плещась и моясь.
Штанов в воде не держит пояс,
Но в стирке никакой отвар
Неймет косматых шаровар…

А вот стихотворение Маршака «Белые медведи», написанное (и опубликованное) задолго до пастернаковского «Зверинца»:

Для нас, медведей-северян,
Устроен в клетке океан.

Он неглубок и очень мал,
Зато в нем нет подводных скал.

Вода прохладна и свежа.
Ее меняют сторожа.

Мы с братом плаваем вдвоем
И говорим о том о сем.

Мы от стены плывем к стене,
То на боку, то на спине.

Держись правее, дорогой!
Не задевай меня ногой!

А жалко, брат, что сторожа
К нам не хотят пускать моржа.

Хоть с ним я лично незнаком,
Но рад подраться с земляком!

Стоит ли рассуждать о том, что опасения Пастернака («… если… она не слишком плоха» — это по поводу «Карусели») не лишены были оснований. Впрочем, спустя много лет, в середине

1950-х годов, и уже не по этому поводу, А. А. Ахматова сказала: «…Писатель, поэт не способен спокойно относиться к своим вещам и к их судьбе. Вот сейчас Борис Леонидович страшно огорчен, что Корнею Ивановичу и Самуилу Яковлевичу не понравился его перевод. А что тут огорчительного? Одним нравится одно, другим — другое…»

В одном из писем к Маршаку (Самуил Яковлевич работал тогда в редакции «Нового Робинзона») Пастернак написал: «Научите, как избежать шаблона, и укажите традицию». Маршак через много лет в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской, вспоминая об этом письме Пастернака, заметил: «Это была очень хорошая формула. Вопрос ставился очень точно».

Из письма Пастернака Николаю Тихонову от 7 июня 1925 года: «Долгов у меня столько, что я скоро стану державой. Вы, конечно, догадываетесь, что я говорю о вещах для Маршака и Чуковского». И еще из того же письма: «У нас снята дача под Москвой, приехать все не удается, — холода и безденежье…» Маршак же в ту пору работал в Ленинграде в педагогическом институте, был редактором «Нового Робинзона». Стихи же «Зверинец» были напечатаны лишь в 1929 году.

Еще раз заметим: в пору написания «Карусели» и «Зверинца» отношения Пастернака и Маршака были дружескими. В письме Евгении Пастернак от 12 августа 1926 года Борис Леонидович пишет: «Ты, может быть, догадалась по надписям Маршака, что он был тут. Я давно не встречал такого интересного, настолько ярко и самостоятельно думающего обо всем человека, как он. Я очень рад этому новому знакомству. К сожалению, когда он у меня был, у меня немилосердно болел зуб. Собственно, в ту ночь флюс у меня разыгрался. Но временами я забывал про зубы, так интересна и дельно интересна была его речь. В противность обыкновению, больше помалкивал я (вот еще одно общее свойство Пастернака и Маршака — беседы с Маршаком всегда превращались в его монолог. — М. Г.), а разливался собеседник. И это вовсе не от зубов…

Он говорит, очень меня любит и все мое. Мне было жаль, что ты его не слушала, ты бы со мной согласилась в оценке его, и он не меньше тебе доставил бы наслаждения, чем мне…

Ухватясь за его симпатию, попросил подобрать книжки для Женечки…»

Еще из воспоминаний Евгения Борисовича Пастернака (1926 год): «Очень порадовало отца знакомство с Самуилом Яковлевичем Маршаком, который в прошлом году заказывал ему детские стихи… Папа восхищен „Мышонком“ Маршака и читал мне его вслух. Теперь мне была послана новая книжка

„Мороженое“».

25 мая 1926 года Самуил Яковлевич Маршак писал из Кисловодска Софье Михайловне: «Очень я подружился с Пастернаком. Какой он милый человек, и мы очень друг друга любим».

Из письма Бориса Пастернака Евгении Пастернак от 3 июля 1928 года: «Женечке сегодня положили пломбочку. Я его страшно люблю. За пломбочку получил „Петрушку“ Маршака…»

Как видим, в ту пору «шекспировская» тема еще не коснулась взаимоотношений Маршака и Пастернака, хотя к Шекспиру порознь они пришли давно. Оба они познакомились с творчеством Шекспира, еще будучи гимназистами, но по-настоящему очарование Шекспиром пришло позже. В 1922 году Пастернак уже четко определил «своего» Шекспира, по сути, создал его поэтический портрет:

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
А впрочем… А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота.
Сонет,

Написанный ночью с огнем, без помарок,
За тем вон столом, где подкисший ранет
Ныряет,
Обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю

Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте.
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы — в трактире
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»
Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу —
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

Это из четвертой книги стихов Пастернака «Темы и варьяции», выпушенной издательством «Геликон» в Берлине в 1923 году. Еще до публикации, в рукописном варианте, Пастернак предпослал этому стихотворению эпиграф из Пушкина: «Ты царь, живи один…» Разве это не говорит о том, кем для молодого Пастернака был Шекспир?

К тому времени Маршак уже основательно изучил творчество Шекспира в Лондонском университете, изучил язык Шекспира, его эпоху. Допускаю, что Маршак подумывал о переводе «Гамлета». Впрочем, кто из актеров не мечтал сыграть эту роль, кто из переводчиков Шекспира не мечтал о переводе «Гамлета»?! Маршак еще до того, как приступил к «Сонетам» Шекспира, прикоснулся к «Гамлету» — он перевел «Песни Офелии» — «Как в толпе его найдем…» и «В день святого Валентина»:

Как в толпе его найдем —

Твоего дружка?
Шляпа странная на нем,
А в руке клюка.

Он угас и умер, леди,
Он могилой взят.
В головах — бугор зеленый,
Камень возле пят.

Бел твой саван, друг мой милый.
Сколько белых роз
В эту раннюю могилу
Ливень слез унес.

* * *

В день святого Валентина,
В первом свете дня
Ты своею Валентиной
Назови меня.

Тихо ввел он на рассвете
Девушку в свой дом —
Ту, что девушкой вовеки
Не была потом.

Сравним с переводом «Песни Офелии», выполненным Пастернаком:

С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям
И у окна согласье дам
Быть Валентиной вам.
Он встал, оделся, отпер дверь,
И из его хором
Вернулась девушка в свой дом
Не девушкой потом.

Итак, шекспировские баталии между Маршаком и Пастернаком из области сонетов перешли в сферу трагедий. Маршак перевел стихотворные реплики Шута и другие

фрагменты из трагедии Шекспира «Король Лир». «Для того чтобы перевести его (Шута. — М. Г.) стихотворные реплики, нужно сначала раскрыть, расшифровать подчас загадочный смысл подлинника, а потом вновь замаскировать его, облечь в уклончивую, игривую форму прибаутки.

Пословицы и поговорки трудно поддаются переводу. Они своеобразны и сопротивляются пересадке на чужую почву. Буквальный перевод — слово за слово — может их убить».

Маршак перевел двенадцать песенок, реплик Шута. Вот одна из них:

Когда откажется священник
Кривить душою из-за денег

И перестанет пивовар
Водою разбавлять товар,

Когда наскучит кавалерам
Учиться у портных манерам,

Когда еретиков монах
Сжигать не станет на кострах.

Когда судья грешить не будет
И без причины не осудит,

Когда умолкнет клевета.
Замок повесив на уста,

Когда блудница храм построит,
А ростовщик сундук откроет, —

Тогда-то будет Альбион
До основанья потрясен,

Тогда ходить мы будем с вами
Вверх головами, вниз ногами!

Этот «небуквальный» перевод, по словам Маршака, появился в поисках «того варианта, который был бы наиболее выразителен и более всего соответствовал бы требованиям театра, я переводил каждую из песенок Шута по три, по четыре раза…».

Пастернак, переводя трагедии Шекспира конечно же тоже думал о постановке в театре, и это наложило отпечаток на его

переводы. И та же песня Шута в переводе Пастернака не просто непохожа, но совсем иная — не только потому, что у Маршака «Священник, кривящий душой из-за денег…», а у Пастернака «Поп, которого заставили пахать»; у Маршака «будет Альбион до основанья потрясен», у Пастернака (что ближе к шекспировскому тексту) — «Альбион лишь пошатнется». Вероятно, подход к переводу трагедий Шекспира у обоих поэтов был такой же разный, как при переводе «Сонетов».

Когда попов пахать заставят,
Трактирщик пива не разбавит,
Портной концов не утаит,
Сожгут не ведьм, а волокит,
В судах наступит правосудье,
Долгов не будут делать люди,
Забудет клеветник обман
И не полезет вор в карман,
Закладчик бросит деньги в яму,
Развратник станет строить храмы, —
Тогда придет конец времен,
И пошатнется Альбион,
И сделается общей модой
Ходить ногами в эти годы.

Лишь однажды Маршак использовал имя Шекспира, его образ в целях конъюнктурно-политических.

Давно известно, как влияют дары власть предержащих на честолюбие людей искусства. Немногим удается этому не поддаться. Пример тому — большое стихотворение Маршака «Гость», опубликованное в журнале «Крокодил» в 1938 году. Самуил Яковлевич решил сделать из любимого поэта героя, борца не только против Гитлера, но и против своих соотечественников, вступивших в сговор с Гитлером. Вот фрагменты этого стихотворения:

В палату общин, в сумрачный Вестминстер,
Под новый год заходит человек
С высоким лбом, с волнистой шевелюрой,
С клочком волос на бритом подбородке,
В широком кружевном воротнике.
Свободное он занимает место.
Его соседи смотрят удивленно
На строгого таинственного гостя
И говорят вполголоса друг другу:

— Кто он такой? Его я видел где-то,
Но где, когда, — ей-богу, не припомню!
Мне кажется, немного он похож
На старого писателя Шекспира,
Которого в студенческие годы
Мы нехотя зубрили наизусть!

Но вот встает знакомый незнакомец
И глухо говорит: — Почтенный спикер,
Из Стратфорда явился я сюда,
Из старого собора, где под камнем
Я пролежал три сотни с чем-то лет,
Сквозь трещины плиты моей могильной,
Сквозь землю доходили до меня
Недобрые загадочные вести…
Пришло в упадок наше королевство.
Я слышал, что почтенный Чемберлен
И Галифакс, не менее почтенный,
Покинув жен и замки родовые,
Скитаются по городам Европы,
То в Мюнхен держат путь, то в Годесберг,
Чтобы задобрить щедрыми дарами —
Как, бишь, его? — Мне трудно это имя
Припомнить сразу: Дудлер, Тутлер, Титлер…
Смиренно ниц склонившись перед ним —
Властителем страны, откуда к небу
Несутся вопли вдов и плач сирот, —
Британские вельможи вопрошают:
«На всю ли Польшу вы идете, сударь,
Иль на какую-либо из окраин?»

* * *

Я человек отсталый. Сотни лет
Я пролежал под насыпью могильной
И многого не понимаю ныне.
С кем Англия в союзе? Кто ей друг?
Она в союз вступить готова с чертом
И прежнего союзника предать,
Забыв слова, которые лорд Пемброк
В моей старинной драме говорит
Другому лорду — графу Салисбюри:

«Еще раз в бой! Одушевляй французов,
Коль их побьют, и нам несдобровать!..»

Он речь свою прервал на полуслове
И вдруг исчез неведомо куда,
Едва на старом медном циферблате
Минутная и часовая стрелки
Соединились на числе двенадцать, —
И наступил тридцать девятый год.

Разумеется, стихи эти порождены обыкновенным социальным заказом. Еще раз напомним: какое время за окном — такие и люди. Примерно в тот же период, когда было написано стихотворение «Гость», Маршак сочиняет политическую эпиграмму:

Как странно изменяются понятия!
С каким акцентом лондонским звучит
Латинское названье «плебисцит»
И греческое слово «демократия»!

Еще раз вернусь к личным воспоминаниям о встрече с Маршаком весной 1963 года. Зная, что я работал в ту пору учителем в Белгороде-Днестровском, Самуил Яковлевич поинтересовался, что читают дети в «пушкинском» Аккермане. Спросил, читаю ли я Шекспира. И вместо конкретного ответа на вопрос (куда девалась моя растерянность?!) я «залпом» продекламировал два сонета (1-й и 66-й), но 66-й прочел в переводе Пастернака.

— Борис Леонидович прекрасный переводчик. Но сонеты Шекспира — это поэма о его жизни и эпохе, — сказал Самуил Яковлевич. Поэт писал их почти в течение десяти лет и прежде, чем решился отдать их читателям, «выдержал» еще целое десятилетие. Но опубликовал все вместе, а не избирательно. Леонид Борисович перевел всего лишь несколько сонетов Шекспира. Едва ли по ним можно судить о великой поэме Шекспира, которая называется «Сонеты». И, задумавшись, продолжил: — Это в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В поэзии от перемены мест «слагаемых» результат может получиться совсем иной или даже никакой.

Мне показалось, что настроение Самуила Яковлевича изменилось. В его голосе уловил какую-то ревнивую интонацию и понял, что допустил бестактность, прочитав 66-й сонет не в его

переводе. Много лет спустя я вспомнил этот случай, прочитав в воспоминаниях И. Л. Андроникова о том, как Маршак декламировал ему свои стихи:

«— Какие строчки больше тебе нравятся, первые или последние?

Если вы называли первые, он, вспыхнув, говорил:

— Почему первые?

Никогда нельзя было сказать, какие лучше или хуже, потому что он обижался за те строчки, которые вы обошли. Да, это было удивительно. Он обижался на эти замечания как-то мгновенно, но вообще жаждал поощрения и критики».

Продолжу рассказ о моей беседе с Самуилом Яковлевичем.

— В переводе Бориса Леонидовича вас, наверное, очаровала первая строка: «Измучась всем, я умереть хочу», — сказал он. — Не менее красиво звучит она в переводе замечательного русского поэта Бенедиктова: «Я жизнью утомлен, и смерть — моя мечта».

Самуил Яковлевич не раз говорил: «Переводя, смотрите не только в текст подлинника, но и в окно…» Но дело в том, что вид за окном меняется не только в зависимости от времени года и погоды — каждый смотрящий воспринимает его по-своему. И в этой связи особенно интересно сопоставление двух переводов 66-го сонета Шекспира — Пастернака и Маршака. (Еще раз хочу напомнить читателю, что английского я не знаю, и подстрочные переводы отдельных стихов выполнял с помощью словаря и консультантов.) Так, одна из ключевых строк сонета — «И у искусства завязан язык властью» — в переводах этих двух выдающихся поэтов-современников звучит совершенно по-разному: «И вспоминать, что мысли заткнут рот» (Пастернак); «И вдохновения зажатый рот» (Маршак). Оба переводчика выразили при этом одну и ту же мысль: вдохновение, мысль (а значит и свобода) — в плену, узурпированы. Но имя узурпатора (в сущности — палача) не назвал ни один из них; «время за окном» (перевод Пастернака относится к 1938 году, Маршака — к 1947-му) не позволило ни тому ни другому не только произнести шекспировское «завязан язык властью», но даже сказать, как это сделал в середине XIX века Бенедиктов: «Искусство сметено со сцены помелом…» У Самуила Яковлевича создалось впечатление, что в переводе 66-го сонета Пастернака меня пленила первая строка. Но это не так. Строка «Измучась всем, я умереть хочу» после внимательного ознакомления с подстрочным переводом — «Устав от всего этого, я плачу (молю, кричу) о спокойной смерти» — кажется мне прекрасной, но не совсем точной… Поэтому в переводе Пастернака не она «очаровала» меня, а последние строки (хотя и здесь у него не нашел отражения очень, по-моему,

важный момент — «спасаясь, умер бы»):

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу будет трудно без меня.

Подстрочный перевод этих строк: «Устав от этого всего, ушел бы я, спасаясь, умер бы, но любовь мою оставлю одинокой». У Маршака они переведены так:

Все мерзостно, что вижу я вокруг…
Но как тебя покинуть, милый друг!

В заметках о Шекспире Маршак написал: «В разные времена бывали люди, которые пытались поколебать авторитет Шекспира, посмотреть, уж не голый ли это король. Как известно, Вольтер и другие французские писатели XVIII века считали его гениальным, но лишенным хорошего вкуса и знания правил. А величайший писатель девятнадцатого и начала двадцатого века, оказавший огромное влияние на умы своих современников и последующих поколений во всем мире, Лев Толстой — особенно в последние годы жизни — попросту не верил Шекспиру, считал его драматические коллизии неправдоподобными, а речи героев неестественными, вычурными и ходульными». Прервем в этом месте рассуждения Маршака о Шекспире его надписью, сделанной на книге переводов из Шекспира, подаренной Людмиле Ильиничне Толстой:

«Правда неразлучна с красотой», —
Скажешь, эту книжечку листая.
Не любил Шекспира Л. Толстой,
Но, быть может, любит Л. Толстая!

И вновь слово Маршаку: «Жизнь — диалектична, и каждый знаменитый писатель должен быть готов к тому, что последующие поколения посмотрят на него со своей точки зрения, что в одну эпоху он будет на ущербе, в другую его не будет видно совсем, а в третью он засияет полным своим блеском.

Так было и с Шекспиром. Чего только о нем не говорили, чего только не писали!..

В ту пору, когда автором произведений Шекспира называли то Бэкона, то графа Редклиффа, то графа Дэрби, то Марло (и даже королеву Елизавету!), виднейший русский писатель Максим

Горький говорил:

— У народа опять хотят отнять его гения».

Маршак поистине поклонялся Шекспиру, гордился тем, что его творчество так любят в России. Выступая на конференции в Стратфорде-на-Эйвоне, он сказал: «В этот прекрасный старинный город — столь дорогой для сердец всех почитателей Шекспира — я приехал не как шекспировед, а как поэт, один из тех, кто посильно потрудился, чтобы Шекспира узнали и полюбили во всех уголках обширной России…

Я счастлив и горд тем, что могу сообщить вам о непрерывном и быстром росте популярности Шекспира в моей стране от поколения к поколению…

Когда я переводил его сонеты, такие прекрасные и мудрые, я не раз задавал себе вопрос: почему эти стихи (так же как и многие отрывки из пьес) действуют на меня сильнее, чем самые мудрые и глубокие строчки всех других поэтов давних времен — поэтов, так же как Шекспир, говоривших о жизни, смерти, любви, вечности? Шекспир, подобно им, видел светлые и темные стороны жизни, постоянство и непостоянство человеческих характеров. Но его конечный вывод всегда оптимистичен — в подлинном смысле этого слова. Ромео и Джульетта могут погибнуть, и все же они торжествуют над холодной старостью с ее холодными старыми предрассудками…

То, что сближает людей, лежит не на поверхности душ, которая у всех человеческих существ разная. Поверхностное скорее разделяет, нежели объединяет людей. Сближают нас наши более сокровенные мысли и чувства. Тончайший, показанный Шекспиром пример этого — борьба между глубокой любовью, объединившей Ромео и Джульетту, и мелкими предрассудками Монтекки и Капулетти, которые силились их разъединить…»

Не напрасны были усилия, затраченные Маршаком на переводы Шекспира! Быть может, строка перевода из 66-го сонета «Все мерзостно… вокруг», написанная, а скорее, вырвавшаяся у Самуила Яковлевича в 1947 году, — одна из самых искренних и смелых в его творчестве. И в ней поэт отнюдь не «завоевывал» Шекспира, а более всего выразил себя в той сверхшекспировской эпохе, в которую ему выпало жить. И строка эта как бы явилась продолжением (несомненно, продуманным!) заключительного двустишия другого, 65-го сонета:

Надежды нет. Но светлый облик милый Спасут, быть может, черные чернила.

У Шекспира (подстрочно) так: «Однако в черных чернилах моя любовь может ярко засиять». Мне кажется, что С. Я. Маршак дает именно такой перевод этих строк в большей мере для того,

чтобы позволить себе в переводе 66-го сонета сказать: «Все мерзостно… вокруг».

И все же последние строки 66-го сонета в переводе Б. Л. Пастернака («Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня») чем-то ближе моей душе.

Поэт В. Г. Бенедиктов, переводя 66-й сонет Шекспира в середине XIX века, наверное, меньше, чем С. Маршак и Б. Пастернак, «смотрел в окно»:

Хотел бы умереть, но друга моего Мне в этом мире жаль оставить одного.

В первой строке его перевода есть слова «Я жизнью утомлен, и смерть моя мечта…», но «утомлен» — это далеко не «измучась всем». Да и переводы свои из Шекспира В. Бенедиктов назвал «Подражание сонетам Шекспира». Подражание — не перевод!

Соотношение переводов и оригинальных стихов в творчестве одного и того же поэта — тема чрезвычайно сложная. «Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком… — писал К. И. Чуковский. — В маршаковских переводах не чувствуется ничего переводческого. В них такая добротность фактуры, такая богатая звукопись, такая легкая свободная дикция, какая свойственна лишь подлинным оригинальным стихам». Разумеется, эти слова Чуковского можно отнести не ко всем переводам Маршака — бывали и у него, что вполне объяснимо, «дети от брака по расчету», — но у Самуила Яковлевича много переводов, несомненно заслуживающих самой высокой оценки. Прав был Твардовский, написав о поэзии Маршака: «Маршаку очень было по душе свидетельство одного мемуариста о том, как П. И. Чайковский отчитал молодого композитора, пожаловавшегося ему на судьбу, что вот, мол, приходится часто работать по заказу, для заработка.

„Вздор, молодой человек. Отлично можно и должно работать по заказу, для заработка, например, я так и люблю работать. Все дело в том, чтобы работать честно“. С уверенностью можно сказать: переводы Маршака с английского от фольклора до Бёрнса ничего общего с „детьми от брака по расчету“ не имеют».

На одном из вечеров, посвященных памяти Маршака, устраиваемых ежегодно Иммануэлем Самойловичем 3 ноября, Борис Ефимович Галанов, прочитав со свойственным ему артистизмом и грассированием 55-й сонет Шекспира в переводе Маршака, поведал: «Однажды… Самуил Яковлевич сказал: „Этот перевод я, кажется, отважился бы прочесть самому Пушкину“». Вот этот сонет:

Замшелый мрамор царственных могил

Исчезнет раньше этих веских слов,
В котором я твой образ сохранил.
К ним не пристанут пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

Ни смерть не увлечет тебя на дно,
Ни темного забвения вражда.
Тебе с потомством дальним суждено,
Мир износив, увидеть день Суда.

Итак, до пробуждения живи
В стихах, в сердцах, исполненных любви!

И снова вернусь к моей встрече с Маршаком.

Самуил Яковлевич прочел первую строфу 66-го сонета на английском языке.

— Вы знаете английский?

— Нет.

— Жаль, но разговор о переводе 66-го сонета теряет смысл.

Много лет спустя, в послесловии к книге сонетов Шекспира в переводах С. Я. Маршака я прочел: «Знание языка поэтом заключается, прежде всего, в отчетливом представлении о тех ассоциациях, которые вызываются словом. Мы говорим не о случайных ассоциациях, но об ассоциациях, так сказать, обязательных, всегда сопровождающих слово, как его спутники. Вот, например, буквальный перевод первого стиха сонета 33: „Я видел много славных утр“. Но этот буквальный перевод является неточным, поскольку на английском языке эпитет „славный“ (glorious) в отношении к погоде обязательно ассоциируется с голубым небом, а главное, с солнечным светом. Мы вправе сказать, что эти ассоциации составляют поэтическое содержание данного слова. Перевод Маршака: „Я наблюдал, как солнечный восход“ — обладает в данном случае большей поэтической точностью, чем „буквальная“ копия оригинала». Один из лучших наших исследователей творчества Шекспира — А. Аникст — в своих примечаниях к изданию «Сонетов» Шекспира в переводах Маршака отметил, что в России до Маршака сонеты переводились не однажды. В частности, их переводили М. И. Чайковский, В. Брюсов, С. Ильин, Н. Холодковский, Т. Щепкина-Куперник. Но

«судьбу шекспировской лирики для русских читателей определил лишь перевод „Сонетов“, выполненный в 1940-е годы С. Я. Маршаком. Он открыл для нас поэзию шекспировских „Сонетов“. Его перевод не является педантически точным, но поэт сумел прежде всего добиться цельности впечатления, производимого каждым стихотворением. Он постиг секрет внутреннего единства, пружину мысли, обуславливающую внутреннюю динамику сонета».

В этой связи приходит на память один из последних инцидентов поединка за Шекспира между Маршаком и Пастернаком. В 1954 году режиссер Козинцев поставил в Ленинградском государственном театре имени А. С. Пушкина «Гамлета» в переводе Пастернака.«…Чем же хочется закончить трагедию? — писал Козинцев Пастернаку. — Мне очень хотелось бы закончить ее мыслью, которая так часто повторяется в сонетах: сила благородного человеческого устремления, сила стихов, не желающих мириться с подлостью и унижением века, — переживет гербы вельмож и троны царей.

Вот эту гордость поэзии, вечную тему „нерукотворного памятника“ мне очень хотелось бы довести до зрителя.

Возможность такого решения пришла мне в голову, когда я чисто случайно стал вспоминать, где еще у Шекспира я встречал образ смерти „тупого конвойного“. И тут я вспомнил 74-й сонет.

Получается примерно так. На словах Гамлета:

Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — тупой конвойный и не любит.
Чтоб медлили, — я сколько бы сказал… —

заканчивается трагедия.

Вот и хочу обратиться к Вам с просьбой, если бы только нашлось у Вас желание и время, — перевести для нас 74-й сонет (и если возможно, строем, наиболее приближенным к строю монологов Гамлета).

Если же Вы не сочтете возможным сделать это, то в этом случае (хотя это, конечно, и будет очень печально для нас) буду просить Вас разрешить использовать в спектакле перевод этого сонета С. Маршака, разумеется, оговорив это в программе. Но очень хотелось бы иметь Ваш перевод».

Ответ Бориса Пастернака последовал незамедлительно:

«Дорогой Григорий Михайлович!

…Конечно, придется перевести его мне, и конечно, придется читать его в моем переводе, даже в том случае, если он вне

всякого спора будет неудачней перевода Маршака, потому что такого кооперирования разносменных текстов я никак не мыслю. Только при безоговорочности этого условия решалось без мысли о соперничестве (для него потребовались бы большая сосредоточенность и время) записать Вам вчерне, как я или как бы я, застигнутый за совсем другими работами, это сделал. (Глыбы камня, могильного креста и последних двух строчек перевода С. Я.: черепки разбитого ковша и вина души в подлиннике нет и в помине.) Перевод мой — набросок. Он должен вылежаться, даже если он удачен, а в ближайшие дни я заниматься им не буду».

Но успокойся в дни, когда в острог
Навек я смертью буду взят под стражу,
Одна живая память этих строк
Еще переживет мою пропажу.
Ты вновь разыщешь, их перечитав.
Что было лучшего моей частицей.
Вернется в землю мой земной состав,
Мой дух к тебе, как прежде, обратится
И ты поймешь, что только прах исчез,
Нисколько не достойный сожаленья,
То, что отнять бы мог головорез,
Случайности добыча, жертва тленья.
А ценно было только то одно,
Что и теперь тебе посвящено.

Однако неожиданно для Бориса Леонидовича Григорий Козинцев закончил спектакль 74-м сонетом, но в переводе Маршака. Пастернак на Козинцева обиделся и отказался присутствовать на премьере спектакля. А 16 апреля 1954 года в письме к двоюродной сестре О. М. Фрейденберг написал: «Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака. Зачем это?»

Между тем, за семь с лишним лет до этого письма Пастернак писал о Маршаке совсем по-другому:

«Вот еще другая параллель. Я раньше не знал „Английских баллад и песен“ Маршака и заглянул в них, потому что там есть рифмованные реплики Лировского шута, — для осведомления. Я был потрясен блеском, совершенством и поэтичностью почти всех стихов этого собрания. И мне стало стыдно, что я столько лет прожил в полном неведении об этой удаче, закрываясь от нее для собственного спокойствия и ничего не сказав Самуилу Яковлевичу, не воздав ему должного…

Мне и в голову не пришло соперничать с С. Я. в свободе и

изяществе. Во-первых, я не надеялся выйти победителем из этого состязания; во-вторых, куда бы увели меня эти усилия от подлинника, который, по-моему, гораздо неряшливее и беднее».

И еще одна реплика Анны Андреевны Ахматовой на тему «Пастернак — Маршак», высказанная в беседах с Лидией Корнеевной Чуковской: «Я так счастлива за Бориса Леонидовича: все хвалят, всем нравится, и Борис Леонидович доволен. Перевод действительно превосходен: могучая волна стиха. И, как это ни странно, ничего пастернаковского. Маршак сказал мне, что, по его мнению, „Гамлет“ в пастернаковском переводе слишком школьник, упрощен, но я не согласна с этим. Жаль мне только, что пастернаковский перевод принято хвалить в ущерб переводу Лозинского. А он очень хорош, хотя и совсем другой. Перевод Лозинского лучше читать как книгу, а перевод Пастернака лучше слушать со сцены. В сущности, незачем пренебрегать одним для другого, а надо просто радоваться такому празднику русской культуры.

Я заговорила о непонятных для меня вкусах Бориса Леонидовича в поэзии; я видела письмо его к нашему Коле (Николай Корнеевич Чуковский. — М. Г.), в котором он с бурной похвалой отзывался о стихах Всеволода Рождественского.

— О, это он всегда так. И в этот мой последний приезд в Москву тоже так было. Он привел к Федину Спасского, который хотел послушать мои стихи. И тут же при нем повторял бесконечно: „Сергей Дмитриевич создал нечто грандиозное, я уже целых три дня живу его последними стихами“. И все вздор. Стихи Рождественского — ведь это такое убожество, ни слова своего, и, конечно, Борису Леонидовичу они ни к чему. Он часто хвалит из самой наивной, грошовой политики. Уверяю вас. Ему мерещится, что так для чего-то кому-то надо. А иногда он и сам не понимает, что говорит. Вот ему не понравилось „Путем всея земли“. А он гомерически хвалит, необузданно».

Уильям Шекспир не только в творчестве, но и в жизни Маршака занял особое место. Встретившись с его творениями впервые в ранней молодости, он не расставался с ним до последних дней. В январе 1964 года, когда дни Маршака были сочтены и писать он уже не мог, Самуил Яковлевич надиктовал Елене Ильиной (Л. Я. Прейс) свои мысли о Шекспире: «В наши дни Шекспир кажется понятнее и современнее многих писателей девятнадцатого и даже нынешнего века.

Сейчас во время новой вспышки звериного расизма красноречивее, чем заповедь „Люби ближнего“, звучат слова Шейлока: „Когда нас колют, разве у нас не идет кровь, (когда) нас

щекочут, разве мы не смеемся, когда нас бьют, разве мы не умираем?..“»

Такой подход к образу Шейлока, пожалуй, не встречается ни у кого, даже у самых доброжелательных толкователей этого «венецианского купца». А вот еще из тех же незавершенных заметок: «Мне лично выпали на долю счастье и большая ответственность — перевести на русский язык лирику Шекспира, его сонеты.

Не мне судить о качестве моих переводов, но я могу отметить с удовлетворением, что „Сонеты“ расходятся у нас в тиражах, немыслимых в другое время и в другой стране. Их читают и любят ценители поэзии и самые простые люди в городах и деревнях.

Шекспира часто трактовали как психолога, глубокого знатока человеческой природы. Сонеты помогли многим понять, что он прежде всего поэт и в своих трагедиях…»

В набросках статьи, посвященной юбилею Шекспира, Маршак написал: «Работая над переводом, я вникал в каждую строчку Шекспира — и в ее смысловое значение, и в звучание, и в совпадения с пьесами Шекспира. Мне казалось, что у меня в руках собственноручное завещание Шекспира». И в этих же заметках он высказал очень горькие, но, увы, оказавшиеся пророческими слова: «Мне было бы жаль, если бы некоторым критикам удалось подорвать доверие русских читателей (а их миллионы) к моему Шекспиру…»

Есть у Маршака лирические эпиграммы о Шекспире:

Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром,
Не сразу он из ряда вышел вон.
Века прошли, пока он целым миром
Был в звание Шекспира возведен.

* * *

О том, что жизнь — борьба людей и рока,
От мудрецов древнейших слышал мир.
Но с часовою стрелкою Востока
Минутную соединил Шекспир.

По воспоминаниям В. Я. Лакшина, однажды в разговоре с А. Т. Твардовским Маршак сказал: «Что это? „Шекспир“ набран крупно, а внизу петитом, даже не прочесть: „В переводах

Маршака“. Передайте вашему малограмотному техреду, что испокон века печатается вверху страницы крупно: „Маршак“, а внизу помельче: „Переводы из Шекспира“».

Закончить главу о Пастернаке и Маршаке мне хочется словами Анны Ахматовой, воспроизведенными в записках Лидии Корнеевны Чуковской: «Поразил меня, между прочим, Самуил Яковлевич. Он понимал Пастернака, ставил высоко, но совершенно чуждался его поэзии — очень уж другие, не „твардовские“ стихи, не Бёрнс, не Блейк, не Пушкин, не фольклор… На днях я навещала Маршака в больнице. Он меня укорял — зачем не сказала ему во время его тяжелой болезни о смерти Бориса Леонидовича? „Я взял газету, в которой что-то было завернуто, и вдруг читаю: „член Литфонда Пастернак“. Мерзавцы! Мстительные мерзавцы! Меня как кнутом по лицу“». Думаю, этими словами поединок за Шекспира между Пастернаком и Маршаком завершен.

«ЗАБЫТЬ ЛИ ДРУЖБУ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ?..» (Роберт Бёрнс Самуила Маршака)

Свою книгу «Роберт Бёрнс», изданную в серии «Жизнь замечательных людей», Рита Райт-Ковалева посвятила С. Я. Маршаку, который открыл русскому читателю шотландского поэта. Эти слова, может быть, не надо воспринимать буквально, но они очень близки к истине.

Первые переводы стихов Бёрнса на русском языке появились еще в 1800 году в развлекательном журнале «Утехи любословия» (обращение к «Тени Томсона»). В 1829 году вышла тоненькая книжечка под названием «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Роберту Бёрнсу И. Козлова». Того самого Козлова, который подарил русским людям «Вечерний звон», созданный по мотивам стихотворения Томаса Мура. С его легкой руки стихи Бёрнса начали шествие по России. Двухтомник Бёрнса был в личной библиотеке А. С. Пушкина. В первом томе страницы были разрезаны, что свидетельствует о том, что Александр Сергеевич читал его в оригинале. В 1830 году влюбленный в Байрона юный Михаил Лермонтов обратил внимание на эпиграф: «К Абидосской невесте» — это были строки из Бёрнса. И Лермонтов перевел их:

Если б мы не дети были,
Если б слепо не любили,
Не встречались, не прощались,
Мы с страданием не знались.

В седьмом номере «Отечественных записок» за 1842 год была опубликована статья «Роберт Бёрнс и лорд Байрон».

В 1855 году Н. А. Некрасов писал Ивану Тургеневу: «У меня появилось какое-то болезненное желание хоть немного познакомиться с Бёрнсом… Вероятно, тебе не трудно будет перевести хоть одну или две пьесы прозой… Я, может быть, попробую переложить стихи». Неизвестно, выполнил ли Тургенев просьбу Н. А. Некрасова, но то, что он работал над очерком «Кольцов и Бёрнс», — сомнений не вызывает. Сам Н. А. Некрасов Бёрнса не переводил, он привлек к этому поэта-переводчика М. Л. Михайлова, и в 1856 году в «Современнике» появилось шесть стихотворений в его переводах. Это была первая достойная публикация Бёрнса в России. Вслед за Михайловым Бёрнса переводили В. С. Курочкин, П. И. Вайнберг, Д. Д. Минаев,

Т. Л. Щепкина-Куперник, друг юности Маршака Н. И. Андрусон; «Джон — ячменное зерно» перевел Эдуард Багрицкий. Особо следует выделить переводы Т. Л. Щепкиной-Куперник. В 1932 году в библиотеке «Огонька» вышла книжечка стихов Бёрнса в ее переводе. Вот строфа из «Честной бедности»:

Король решит — и произвесть
Любого может он в вельможи.
Создать же истинную честь
И сам король не в силах все же.

А вот перевод той же строфы, сделанный Маршаком:

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

Не будем даже задумываться над соответствием (в буквальном смысле) этих строк оригиналу. Важно, что они написаны в 1938 году, с тем самым «маршаковским» «взглядом за окно», к тому же перевод этот был сделан вскоре после встречи С. Я. Маршака и К. И. Чуковского с «генералом прокуратуры» Вышинским — они ходатайствовали перед этим сталинским лакеем об освобождении арестованных в Ленинграде писателей.

К переводам из Бёрнса Маршак приступил в середине 1920-х годов, но этой работе предшествовала большая «репетиция». Мы уже рассказывали, что в годы учебы в Лондонском университете Самуил Яковлевич пешком путешествовал по Англии и влюбился в эту страну, в ее народ, в его баллады и песни. Результатом этой любви стали переводы и шотландских баллад, народных песен. Это были подступы Маршака к Бёрнсу. Первая книга переводов Маршака из Бёрнса (небольшая, в ней было всего 95 страниц), прекрасно изданная, вышла в Гослитиздате в 1947 году. На экземпляре этой книги, подаренном Софье Михайловне 2 января 1948 года, в день ее рождения, Самуил Яковлевич сделал такую надпись:

Был Роберт очень небогат,
И часто жил он в долг.
Зато теперь Гослитиздат
Одел поэта в шелк.

Позже был издан двухтомник «Роберт Бёрнс в переводах Маршака». И права Рита Райт, да и другие литераторы, утверждая, что истинного Бёрнса русскому читателю подарил Маршак. Впрочем, точнее всех по этому поводу сказал А. Т. Твардовский«…Эти переводы обладают таким очарованием, свободной поэтической речью, будто бы Бёрнс сам писал по-русски да так и явился без всякого посредничества перед нашим читателем».

В 1959 году Маршак написал стихотворение, посвященное Роберту Бёрнсу:

Поэт и пахарь, с малых лет
Боролся ты с судьбою.
Твоя страна и целый свет
В долгу перед тобою.

Ты жил бы счастливо вполне
На малые проценты
Того, что стоили стране
Твои же монументы.

Ты стал чертовски знаменит,
И сам того не зная.
Твоими песнями звенит
Шотландия родная…

Стихи эти заканчиваются «в духе времени». И это вполне объяснимо. То были недолгие годы хрущевской «оттепели». Маршак, как и многие другие, искренне поверил в то, что сталинская эпоха навсегда канула в прошлое.

Мила и нам, твоим друзьям,
Твоя босая муза.
Она прошла по всем краям
Советского Союза.

Мы вспоминаем о тебе
Под шум веселый пира,
И рядом с нами ты в борьбе
За мир и счастье мира!

Но внимательный читатель поймет, что строки эти не только о Бёрнсе. В статье, написанной к двухсотлетию со дня рождения

шотландского поэта, Маршак скажет: «О мире и братстве между народами говорил он и в торжественных стихах»:

Пусть золотой настанет век,
И рабство в бездну канет,
И человеку человек
Навеки братом станет.

Допускаю: перевод этот из Бёрнса чем-то напоминает «Стихи о гербе», написанные Маршаком в 1947 году: «Не будет недругом расколот/ Союз народов никогда./ Неразделимы серп и молот,/ Земля и колос, и Звезда…» Пусть «Стихи о гербе» написаны по велению времени, они, кажется мне, так же искренни, как процитированные стихи Бёрнса.

И далее в той же статье читаем: «Я счастлив, что на мою долю выпала честь дать моим современникам наиболее полное собрание переводов из Бёрнса. Более двадцати лет посвятил я этому труду…

Много чудесных часов и дней провел я за этой работой, но побывать на родине великого поэта в Шотландии довелось мне только недавно».

А вот рассказ друга Маршака, шотландца Эмриса Хьюза: «Вместе мы побывали в коттедже в Аллоуэй, где Бёрнс родился, и в домике в Дамфризе, где он умер. С каким благоговением и любовью рассматривал там Маршак хранящиеся под стеклом строчки — выцветшие слова на клочках бумаги, некоторые — почти неразличимые, но для него — полные жизни и значения, как письма друга, написанные всего несколько недель тому назад.

Для него они были вовсе не ветхими и пыльными рукописными текстами, а насыщенными красками и движением картинами, и он видел свою жизненную задачу в том, чтобы снова сделать их живыми».

И переводы Маршака из Бёрнса это подтверждают:

Богатство, слава и почет
Волнуют наши страсти.
Но даже тот, кто их найдет,
Найдет в них мало счастья.

Мне дай свободный вечерок
Да крепкие объятья —
И тяжкий груз мирских тревог
Готов к чертям послать я!

Александр Трифонович Твардовский утверждал, что «Маршак исподволь был подготовлен к встрече с поэзией Бёрнса. Он сперва обрел и развил в себе многое из того, что было необходимо для этой встречи и что обеспечило ее столь бесспорный успех, — сперва стал Маршаком, а потом уже переводчиком великого поэта Шотландии…

Он сделал Бёрнса русским, оставив его шотландцем. Во всей книге не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы звучали как „перевод“…

Бёрнс Маршака — свидетельство высокого уровня культуры, мастерства советской поэзии и ее неотъемлемое достояние в одном ряду с ее лучшими оригинальными произведениями. Знатоки утверждают, что ни в одной стране мира великий народный поэт Шотландии не получил до сих пор такой яркой, талантливой интерпретации…»

Маршак был не только переводчиком, но и исследователем творчества Бёрнса. «В былое время о Бёрнсе не раз говорили и писали, как о стихотворце-самоучке. Правда, он, как и наш Горький, не окончил ни одной школы, но за короткую жизнь он добросовестно прошел свои житейские „университеты“, отлично разбирался в политике, имел представление о мировой истории, читал Вергилия и французских поэтов, а в области английской поэзии и родного фольклора был настоящим знатоком.

Природный ум, поэтическая интуиция и широкая начитанность вместе с богатым жизненным опытом — все это позволило ему стать на голову выше своей среды и так далеко заглянуть в будущее, чтобы спустя полтора с лишним столетия иметь право считаться нашим современником». В его статье «Бессмертной памяти» есть и такие строки: «И уже музыкой не вчерашнего, а самого сегодняшнего и даже завтрашнего дня звучат его пророческие слова, призывающие разумные существа на земле к братству и миру»:

Забудут рабство и нужду
Народы и края, брат,
И будут люди жить в ладу.
Как дружная семья, брат.

Этот перевод Маршака несколько далек от подстрочника. Но Маршаку искренне хотелось верить, что сбудется мечта великого шотландца:

Настанет день, и час пробьет.
Когда уму и чести

На всей земле придет черед
Стоять на первом месте!

О переводах поэзии существует много мнений и суждений. Средневековый философ Пьер Бауст сказал: «Перевод есть не более чем гравюра; колорит неподражаем». И еще: «Для того чтобы хорошо переводить с одного языка на другой, недостаточно знать его; нужно еще искусно владеть своим языком». А советский поэт Александр Петрович Межиров в своем стихотворении «На полях перевода» написал так:

И вновь из голубого дыма
Встает поэзия, —
Она
Вовеки непереводима —
Родному языку верна.

У Арсения Тарковского однажды вырвалось:

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах восточные переводы.
Как болит от вас голова!

Маршак же, в отличие от вышеупомянутых поэтов, считал, что «поэт, покинув старый дом, / Заговорит на языке другом,/ В другие дни, в другом краю планеты». В подтверждение этой мысли процитирую строки из стихотворения Тамары Григорьевны Габбе, написанного под влиянием переводов Маршака:

А ты — ты эхо чьих-то голосов,
Покорное магической привычке,
И нет твоих — незаменимых — слов
В бессмертном гуле вечной переклички.

К двухсотлетию со дня рождения Бёрнса Маршак написал:

Подумать только: двести лет!
Увы, над нами всеми,
Когда уж нас на свете нет,
Подтрунивает время.

Но не подвластен ты ему.
К двухсотой годовщине
Ты не ушел в ночную тьму,
А светишь и доныне.

Больше всего Маршака привлекали в Бёрнсе свободолюбие, свободомыслие, чистая совесть и горячее сердце. Закончить главу о Бёрнсе и Маршаке хочу стихами, в равной мере принадлежащими им обоим, стихами, созвучными нашему времени:

Да здравствует право читать.
Да здравствует право писать.
Правдивой страницы
Лишь тот и боится,
Кто вынужден правду скрывать.

«ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ…»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В тот же день Самуил Яковлевич Маршак написал стихотворение «В поход». В одном из его вариантов были такие строки:

Недруг лихой, вероломный
Встал у советских ворот.
Тучей угрюмой и темной
К нашему солнцу плывет…

Все на борьбу с врагами,
В грозный и дальний поход!
По небу ходит кругами
Сторож страны — самолет…

К этому стихотворению Маршак впоследствии возвращался не раз, даже в начале 1950-х годов, а впервые оно было опубликовано 24 июня 1941 года в «Правде» под названием «В первый день войны». Вот окончательный вариант этого стихотворения:

Вместе весна и лето
Нынче гостят в Москве.
Сколько рассеяно света
В тучах и в синеве.

Мирно Москва проснулась
В этот июньский день.
Только что развернулась
В скверах ее сирень…

Разом, в одно мгновенье,
Все изменилось кругом.
Юноша в майке весенней
Смотрит суровым бойцом.

Девушка стала сестрою,
Крест — на ее рукаве…
Сколько безвестных героев
Ходит сейчас по Москве…

Все на борьбу с врагами,
В грозный и дальний поход!
По небу ходит кругами
Сторож страны — самолет.

Маршак, как и многие другие писатели и поэты, решил пойти в ополчение, но в военкомате ему отказали: «Вас не призвали на службу еще в 1914 году, когда вы приехали из-за границы. У вас есть более мощное оружие — ваши стихи». Почему работники военкомата были так хорошо осведомлены — не очень понятно, но факт остается фактом. Вернувшись домой с призывного пункта, Самуил Яковлевич принялся звонить и не просил, а требовал отправить его на фронт.

В годы Великой Отечественной войны Маршак на фронт выезжал не однажды. Сохранился такой документ: «Поэт С. Я. Маршак находился в 7-й Стрелковой дивизии Действующей армии с 20 сентября по 24 сентября 1941 г.

После проведения политработы в частях и подразделениях тов. Маршак возвращается в город Москву.

Нач. политотдела 7 СД батальона комиссар Н. Охапкин.

Секретарь политотдела Жданов».

О поездке Маршака на фронт в июле 1942 года сохранились записи генерала Иванова: «По просьбе Самуила Яковлевича мы собрали солдат, выполняющих на передовой обязанности письмоносцев. С. Я. Маршак внимательно и подробно расспрашивал их, как доставляются письма, просил вспомнить различные боевые эпизоды, рассказать о чувствах бойцов, получающих вести от родных и любимых».

Об одной из поездок Маршака на фронт рассказали участники войны П. Лукин и Н. Охапкин: «В 7-й Бауманской дивизии в период ее боевых действий в районе Дорогобужа (в двадцатых числах сентября 1941 года) побывал Самуил Яковлевич Маршак…

Это было перед суровыми испытаниями. Менее чем через десять дней началось октябрьское наступление Гитлера на Москву с прорывом на Вязьму — Можайск. 2 октября дивизия была отрезана и окружена и вскоре потеряла в ожесточенных боях весь свой личный состав.

Приезд посторонних людей в расположение действующей боевой части был тогда категорически запрещен — это сплошная нелегальщина. Но многие товарищи в Москве рвались к нам. В дивизию Маршак был приглашен комиссаром (только что был введен институт комиссаров), который ненадолго уезжал в

Москву…»

Говорят, что за такую самодеятельность комиссару сделал выговор сам А. С. Щербаков — начальник политуправления Красной армии, сказав: «Маршаком рисковать нельзя».

Маршак очень настойчиво просил направить его под Ельню, где шли в то время жестокие бои.

«Я вас очень прошу, товарищ Лукин, предоставить мне такую возможность. Буду во всем вам подчиняться.

В Дорогобуже была тогда относительно мирная территория. А под Ельней был очень горячий участок — то мы немцев тесним, то они нас. Немцы там закопали в землю танки, превратили их в доты.

Мы гордились приездом Маршака. И комиссар сказал:

— А вдруг побывает там Маршак да напишет стихотворение?»

И действительно, вскоре Маршак написал стихотворение «Братья-герои»:

Под венком еловым
Спят в одной могиле славные герои
Аронсон с Орловым.

Схоронили их не на кладбище —
На поляне голой,
У большой деревни Озерище,
Возле сельской школы.

Их обоих, русского с евреем,
Схоронили рядом,
И огонь открыла батарея
По фашистским гадам!

Мы клянемся с каждым днем сильнее
Пулей и снарядом
Бить врагов, как била батарея
По фашистским гадам!

6 октября 1941 года это стихотворение было напечатано в «Правде» под другим названием — «Памяти героев». Название его менялось не однажды. В одном из сборников стихотворений Маршака оно называлось «Под Ельней», в другом — «Боевое прощание». Но 6 октября в «Правде» было напечатано стихотворение, лишь отдаленно напоминающее «Братьев-героев»:

Свежий холмик перед низким домом.

Ветви на могиле.
Командира вместе с военкомом
Утром хоронили.

Хоронили их не на кладбище —
Перед школой деревенской,
На краю деревни Озерище,
В стороне Смоленской.

Самолет, над ними рея,
Замер на минуту.
И вступила в дело батарея
Залпами салюта.

Свет блеснул в холодной мгле осенней,
Призывая к бою.
Двое павших повели в сраженье
Цепи за собою.

И гремели залпы, как раскаты
Яростного грома:
— Вот расплата с вами за комбата!
— Вот за военкома!

Рассуждать сегодня, почему Маршак переписал стихотворение, бессмысленно. Вероятно, уступил требованиям цензоров «Правды». Впрочем, сам Маршак однажды заметил: «Политика нас не берет силой, мы все погружены в нее, хотим мы того или нет».

Снова вернемся к воспоминаниям П. Лукина и Н. Охапкина: «У Самуила Яковлевича был с собой яркий фонарик. Он то и дело его зажигал и что-то записывал. Продвинулись еще. Тут уж мы сами не стеснялись пригибаться и он тоже. Разведчик то и дело командовал:

— Ложись!

Самуил Яковлевич сразу ложился, только не по-военному, бочком. Ну мы от него не требовали, чтобы он это выполнял, как положено, — считали, пусть делает, как ему удобнее.

Мимо нас перебегали санитары с носилками, много вокруг было трупов — наших и немецких.

Маршак все старался приподняться, оглядеться вокруг. Сопровождавший нас товарищ из разведотдела сказал категорически:

— Дальше, товарищ комиссар, ни вам, ни ему двигаться нельзя…

В следующие дни (Маршак пробыл у нас в дивизии с 21 по 24 сентября) начальник политотдела возил Самуила Яковлевича по подразделениям. Маршак выступал перед бойцами с чтением стихов.

Противник бомбил населенный пункт, где мы находились. А Маршак читал в это время в сарае бойцам»:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее…

В годы войны Маршак работал со свойственными ему трудолюбием и истовостью. Из воспоминаний Маргариты Осиповны Алигер: «В дни войны, особенно в самую трудную ее пору, я, как коллекционер, искала и собирала „приметы победы“. Это были частные случаи, факты, эпизоды, положения, почти невероятные и почти немыслимые, если учесть обстоятельства и международную обстановку, в которой они свершались. И тем не менее они свершались, и мы бывали свидетелями и почти соучастниками этих чудесных свершений.

„Двенадцать месяцев“ были безоговорочно причислены мною к этой коллекции.

Это была чудесная, редкая „примета победы“: в 1942 году в Москве, жившей еще на осадном положении, когда немцы, после зимнего затишья, снова начав наступление, пошли к Сталинграду и дошли до него, художник, кровно связанный с современностью, поэт, с первого дня войны великолепно работающий в трудном жанре политической сатиры, находит в своей душе неиссякаемый и неустанно бьющий источник творческих сил, фантазии и выдумки. Этот источник не заглушали ни ежедневная утомляющая газетная работа, ни тяготы жизни и быта, ни тревоги дней отступления. Поэт влюбляется в чудесный сказочный сюжет и увлеченно и горячо, бесконечно радуясь неожиданным находкам и выдумкам, создает пленительную сказку-пьесу, которая вселяет в душу легкость и веселье, заставляет снова и снова, как в детстве, поверить в то, что добро всегда побеждает, что чудеса обязательно случаются в жизни, что только захоти, только будь хорошим, чистым, честным, и зацветут для тебя подснежники в январе, и будешь ты счастлив. Разве самый этот факт не есть самое убедительное доказательство, самая явная примета того, что победа близка?»

Еще одним признаком приближения победы многие тогда считали открытие второго фронта. Осенью 1942 года Маршак

написал стихи, посвященные четырехсотпятидесятилетию открытия Америки:

…Пускай, охваченный истерикой,
Пытается наш общий враг
Закрыть пути к тебе, Америка,
И Новый Свет вернуть во мрак, —

Ускорь грядущие события,
Сомкни бойцов отважных строй
И сделай новое открытие:
В Европе что-нибудь открой…

Однако ни тогда, осенью 1942 года, ни позже эти стихи опубликованы не были. Впервые они были напечатаны в серии «Библиотека поэта» в 1973 году, спустя тридцать с лишним лет. Почему — цензорам виднее.

В годы войны Маршак вернулся к стихотворным фельетонам. Вот отрывок одного из них:

Фашисту снился страшный сон.
Проснулся он, рыдая.
Во сне он видел, будто он —
Еврей берлинский Мейерсон,
По имени Исайя.

Весь день фашист дрожал, как лист.
Настала ночь вторая.
Опять он видел тот же сон:
Ему приснилось, будто он —
Еврей берлинский Мейерсон,
По имени Исайя.

На третью ночь ему невмочь.
Он разбудил жену и дочь,
От страха умирая,
Он им сказал, что он — не он,
Что он — не он, а Мейерсон,
По имени Исайя…

А в это время телефон
Звонил не умолкая.
Фашист услышал этот звон,
И, трубку взяв, промолвил он:

«У телефона Мейерсон,
По имени Исайя.

Да, да, Исайя Мейерсон,
Да, Мейерсон Исайя!»
Что было дальше? Грянул гром —
Гроза в начале мая.
От сотрясенья рухнул дом,
И был фашист раздавлен в нем
По имени Исайя.

Этот стихотворный фельетон, напоминающий фельетоны Маршака 1910-х годов, когда он работал корреспондентом, так же как и стихи, посвященные открытию второго фронта, при жизни Маршака опубликован не был. Вряд ли по воле автора.

По соседству с Маршаком жили Кукрыниксы — Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий Никитич Крылов, Николай Александрович Соколов. Я встречался с ними не только в доме Самуила Яковлевича на Чкаловской, но и в их мастерской на улице Горького.

Там я услышал рассказ художника Николая Соколова. Однажды редактор «Правды» заказал Маршаку стихи «срочно в номер», добавив при этом, что он согласен даже на короткое стихотворение. На что Самуил Яковлевич ответил со свойственными ему прямотой и юмором:

— Неужели вы думаете, что маленькие часы можно изготовить проще и быстрее, чем большие.

На этом разговор был закончен.

Из воспоминаний Николая Соколова о Маршаке: «В один из первых дней войны к нам в квартиру, где мы жили с Крыловым, пришел Маршак и, очень волнуясь, стал говорить о том, как хорошо было бы в эти дни объединить стих и рисунок. И на следующий день мы сидели за раздвинутым столом уже не трое, а четверо. Большие листы бумаги, баночки с гуашью, тушью, кистями, фотографии Гитлера, Геббельса, Геринга. Шуршат карандаши, что-то бормочет Маршак. На полу сохнет только что сделанный плакат „Окно ТАСС“, на стене висят отпечатанные плакаты рядом с мирными этюдами К. Коровина, В. Поленова, И. Левитана и хозяина комнаты — П. Крылова. С разных сторон стола сидим мы трое и Маршак. Все трудятся. Один рисует шарж на Гитлера. Двое бьются над черновиками для карикатуры в „Правду“. Рисунок и стихи должны быть сегодня сданы в редакцию.

Самуил Яковлевич смотрит рисунок. Ему нравится, но боится, не пропали бы тонкость и острота линий при выполнении тушью. Мы взаимно волнуемся — он за рисунок, мы за стихи. В карикатурах Маршаку нравятся обыгрывания бытовых мелочей. Мы замечаем: чем короче стихи, тем сильнее, злее они получаются. Их труднее писать.

Днем фашист сказал крестьянам:
— Шапку с головы долой!

Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой…

…Однажды, когда Кукры уехали на несколько дней в Казань, чтобы отвезти вещи эвакуированным семьям, мне вечером во время воздушной тревоги пришлось дежурить на крыше. Маршак, узнав, что товарищи уехали, а я должен дежурить, ни за что не хотел пускать меня. Стучал палкой, кричал на милиционера, на управдома, и никакие уговоры на него не действовали. А когда увидел, что я вошел в лифт, решил пойти со мной.

— Раз он едет, я тоже поеду с ним дежурить на крышу!

С большим трудом удалось уговорить Маршака остаться».

После войны Соколов и Маршак оказались в одном санатории. «Как-то, сидя в коридоре этого санатория, я довольно долго наблюдал лечащегося Маршака, — вспоминал Соколов. — Коридор был длинный, и по обе стороны его много дверей уходили в перспективу. И вот я видел, как через каждые 10–15 минут из какой-нибудь двери появлялся Маршак и, стуча палкой, медленно проходил в другую, потом из этой в соседнюю, из соседней — напротив. За одной из таких дверей его трясли несколько минут в каком-то седле. Побывав за всеми дверями, он с измученным видом подошел ко мне и сказал умирающим голосом:

— Коленька, для того чтобы лечиться, нужно обладать железным здоровьем…

В том санатории напротив комнаты Маршака помещалась дежурная медсестра — симпатичная и миловидная. Некоторые отдыхающие чаще, чем нужно, заглядывали к ней. Маршак решил подшутить над ними и на табличке с надписью „МЕДСЕСТРА“, висевшей на двери, над буквой „Е“ поставил две точки, после чего это слово читалось как „МЁДсестра“».

Однако вернемся к годам Великой Отечественной. Маршак, как в свое время Маяковский, стал поэтом-агитатором. Вот «Восемь его строк про электроток»:

1

Электролампочки-воровки,
Растратчицы-электроплитки
Крадут патроны у винтовки.
Крадут снаряды у зенитки.

2

Берегите электричество,
Чтобы каждый киловатт
Увеличивал количество
Пушек, танков и гранат!

Только в «Правде» было опубликовано 150 его «Окон ТАСС».

В начале войны Маршак отправил Софью Михайловну и сына Яшу в эвакуацию. С ним в Москве остались его старший сын Иммануэль и вечная его секретарша Розалия Ивановна, рижская немка. Приглашенная в семью задолго до войны, еще в Ленинграде, воспитывать Якова, она оставалась в семье, когда мальчик повзрослел, и помогала уже не только по хозяйству, но и в работе. Оставить немку в Москве в годы войны с Германией было не просто, вернее, невозможно. Но Маршаку это удалось. Юмор не покидал его даже в самые трудные дни. Когда по радио объявлялась воздушная тревога, он говорил Розалии Ивановне: «Снова ваши прилетели…» Самуил Яковлевич и Розалия Ивановна так привыкли друг к другу, что подобные высказывания не влияли на их отношения.

Осенью 1941 года, когда немцы подошли к Москве, писателям и актерам было приказано эвакуироваться.

Из воспоминаний Маргариты Алигер: «Целый вагон был отдан писателям, большинство из них ехало к семьям, которые в самом начале войны были эвакуированы в Татарию, в город Чистополь на Каме. Это был жесткий вагон, даже некупированный, — жестких купированных тогда еще не существовало. В нашем вагоне ехали Пастернак и Ахматова, Виктор Борисович Шкловский, Константин Федин, Лев Квитко и Давид Бергельсон с женой и еще многие, всех и не упомнить… Мы покидали Москву бог знает на сколько времени; одна из нас была уже больше месяца вдовой; другая — больше месяца не знала о своем муже ничего, кроме того, что его армия попала в

окружение; третья — накануне отъезда проводила мужа на фронт, — с чего бы тут, кажется, веселиться?! И тем не менее у нас было весело — возвращаю вас к строкам Толстого…: „В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднимались на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди, от мала до велика, были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских“».

В Казани Самуила Яковлевича встретили Софья Михайловна и Яков. Оказавшийся вместе с ним в Казани писатель Эмиль Львович Миндлин вспоминал: «У него был очень растерянный вид, не похожий, совсем не похожий на привычного московского Маршака. Первый раз в жизни я видел его небритого. Маршак наваливался всей тяжестью своего грузного тела на легкую палку и, казалось, никогда еще так не нуждался в ее поддержке…

…Маршак вдруг на ходу стал застегивать на себе пальто на все пуговицы. Котиковая шапка криво сидела на его голове. Он словно только сейчас это почувствовал и поправил ее.

Он уже не наваливался на палку. Снова был привычный, знакомый, московский Маршак.

„…Вы знаете, милый, они за все рассчитаются, солдаты. Вы знаете, голубчик, мы победим… Это ничего, что мы с вами сейчас в Казани, а не в Москве… Знаете, что мне помогает в эти трудные дни? Я вам скажу. Еще никогда так не звучали тургеневские строки. Когда мы уезжали из Москвы… Ах как мы из нее уезжали!.. Я все время читал стихи… Про себя… И вдруг вспомнил. Вы помните? — Он остановился и стал читать, как бы впервые открытые, по-новому увиденные слова: — ‘Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!’“

Я вздрогнул. Я присутствовал при новом рождении хрестоматийно знакомых слов. Это была как бы впервые услышанная молитва хранителя русской речи…

„А ведь настоящий русский язык — московский. Помните Пушкина? Учиться русскому языку — у московских просвирен… Давайте отойдем в сторону. На тротуаре мешают… Я прочту вам стихи. Очень хочется в эти дни читать стихи… Я много пишу. Надо писать, милый, надо. Вот станемте здесь“. Он увлек меня в сумеречный подъезд, прислонился к стене, и я услыхал стихи. Не

его, не Маршака. Пушкина».

При первой возможности Маршак вернулся в Москву и стал денно и нощно трудиться на политическом поприще — «Окна ТАСС», стихи для газет, лозунги («Готовь подарки каждый дом,/ Бойцов своих одень,/ Дохни на фронт своим теплом/ В холодный зимний день»). Кроме плакатов-агиток он писал и стихи. Вот одно из них, написанное в 1942 году:

Бежали женщины и дети
И прятались в лесу глухом…
Но их настигли на рассвете
Солдаты Гитлера верхом.

Белоголовому ребенку
Кричала мать: «Сынок! Беги!»
А убегающим вдогонку
Стреляли под ноги враги.

Но вот отбой — конец облаве,
И в кучу собранный народ
Погнали немцы к переправе —
Шагать велели прямо вброд.

На лошадях, встревожив заводь,
Спокойно двинулся конвой,
А пеших, не умевших плавать,
Вода накрыла с головой.

И стон стоял над той рекою.
Что бесконечные века
В непотревоженном покое
Текла, темна и глубока.

В годы войны Маршак часто выступает как публицист. В восьмом номере журнала «Октябрь» за 1942 год была напечатана его пронзительная статья «Жизнь побеждает смерть»: «Я видел страшную фотографию, которую я, вероятно, не смогу забыть никогда. Тяжело привалившись к стене, сидит мертвый ребенок — мальчик лет двенадцати. Немцы rie пожалели на него пуль. Лицо его обезображено, глаза выбиты. В руках он сжимает комок окровавленных перьев — это все, что осталось от его любимого голубя…»

Таких «фотографий» в этой статье немало, и детей обездоленных, чьи судьбы война беспощадно перемолола,

становилось с каждым днем все больше. Маршак узнал о школьной учительнице, усыновившей несколько таких ребят. «Бесконечны жизненные силы нашего народа, а жизнь всегда побеждает смерть!» — завершает статью Маршак.

Самуил Яковлевич продолжает общаться с детьми. Он получает письма со всех концов страны, и не одно не остается без его ответа и внимания. Неудивительно, что дети буквально ревновали его ко взрослым. Один из его корреспондентов спросил, почему последние книги Самуила Яковлевича издаются не для детей, а для взрослых. Вот ответ Самуила Яковлевича: «Я по-прежнему верен детям, для которых всю жизнь писал сказки, песни, смешные книжки. По-прежнему я очень много думаю о них».

Даже тексты к плакатам «Окна ТАСС» Маршак посвящал детям:

Еще недавно дым змеился над трубой,
Пекла хозяйка хлеб и бегали ребята…

За этот детский труп в траве перед избой
Любая казнь — дешевая расплата!

Только вера в победу позволила Маршаку, наряду со стихами и агитками, работать над пьесой «Двенадцать месяцев». 18 июня 1943 года он пишет Софье Михайловне и сыну Якову, переехавшим в Алма-Ату: «Пьесу сегодня (в 1 час дня) читаю труппе МХАТ. До сих пор читал только руководству театра и монтировочной его части, от которой в постановке этой волшебной сказки многое зависит. Чтение труппе задержалось из-за смены режиссера. <…> Только два дня тому назад режиссером моей пьесы был назначен Станицын, ставивший „Пиквика“ и „Пушкина“. Он очень занят пока другой постановкой. Был у меня позавчера вместе с худ<ож-ником> Вильямсом, которому поручены декорации и костюмы. Жалко, что до моего отъезда он будет очень занят и не удастся как следует поговорить о постановке, к которой они приступают с 15 июля. Очень важно сговориться вначале, до репетиций. Музыку будет писать Шостакович.

Интересно, как встретит пьесу труппа».

Актеры восторженно приняли пьесу Маршака.

«…Загруженный ежедневной спешной работой в газете, над листовкой и плакатом, я с трудом находил редкие часы для того, чтобы картину за картиной, действие за действием сочинять сказку для театра», — рассказывал он. 19 февраля 1943 года он

пишет жене и сыну Якову: «Скоро надеюсь увидеться с вами. Предполагаю выехать 17-го. 14-го — 15-го буду читать пьесу труппе… Работаю по-прежнему много. Пьеса в черне готова, — кажется, удалась, но, должно быть, потребуются еще переделки, исправления, дополнения». О работе над этой пьесой Маршак написал немало и в письмах, и в заметках. В основе ее, как известно, западнославянское сказание о братьях-месяцах, встречающихся у костра в ночь под Новый год.«…Мне хотелось, чтобы сказка рассказала о том, что только простодушным и честным людям открывается природа, ибо постичь ее тайны может только тот, кто соприкасается с трудом». О работе над этой пьесой Маршак рассказал С. В. Рассадину в письме от 27 июня 1963 года: «Я долго думал над финалом. Нельзя же было оставлять падчерицу в царстве месяцев и выдать ее замуж за Апреля-месяца. Я решил вернуть ее домой — из сказки в реальную жизнь… Я всячески заботился о том, чтобы в характере каждого месяца была какая-то реальная основа. Они говорят друг с другом о своих делах так, как могли бы говорить люди, ответственные за крупные хозяйства („У тебя крепко лед стал?“ — „Не мешает еще подморозить…“)».

Работу над пьесой Маршак завершил в 1943 году, но впервые она была поставлена лишь в 1947 году в Московском театре юного зрителя, а годом позже — во МХАТе. Судьба этой пьесы складывалась непросто. Еще в годы войны она каким-то образом получила известность во всем мире. Может быть, потому, что была непохожа ни на богемскую легенду о двенадцати месяцах, ни на сказку чешской писательницы Немцовой по этой легенде. Когда она дошла до Соединенных Штатов, сам Уолт Дисней решил сделать кинематографический вариант этой пьесы. Он обратился к Маршаку за разрешением, но письмо Диснея до Маршака дошло с большим опозданием — шла война! — почти на год. Дисней уже занялся другой работой, и фильм по пьесе Маршака так и не был снят. Самуил Яковлевич связался с Большаковым — руководителем советского кинематографа в надежде спасти проект. Большаков пригласил его, но сам в назначенное время не пришел. Прождав два часа в приемной, раздосадованный Маршак повесил на двери Большакова записку:

У Вас, товарищ Большаков,
Не так уж много Маршаков.

Записку Большаков, разумеется, прочел, но, увы, это ничего не изменило…

Из писем Маршака к родным, близким, друзьям мы узнаем,

как он жил в годы войны. 23 января 1943 года он пишет старшему сыну Иммануэлю:

«Дорогой мой Эленок,

пишу тебе всего несколько слов — тороплюсь. Елена Васильевна обещала сейчас заехать ко мне за посылкой и письмом для тебя…

Посылаю тебе стихи. Не помню, что из них я уже посылал тебе. Но сонетов Китса и Мильтона ты, вероятно, еще не знаешь — так же, как и народных детских песенок. Напиши или скажи по телефону, что тебе больше всего понравится. Посылаю и стихи, которые были в „Комсомольской правде“…

С мамой говорил на днях по телефону. Она и Яша здоровы. У Яши пульс еще учащен (это следствие перенесенной болезни). Его оставили в институте до 1 июня, а там видно будет. Пиши им почаще…

Встречаешь ли ты Абрама Федоровича (академик Иоффе. — М. Г.), Шальникова, Олега Николаевича (писатель Писаржевский. — М. Г.)? Не переутомляешься ли ты на работе? Работа идет плодотворнее, когда даешь себе отдых…

Очень радуют успехи на фронте. Как замечательно, что прорвана блокада Ленинграда. Я послал поздравление генералу Говорову и получил от него очень сердечный ответ. Он превосходный человек, очень любит стихи, музыку.

Целые дни я провожу на работе. Может быть, через некоторое время лягу опять недели на две в Кремлевку или поеду на несколько дней в одну из пригородных санаторий. Маме об этом не пиши — будет беспокоиться. Я просто переутомлен».

21 декабря Маршак был на похоронах Юрия Тынянова. Похороны своей «таинственностью» напоминали похороны Пушкина — ни одного оповещения в газетах, ни слова по радио. Однако у могилы Тынянова на Ваганьковском кладбище собралось довольно много литераторов Москвы. Маршак сказал тогда Каверину: «Как жаль, что я мало общался с Юрием… Какой ученый, какой пушкинист!..»

В годы войны Маршак написал несколько стихов, посвященных Ленину, и ни в одном из них не упоминается имя Сталина, но вождь этого не заметил. Вот одно из них:

Под гранитным сводом Мавзолея
Он лежит. Безмолвен, недвижим.
А над миром, как заря алея,
Плещет знамя, поднятое им.

То оно огромное без меры,

То углом простого кумача
Обнимает шею пионера,
Маленького внука Ильича.

В августе 1941 года был образован Еврейский антифашистский комитет (ЕАК). Маршак был избран в состав руководства комитета. Речь, с которой он выступил на первом митинге еврейской общественности, была опубликована в книге «Братья евреи», изданной в том же году.

ЕАК был нужен для получения финансовой поддержки от мирового еврейства для Красной армии и создания за рубежом идиллических представлений о жизни евреев в СССР. В декабре 1941 года председателем комитета был избран Соломон Михоэлс. После гибели Соломона Михайловича, вернее после его убийства в январе 1948 года, ЕАК был ликвидирован. Маршак откликнулся на эту трагедию стихотворением «Памяти Михоэлса». Мы приведем отрывок одного из вариантов этого стихотворения:

Здесь на подмостках люди умирали
И выходили к зрителям опять.
А он лежит недвижно в этом зале,
И на призыв друзей ему не встать.

Надгробные здесь раздаются речи,
А он для нас по-прежнему живой, —
Передовой боец широкоплечий
С открытым взглядом, с гордой головой.

И всем казалось: не умолк твой голос,
Огонь в глазах глубоких не погас…
И мы благодарим тебя, Михоэлс,
За то, что жил ты с нами и для нас!

Догадывался ли Маршак, стоя у гроба Михоэлса, что ждет его в ближайшее время? Пройдет несколько лет после расправы с Михоэлсом, и в марте 1952 года вершители судеб начнут следствие по делам всех лиц, имена которых фигурировали в ходе допросов по делу ЕАК. Список этот включал двести тринадцать человек. Что грозило Маршаку, представить себе нетрудно.

14 ноября 1947 года, то есть меньше чем за два месяца до его убийства, Соломон Михайлович Михоэлс, выступая на юбилейном вечере Маршака, сказал: «Самуила Яковлевича называют здесь

детским писателем, поэтом, драматургом, переводчиком. Я думаю, у него есть еще более общее качество и более высокое. О царе Соломоне (да простит мне Самуил Яковлевич это сравнение), которого называли мудрецом, несмотря на то, что он был царем, говорят, что он был знатоком семидесяти языков. Он знал все языки мира. Кроме того, он знал язык птиц, язык зверей, язык животных. Нет, Маршак не переводчик, — Маршак знаток языков. Мало того, что он знает свой русский язык, знает английский язык, французский язык, блестяще владеет ими, — он еще знает язык детей, знает язык советских детей и умеет разговаривать с врагами нашей Родины, умеет остро оттачивать слово, как стрелу. Именно таким воином, бойцом в слове, в искусстве он оказался во время войны».

Самуил Яковлевич очень тосковал по семье. 20 марта 1942 года он пишет Корнею Ивановичу и Лидии Корнеевне Чуковским: «Я живу здесь один, без семьи и Розалии Ивановны. За мною, как за пушкинским мельником русалка, присматривает соседская домработница. Много работаю, устаю, беспокоюсь о своих, которые находятся так далеко от меня, но киснуть и распускаться себе не позволяю». Маршак действительно много работал — писал стихи, фельетоны, лозунги. А еще он написал сценарий для кинофильма «Юный Фриц», режиссером которого согласился стать Г. М. Козинцев. В июне 1942 года он пишет жене в Алма-Ату: «Скажите Козинцеву, что у меня есть отличная сцена „Фриц в Голландии“ (он гонит со сцены симфонический оркестр и заменяет его своей „джаз-бандой“, которая исполняет очень смешные номера). Для звукового кино — это находка. Послать я могу с первой оказией, чтобы скорее дошло. Пусть телеграфируют об этом мне. Я уверен, что, если картина из-за этого выйдет чуть-чуть позже, она окрепнет и выиграет. Есть крошечные добавления в речах профессора, кот<орые> я тоже мог бы экстренно выслать (в них Фриц обрисовывается как крепостник, колонизатор — очень нужный с идеологич<еской> точки зрения материал)».

И еще о фильме «Юный Фриц»: «Вчера мы смотрели у Большакова картину. Она интересна, даже красива, но чересчур легка, развлекательна и совсем не соответствует нынешней обстановке. Я это предвидел и был прав, когда (начиная с февраля) настаивал на изменениях и дополнениях. Дважды звонил по этому поводу в Алма-Ату (в ЦК Казахстана) тов. Михайлов, который тоже считал, что нужно внести исправления, чтобы линия у картины была правильной. Эти исправления были посланы наконец с Траубергом, который зашел ко мне только в конце своего пребывания в Москве, а потом задержался в дороге

чуть ли не на месяц, а второй раз с Большаковым. Все это оказалось напрасно. Теперь ясно, что картину пускать на экран нельзя, если не сделать очень существенных изменений (переделать чуть ли не половину). Вопрос ставится так: переделать или отклонить совсем. Я готов помочь, чем могу, если пойдут на переделки. Сатира, памфлет превратились в юмор, в развлечение. Очень легкомысленная музыка. Нет законченности в сценах. А главное, все должно быть серьезнее и острее.

Скажи об этом Козинцеву. Он написал мне сердечное письмо, пишет мне, что я любимый его автор и он очень хотел бы еще поработать со мной…»

Замечания и пожелания Маршака по созданию фильма, видимо, учтены не были. Фильм на экранах не появился. Примерно в то же время, то есть летом 1942 года, Маршак пишет Евгению Шварцу: «Дорогой Женечка, крепко тебя целую, помню и люблю. Прости, что мало пишу тебе, — ты и представить не можешь, в какой сутолоке я живу. Мне сказала Эшман, что ты скоро будешь здесь, — и <я> очень обрадовался. Нам давно пора увидеться…

Я работаю с утра до ночи, а часто и ночью. Постарел, поседел, но держусь…»

В эти трагические времена главной заботой Маршака оставались дети. Вот отрывок из письма Маршака Н. А. Михайлову — в то время работавшему первым секретарем ЦК ВЛКСМ: «Дорогой Николай Александрович!.. Война сделала тысячи детей сиротами. Многих из них берут на воспитание советские патриоты. Организованы несколько специальных детских домов. Но всего этого, конечно, мало. Дело воспитания детей-сирот Отечественной войны должно быть развернуто шире. Тов. Халтурин выдвигает интересную мысль о создании колонии типа Макаренковских — с минимальной затратой государственных средств. В этих колониях обучение и воспитание должно сочетаться с производственным трудом».

О многом говорит письмо Маршака, адресованное Софье Михайловне и Яше в феврале 1943 года: «Моя милая, дорогая Софьюшка, мой хороший мальчик Яшенька…

Спасибо тебе и за твое хорошее, милое письмо, моя Софьюшка. Оно чудесно написано — даже со стороны стиля, хоть ты, очевидно, мало думала о стиле, когда писала второпях. А сердечная теплота его очень меня согрела. Вот наш сынок Яков — тот скуповат на письма, а ведь на письма близким людям, так же как и на чувства, мысли, скупым не следует быть…

Был я несколько дней на фронте. Эти дни очень меня освежили и дали много содержания. Какой чудесный народ! У

меня был разговор с полковыми почтальонами, так как я собираюсь (если хватит эпизодов) написать вторую книжку о почте — на этот раз о военной. Я говорил с людьми, которые разносят письма под огнем вражеской артиллерии и говорят об этом очень просто и скромно, не скрывая, что подчас бывает очень страшно.

Я спрашиваю:

— Страшно вам?

А один из почтальонов, веселый и находчивый курский парень, отвечает прибауткой:

— Страшно красть идти!

Но потом признается, что ползти от траншеи до траншеи тоже страшно, только по-другому. Очень мне понравилась письмоносица Аня Каторжнова, девушка из Сибири, которой удалось однажды доставить письмо одному бойцу Ивану Ивановичу, фамилия которого не была указана на конверте.

Встречали меня бойцы очень хорошо, ласково, сердечно. Жаль, что мало пробыл в армии, хоть очень переутомился, почти не спал, несмотря на то, что генерал, у которого я находился (генерал-майор П. Ф. Иванов. — М. Г.), всячески заботился о моем уюте.

Дела на фронтах очень меня радуют, как и вас, конечно. Эта зима надолго останется в памяти…»

Вот еще одно письмо, тем же адресатам, написанное вскоре после процитированного: «Пишу вам всего несколько слов — еду сейчас на два дня в воинскую часть. Я здоров. В последнее время очень много работы — за два дня написал четыре стихотворения для „Ленинградской правды“ и для фронтовых газет. Надеюсь, что за эти два дня немного отдохну…

Пьеса как будто у меня выходит. По крайней мере, сейчас так кажется.

Вчера получил от одного неизвестного мне командира письмо такого содержания:

„Пятилетний Левушка просыпается ночью и спрашивает мать:

— Мам, Маршак жив?

— Жив.

— Какое счастье, что он спасся!“

Вот какие у меня нежные читатели.

Целую вас крепко».

Зима 1943 года стала переломным моментом в войне — Красная армия освободила Сталинград. В феврале 1943 года в «Правде» были опубликованы стихи Маршака «В плен», а 23 февраля — в День Красной армии, в газете «Литература и искусство» появился блистательный фельетон Маршака «К югу от

озера». Поводом для его написания явилось стихотворное письмо немецкого ефрейтора Шрёдера, опубликованное в одной из берлинских газет (что не сделаешь для поднятия боевого духа?!). В нем Шрёдер рассказывал о том, как мужественно дерутся с русскими зимой и летом, днем и ночью немецкие солдаты. Не знаю, вдохновила ли «Песня ефрейтора Шрёдера» пятнадцатилетних мальчиков Берлина перед отправкой на фронт, но вот то, что фельетон Маршака поднял боевой дух советских воинов, сомнений не вызывает.

К югу от озера Ильменя,
В дебрях лесов и болот
Песенку «Я ль тебя, ты ль меня»
Немец продрогший поет.

Немец из «Львиной дивизии»
Голоден, тощ, нездоров.
Нет у фон Буша провизии
Для прокормления «львов».

Плохи ботинки солдатские,
Ноги в снегу до колен.
«Эх, земляки сталинградские,
С вами бы вместе — да в плен!»

Тощие фрицы измаялись,
Много загублено душ.
Кличет фельдмаршал фон Паулюс
В плен генерала фон Буш!

Слышат разбойники жадные
Вести про Волгу и Дон —
Вести для них безотрадные:
Гонят грабителей вон.

К югу от озера Ильменя,
В дебрях лесов и болот
Песенку «В плен меня, в тыл меня»
Немец продрогший поет.

Маршак всегда был верным другом, и многие люди обращались к нему за помощью и поддержкой. Нарушив хронологию изложения, приведем несколько строк из дневника Корнея Ивановича Чуковского (запись от 23 ноября 1954 года):

«Умер А. Я. Вышинский (тот Андрей Януарьевич Вышинский, генеральный прокурор СССР, под эгидой которого осуществлялись знаменитые сталинские процессы второй половины 1930-х годов. — М. Г.), у коего я некогда был с Маршаком, хлопоча о Шуре Любарской и Тамаре Габбе. Он внял нашим мольбам и сделал даже больше, чем мы просили, так что М. (Маршак. — М. Г.) обнял его и положил ему голову на плечо, и мы оба заплакали».

26 февраля 1945 года к Маршаку обратился писатель Степан Павлович Злобин: «Как ни странно, пишу не с того света. Это я — живой Степан Злобин. Три с половиной года пробыл в гитлеровском плену и жив, и нахожусь в Красной армии». Злобин просил Маршака узнать что-нибудь о его семье, так как на все запросы он ответа не получил. И еще написал: «Прошу Вас помочь мне войти в советскую жизнь, в жизнь советского писателя, как человеку, не запятнавшему этого звания». Вот ответ Маршака:

«Дорогой Степан Павлович!

Получил Ваше письмо. Со всей живостью представляю себе сложность Вашего духовного состояния. Надеюсь, что возвращение в круг советских людей будет для Вас целительным.

Пока пишу Вам очень коротко. Я узнал, что Ваша жена и сын живы и находятся в Москве. Как только я получу о них подробные сведения, я сообщу Вам. Попытаюсь узнать и о Ваших книгах, поговорить о Вас в Союзе писателей.

Желаю вам сил, бодрости, здоровья, желаю — не то что забыть обо всем перенесенном, — а преодолеть всю горечь этих страшных лет неволи. Надеюсь скоро написать Вам опять. Шлю Вам свой сердечный привет».

В том, что Самуил Яковлевич помог Степану Злобину — талантливому русскому писателю, автору известного исторического романа «Салават Юлаев», — сомнений нет. Степан Павлович был восстановлен в Союзе писателей, в 1951 году написал роман «Степан Разин», за который в 1952 году был удостоен Сталинской премии. О своих мытарствах, о мужестве военнопленных в годы войны он рассказал в книге «Пропавшие без вести» уже в 1962 году.

Авторитет Маршака в стране был необычайно велик. Напомню, что первую Сталинскую премию, названную позже «Государственной», он получил в годы войны — в 1942 году. Книги его стихов издавались и переиздавались даже в годы войны. «Английские баллады и песни», опубликованные в 1941 году в «Советском писателе», вышли в Госиздате в 1944 году, «Сказки, песни и загадки», вышедшие в ленинградском Гослитиздате в 1944 году, были переизданы Детгизом в Москве в

1945 году. Мало чьи книги издавались в годы войны так же часто, как книги Маршака.

9 мая 1945 года Маршак написал стихотворение «Победа», опубликовано оно было на первой полосе газеты «Правда» 10 мая 1945 года:

И вот Победа. Столько дней —
В промозглой сырости похода,
В горячих мастерских завода,
В боях — мы думали о ней!

В ней все, что дорого и свято, —
Судьба народа, честь страны,
В ней участь сына, память брата,
Любовь невесты и жены.

Под орудийные раскаты
Москва ликует в этот час, —
Как будто затемненье снято
С открытых лиц, счастливых глаз.

«ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ»

Когда наступает мир, да еще после такой жестокой войны, как Великая Отечественная, к нему еще надо привыкнуть. Война изменяет у людей не только отношение к жизни, но и порождает совсем новое восприятие ее. Именно с этим связано появление в творчестве Маршака стихов-раздумий — стихов о времени, ассоциирующемся с понятием «вечность».

Не знает вечность ни родства, ни племени,
Чужда ей боль рождений и смертей.
А у меньшой сестры ее — у времени —
Бесчисленное множество детей.

Бегущая минута незаметная
Рождает миру подвиг или стих.
Глядишь — и вечность, старая, бездетная,
Усыновит племянников своих.

Первоначально этому стихотворению «О времени» Маршак предпослал эпиграф из Блейка: «Вечность влюблена в произведения времени». Но позже почему-то его убрал.

Иной из нас скорбит о быстротечности,
О краткости отпущенных нам лет.
Но время смертное счастливой вечности,
Оно летит и оставляет след.

Вот еще одно стихотворение, написанное, вероятно, в тот же период, что и «О времени»:

И поступь, и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колесики наших часов.

Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.

Секундная стрелка бежит что есть мочи

Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим.

Лирика позднего Маршака совсем не похожа на лирические стихи, созданные им в юности, в молодости. Дело здесь не только в возрасте поэта. Мир, наступивший после Второй мировой войны, дал Маршаку, как и многим другим, надежду на лучшую, счастливую жизнь.

Все цветет по дороге. Весна
Настоящим сменяется летом.
Протянула мне лапу сосна
С красноватым чешуйчатым цветом.

Цвет сосновый, смолою дыша,
Был не слишком приманчив для взгляда.
Но сказал я сосне: «Хороша!»
И была она, кажется, рада.

Однако события первых послевоенных лет не давали повода для покоя: нагнеталась истерия угрозы атомной войны, газеты публиковали отчеты о Нюрнбергском судебном процессе, на что Маршак не замедлил откликнуться.

Была тесна когда-то им Европа, —
Теперь их всех вместил тюремный дом.
Вот Геринга жилье, вот — Риббентропа.
Здесь Франк проводит ночь перед судом.

Фон Розенберг, как волк, по клетке бродит,
И ничего он в будущем не ждет.
Он знает: год сорок шестой приходит
И не вернется сорок первый год.

Злодеям поздравлять друг друга не с чем.
От мира отделяет их засов.
И кажется им тяжким и зловещим
Полночный голос башенных часов.

Вдруг на стене явилась единица.
За ней девятка место заняла.
Четверка не замедлила явиться.

Шестерка рядом на стену легла.

И чудится злодеям, что шестерка
Искусно сплетена из конопли
И, ежели в нее вглядеться зорко,
Имеет вид затянутой петли!

Между тем Маршаку предстояли новые испытания. 7 февраля 1946 года Маршак написал Евгению Шварцу, своему ученику и другу:

«Дорогой мой Женя, ты совсем забыл меня, а у меня времена трудные: очень, очень болен мой младший сын Яков. Живу в постоянной лихорадке и тревоге.

Вот о чем я прошу тебя. Юрий Капралов, очень талантливый молодой поэт (ты помнишь его стихи „Паровоз“, „Петергоф“, премированные на Кировском конкурсе). С тех пор он много работал. Некоторую гениальную, ребяческую наивность он, конечно, потерял, но и в последних его стихах есть свежесть, лиричность, умение мыслить, чувствовать и видеть. Товарищи и сверстники его — Хаустов, Глеб Семенов — приняты в Союз писателей. Он имеет не меньше прав на это. Печатался. Поведения и нрава хорошего. Если будет работать, выйдет в люди… Я пишу о его приеме Прокофьеву, Шкловский — Ахматовой. Поговори о нем и читай от времени до времени его стихи…»

Всего через три дня произойдет страшная трагедия — 10 февраля скончается от туберкулеза Яков — ему был всего двадцать один год. Вероятно, родители понимали, что сын обречен, потому что в это время в роддоме находилась Мария Андреевна — жена старшего сына Маршака Иммануэля, и Самуил Яковлевич и Софья Михайловна попросили Иммануэля по возможности повременить с выбором имени для новорожденного. 16 февраля у Самуила Яковлевича и Софьи Михайловны родился внук. Назвали его Яковом.

А своему умершему сыну Маршак посвятил стихи, ставшие реквиемом:

Чистой и ясной свечи не гаси,
Милого юного сына спаси.

Ты подержи над свечою ладонь,
Чтобы не гас его тихий огонь.

Вот он стоит одинок пред тобой

С двадцатилетней своею судьбой.

Ты оживи его бедную грудь,
Дай ему завтра свободно вздохнуть.

* * *

Вся жизнь твоя пошла обратным ходом,
И я бегу по стершимся следам
Туннелями под очень темным сводом
Ко всем тебя возившим поездам.

И, пробежав последнюю дорогу,
Где с двух сторон летят пески степей,
Я неизменно прихожу к порогу
Отныне вечной комнаты твоей.

Здесь ты лежишь в своей одежде новой,
Как в тот печальный вечер именин,
В свою дорогу дальнюю готовый
Прекрасный юноша, мой младший сын.

* * *

Не маленький ребенок умер, плача,
Не зная, чем наполнен этот свет.
А тот, кто за столом решал задачи
И шелестел страницами газет.

Не слишком ли торжественна могила,
С предельным холодом и тишиной
Для этой жизни молодой и милой,
Читавшей книгу за моей стеной?

Вскоре после войны в стране началась новая кампания по поиску «врагов народа» — так называемая борьба с космополитами. Но еще в начале 1947 года, казалось, ничто не предвещало беды.

Во время войны и в первые послевоенные годы творчество

Маршака было отмечено несколькими Сталинскими премиями (1942, 1943, 1949). В ноябре 1947 года 60-летие Самуила Яковлевича было отпраздновано «по высшему разряду» — в Колонном зале Дома союзов, с вручением ему ордена Ленина и выступлением самого А. А. Фадеева — наместника вождя в Союзе писателей.

К юбилею С. Я. Маршака был издан его однотомник в весьма престижной серии «Библиотека избранных произведений советской литературы». Настроение у Самуила Яковлевича, если судить по стихам, было возвышенное. Свидетельство тому — одно из лучших его лирических стихотворений, написанное в том же 1947 году — «Летняя ночь на севере», — это воспоминание о последних предреволюционных годах, о счастливых днях жизни Маршаков в Финляндии.

На неизвестном полустанке,
От побережья невдали,
К нам в поезд финские цыганки
Июньским вечером вошли…

С цыганской свадьбы иль с гулянки
Пришла их вольная семья.
Шуршали юбками цыганки,
Дымили трубками мужья.

Водил смычком по скрипке старой
Цыган поджарый и седой,
И вторила ему гитара
В руках цыганки молодой.

А было это ночью белой,
Когда земля не знает сна.
В одном окне заря алела,
В другом окне плыла луна.

И в этот вечер полнолунья,
В цыганский вечер, забрели
В вагон гадалки и плясуньи
Из древней сказочной земли…

К этим стихам С. Я. Маршак возвращался не однажды. В одном из вариантов они заканчивались такими строфами:

Они, как финки в день воскресный,

Сидели хмурые, пока
Не заиграл старинной песни
Смычок цыгана-старика.

И грянул хор низкоголосый,
Тревожа и лаская нас,
И равнодушные колеса
Цыганам в лад пустились в пляс.

Пройдут годы, и за несколько недель до смерти Маршак снова вспомнит об этих стихах в письме к поэтессе Елене Иосифовне Владимировой: «Буду с интересом ждать ваших воспоминаний (мемуары).

Любовь к цыганской песне пронизывает и стихи, и прозу многих замечательных русских писателей. Это и неудивительно.

В песнях цыган всегда было так много подлинной страсти и непосредственности, даже пленительной дикости.

Я надеюсь, что когда-нибудь соберут лучшие из них, отсеяв все наносное, дешевое, которое к ним пристало.

Несколько лет тому назад я перевел стихотворение, которое считается шотландской народной балладой, а на самом деле представляет собою цыганскую песню. Речь в ней идет о графине-цыганке, которая покидает богатый замок своего мужа и уходит с табором.

Желаю Вам здоровья и счастье.

С. Маршак».

Письма, письма, письма… С какими только просьбами не обращались к Самуилу Яковлевичу, и хотя почти каждый его ответ начинался с извинений («снова болел», «был в больнице»), он всегда старался помочь своим адресатам. Вот одно из многочисленных тому подтверждений. Незнакомый ему человек из Донецкой области Николай Киприанович Байдин попросил сочинить надпись для памятника на могиле внучки. И Маршак выполнил его просьбу: «Пережитое Вами великое горе понятно каждому, кто терял любимых детей. Мне пришлось испытать такое горе дважды…

Трудно, очень трудно написать достойную надпись для памятника. Я написал два четверостишья. Возьмите любое из них, если понравится.

Ты с нами прожила немного лет,
Но столько счастья нами пережито,
Что навсегда в сердцах остался след
Твоей улыбки, маленькая Рита.

* * *

Недолго звездочка сияла.
Но так была она светла!
Ты прожила на свете мало.
Но столько счастья принесла!

Моя фамилия под текстом не нужна.

Желаю от всей души Вам и Вашим родным бодрости и сил».

И все это писалось в те дни, когда за окнами кабинета Маршака была не лучшая погода. Ведь за то, за что ему давали Сталинские премии — переводы из Шекспира, Бёрнса, — других могли обвинить в «низкопоклонничестве перед Западом», в «космополитизме». Самуилу Маршаку пока «везло». 29 мая 1948 года он пишет своему другу юности Л. И. Веллеру: «Я и Софья Михайловна — оба очень устали, не совсем здоровы, собираемся летом лечиться.

Я очень много работаю, мало сплю, завален всякими делами — и своими, и чужими, и личными, и общественными.

Стар стал и ворчлив.

Только что кончил большую работу — сборник стихов для детей и перевод всех сонетов Шекспира. Работка как будто получилась неплохая. Когда выйдут книги, — пошлю, если тебе интересно, конечно.

Вспоминаю нашу молодость, студенческие квартиры, ночные блуждания по улицам чудесного города, твою скрипку, к которой я питал очень большое уважение, старых приятелей и приятельниц наших. Вообще я ничего и никого не забываю».

С. Я. Маршак ни о чем не забывает, но сам так надеется, что «кое-кто» забудет и не напомнит ему о некоторых его поступках. Из воспоминаний Нахмановича — родственника жены Маршака, опубликованных в израильском журнале «Круг» в конце 80-х годов XX века: «Маршак был очень напуган сталинским террором, особенно после убийства Михоэлса, ареста писателей и антифашистов-евреев, он… передавал крупную сумму денег для поддержки созданных в Каунасе и, кажется, в Вильнюсе интернатов и садика для еврейских детей-сирот, родители которых погибли от рук нацистов… Знаю, что позже, в конце 1945-го и в начале 1946 года, когда началась организация, конечно, нелегальная и конспиративная, переправки этих детей

через Кёнигсберг (Калининград) в Польшу, а оттуда в Израиль (тогда еще Палестина)… Маршак вновь прислал для этих целей большую сумму денег. Он сам занимался сбором средств у своих близких и проверенных людей… он получал на эти цели деньги от генерала Красной армии Сладкевича, академика Невязежского, а также от писателя Твардовского».

Маршак знал о существовании каунасского, ошмянского и шауляйского гетто и о зверствах, в них творившихся. Чуть ли не в первые дни освобождения Литвы к Маршаку попали стихи идишистского поэта Хитина из Прибалтики. Это был трагический, поэтический дневник шауляйского гетто, в котором особо жестоко расправлялись с детьми. Об этом Хитин рассказал в маленькой поэме «Домик в Литве». Перевод ее Маршак сделал вскоре после войны. Он понимал, что эти его переводы едва ли увидят свет на родине. И согласился на их публикацию в сборнике «Песни гетто», изданном в Нью-Йорке в 1948 году. Вот отрывки из «Домика в Литве»:

Над самым Неманом, в Литве,
Избушка прячется в траве.
В окошке семеро ребят,
И все на улицу глядят.
Их головы светлее льна,
Но есть и черная одна.

Одно дитя из семерых
Так непохоже на других.
Его сюда, на край села,
На днях еврейка принесла
Украдкой, в сумерках, тайком,
Под черным шерстяным платком…

На ручки сына мать взяла
И долго в угол из угла
Ходила по чужой избе,
А ветер выл в печной трубе…

Вдали от города, в Литве,
Домишко прячется в траве.
Под ним, от ветра чуть рябой,
Струится Неман голубой.

В Египте тоже есть река,
Она длинна и глубока.

Ее зовут рекою Нил.
По Нилу вниз когда-то плыл
В плетенке, свитой из ветвей,
Еврейский мальчик Моисей.

И, глядя сверху на поток,
Шептала мать: «Прощай, сынок!»

Думается, что общение с разными людьми, детьми в особенности, было для Маршака не только необходимостью, но и спасением. Интересно в этом смысле письмо Маршака пионерам школы местечка Емельчино Житомирской области. Пионеры сообщали ему о том, что лучшему отряду дружины имени В. И. Ленина их школы присвоено имя Маршака. Вот что ответил Самуил Яковлевич: «Очень хотелось бы приехать к вам в гости летом, но пока об этом говорить трудно. Я очень занят и не очень здоров…

А присваивать мое имя отряду не нужно — я ведь просто советский поэт, а не герой.

Крепко жму ваши руки.

С. Маршак».

Итак, год 1947-й — юбилейный год не только в биографии Маршака. 7 ноября исполнилось 30 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Конец этого юбилейного года не предвещал потрясений, скорее наоборот, давал надежду. Поэтому за месяц до своего шестидесятилетия Маршак сам себе преподнес своеобразный подарок, опубликовав в «Литературной газете» 4 ноября такие стихи:

Всемирной пользуется славой
Американец Вашингтон.
Его упорством в битве правой
Восставший край освобожден.

Мы чтим великого Линкольна,
Которому нанес удар
Работорговец недовольный,
Теряя прибыльный товар…

Вспоминая о лучших президентах Америки, Маршак не очень лестно отзывается о действующем президенте. Он не называет его фамилии, но она очень легко угадывается по рифме: «Он был силен, благоразумен/ Великодушию открыт,/ Он был не то что

мистер…/ Пусть мистер Смит меня простит» — «благоразумен», нетрудно догадаться, рифмуется с «Трумэн». Самуил Яковлевич критически относится к действующему президенту США, с позволения которого была сброшена атомная бомба на Нагасаки и Хиросиму. Стихотворение «Мысли вслух» хотя и политическое, но искреннее. Маршак серьезно воспринимал угрозы президента Трумэна да и премьера Черчилля в адрес Советского Союза. Не случайно стихотворение это заканчивается так:

Я не желаю инцидентов
И на уста кладу печать,
Но сто процентов президентов
Я не обязан обожать!

Опубликовано оно было 1 сентября 1948 года в «Литературной газете», так же как и написанное Маршаком стихотворение по случаю кончины идеолога партии, а по сути палача литераторов, А. А. Жданова.

Он посвятил себя отчизне,
Ее свободе с юных дней,
И не одну, а десять жизней
В трудах и битвах отдал ей.

Мог ли Маршак отказаться от таких «социальных заказов»? Думаю, даже уверен — в его положении (Сталинские премии, высокие награды, к тому же «сионистское прошлое» — можно ли сомневаться, что чекисты не знали об этом?) отказаться было просто немыслимо.

Разумеется, панегирик Маршака по Жданову был не самым подхалимным. Поэт Виссарион Саянов написал стихотворение «Памяти героя», которое закончил строфой:

В ту ночь победы светлое сиянье
Навек над нашим городом зажглось…
Тем боль сильней, тем тяжелей прощанье,
И не сдержать бойцам бывалым слез.

В той же газете (1 сентября 1948 года), где были опубликованы эти стихи Саянова, были напечатаны статья-некролог «Друг советских писателей» (под ней — подписи А. Фадеева, Н. Тихонова, Б. Горбатова, А. Корнейчука,

В. Вишневского, Л. Леонова, А. Сафронова), заметка Бориса Полевого «Верный соратник Вождя» и заметка поэта Семена Кирсанова «Пропагандист бессмертных идей».

Маршак не только подыгрывал, но и играл в «большие игры», а параллельно шла другая жизнь. Маршак по-прежнему получал много писем со всех концов страны. Как и прежде, ни одно из них не оставлял без внимания и ответа. Среди тех, кто поздравил его с шестидесятилетием, был его давний ленинградский друг, поэт-переводчик М. Л. Лозинский. Вот что в ответ написал Маршак Лозинскому 6 декабря 1947 года: «Вы знаете, как я ценю Ваш ум и талант, Ваше умение жить неторопливо, серьезно и делать только то, что Вы считаете важным и достойным.

Мы с Вами редко видимся, но я всегда радуюсь тому, что Вы существуете».

7 ноября 1947 года, в тридцатую годовщину Октябрьской революции, в газете «Комсомольская правда» было опубликовано уже упомянутое стихотворение Маршака «Наш герб».

Различным образом державы
Свои украсили гербы.
Вот леопард, орел двуглавый
И лев, встающий на дыбы.

Таков обычай был старинный —
Чтоб с государственных гербов
Грозил соседям лик звериный
Оскалом всех своих зубов.

То хищный зверь, то птица злая,
Подобье потеряв свое,
Сжимают в лапах, угрожая,
Разящий меч или копье.

Где львов от века не бывало,
С гербов свирепо смотрят львы
Или орлы, которым мало
Одной орлиной головы!

Но не орел, не лев, не львица
Собой украсили наш герб,
А золотой венок пшеницы,
Могучий молот, острый серп.

Мы не грозим другим народам,
Но бережем просторный дом,
Где место есть под небосводом
Всему, живущему трудом.

Не будет недругом расколот
Союз народов никогда.
Неразделимы серп и молот,
Земля, и колос, и звезда!

Не вызывает сомнения, что написано оно по заказу. В том же 1947 году Маршак, тоже явно не без команды сверху, в очередной раз переделывает своего «Мистера Твистера», опубликованного еще в 1933 году. Правда, это стихотворение опять подвергалось беспощадному разносу чиновников от педагогики. Но 1947 год был похож на 1933-й. Тогда, в 33-м, были поиски врагов — извечная погоня «за ведьмами». В 1947 году были назначены новые враги — космополиты. В марте 1948 года МГБ СССР направило в ЦК ВКП (б) и Совет министров записку о Еврейском антифашистском комитете, в которой руководители ЕАК были определены как «националисты, ведущие антисоветскую деятельность». Наверняка содержание этой записки было известно и за пределами Кремля. Маршак, совсем недавно получивший за переводы «Сонетов» Шекспира очередную Сталинскую премию и орден Ленина и торжественно отпраздновавший в Колонном зале Дома союзов свой юбилей, помнил всегда, что он был не только одним из руководителей Еврейского антифашистского комитета, но и выступал на первом его митинге. И речь его была напечатана на русском языке и на идише. В такой ситуации отказаться от заказа Кремля едва ли кому-то по силам. Для идеологов же, затеявших очередную антисемитскую кампанию, было очень важно, чтобы лозунги их, такие как «Не будет недругом расколот / Союз народов никогда…», озвучил еврей, да еще уважаемый и популярный.

Вскоре Маршак по инициативе А. А. Фадеева (а значит, и Кремля) получит новый заказ. Его сподвижником — автором музыки — на сей раз назначили самого Сергея Сергеевича Прокофьева. Им было предложено создать ораторию «На страже мира». Прокофьев и Маршак по тем временам жили далеко друг от друга: Маршак — в Болшеве, Прокофьев — на Николиной Горе. И может быть, в этом была своя прелесть. Сохранилась весьма интересная переписка Прокофьева с Маршаком. Вот отрывки из этих писем: «Дорогой Самуил Яковлевич. Во время нашей

последней встречи мы говорили о том, что надо бы посоветоваться насчет нового текста с А. А. Фадеевым. Исходя из этого, я направил текст Александру Александровичу и теперь жду, что он свяжется с Вами, со мной или с нами обоими. Не звонил ли он Вам?» (28 июня 1950 года).

Самуил Яковлевич тут же написал ответ С. С. Прокофьеву:

«Дорогой Сергей Сергеевич,

Александр Александрович до сих пор ко мне не звонил. Я даже не знаю, на даче ли он сейчас. Если его там нет, как бы не затерялся в его отсутствие текст. Посоветоваться с ним было бы лучше при встрече.

Повидаться с ним не мешало бы, тем более что журналы настойчиво добиваются печатания текста, который им так нужен будет ко времени завершения сбора подписей. Особенно настойчиво торопит Твардовский, редактор „Нового мира“. На всякий случай я передал через невестку Александра Александровича просьбу о том, чтобы он позвонил ко мне. Ближайшую неделю я, вероятно, еще проведу в Москве, хотя чувствую себя с каждым днем хуже. Отекают руки, плохо сплю…» (3 июля 1950 года).

Письма Маршака Прокофьеву любопытны еще и тем, что Самуил Яковлевич советуется еще и по проблемам поэтическим. Так, в одном из писем вторую строку двустишия:

И стали Волги берега
Захватчику могилой,

он заменил на «Могильщику могилой», ожидая при этом одобрения со стороны Сергея Сергеевича. Такие вопросы в их переписке возникали не однажды. В письме от 11 июля 1950 года Маршак передает Прокофьеву привет от Фадеева: «Он очень жалеет, что не может заехать к Вам». А также сообщает, что все необходимые поправки после обсуждения с Фадеевым и Твардовским в обновленный текст внесены. Заметим, что текст оратории был опубликован в «Новом мире» (1950. № 8).

А между тем затеянная вождем и его командой борьба с космополитами набирала новые обороты. Писателей, актеров, киношников уже недоставало для поддержки костров аутодафе, разведенных заправилами Кремля и Лубянки. К тому же «главные шпионы» были расстреляны 12 августа 1952 года. Палачи и инквизиторы могли остаться без дела. Нужны были новые, более «смачные» жертвы, и они нашлись. 13 января 1953 года ровно в пятую годовщину со дня гибели Михоэлса во всех газетах на первой полосе было опубликовано сообщение об «убийцах в

белых халатах». Режиссеры-постановщики новой трагедии оказались «ювелирами»: на роль обвинителей они решили пригласить соплеменников «убийц в белых халатах». И таковые нашлись. Вскоре академик Минц, журналисты Заславский и Маринин (Хавинсон) подготовили текст письма, под которым от имени всех евреев СССР поставили свои подписи «самые лучшие сыновья». Вот отрывки из этого документа: «В настоящем письме мы считаем своим долгом высказать волнующие нас чувства и мысли в связи со сложившейся международной обстановкой. Мы хотели бы призвать еврейских тружеников в разных странах мира вместе с нами поразмыслить над некоторыми вопросами, затрагивающими жизненные интересы евреев.

Каждый трудящийся человек понимает, что еврей еврею рознь, что нет и не может быть ничего общего между людьми, добывающими себе хлеб собственным трудом, и финансовыми воротилами.

Как известно, недавно в СССР разоблачена шпионская группа врачей-убийц. Преступники, среди которых большинство составляют еврейские буржуазные националисты, завербованные „Джойнтом“ — М. Вовси, М. Коган, А. Фельдман, Я. Этингер, А. Гринштейн, — ставили своей целью путем вредительского лечения сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза, вывести из строя руководящие кадры Советской армии и тем самым подорвать оборону страны. Только люди без чести и совести, продавшие свою душу и тело империалистам, могли пойти на такие чудовищные преступления.

В Советском Союзе осуществлено подлинное братство народов, больших и малых. Впервые в истории трудящиеся евреи вместе со всеми трудящимися Советского Союза обрели свободную, радостную жизнь.

Враги свободы национальностей и дружбы народов, утвердившейся в Советском Союзе, стремятся подавить у евреев сознание высокого общественного долга советских граждан, хотят превратить евреев России в шпионов и врагов русского народа и тем самым создать почву для оживления антисемитизма, этого страшного пережитка прошлого. Но русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является другом русского народа. Никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать доверие еврейского народа к русскому народу, не удастся рассорить нас с великим русским народом…»

Надо ли говорить, что без подписи Маршака — одного из самых видных и авторитетных русских евреев того времени — список подписантов был бы не полным. Процитированное выше письмо было составлено в конце января 1953 года. И. Г. Эренбург

уже в начале февраля, отказавшись подписаться под ним, «обратился за разрешением» к Сталину. Маршак, наверное, не мог себе позволить такого, и подпись его под этим письмом, впрочем, как и десятки других именитых фамилий, есть. Можно лишь догадываться, как нелегко далась эта подпись Самуилу Яковлевичу, поэту, преданному режиму, но никогда не певшему дифирамбы вождю. Его по-прежнему поглощала работа. Совсем недавно, в двенадцатом номере «Нового мира» были напечатаны его «Стихи о слове». Заканчиваются они так:

Слова, что бегло произнес прохожий,
Не меж собой рифмуются, а с правдой —
С дождем, который скоро прошумит.

Могло ли это стихотворение стать щитом для Маршака? Едва ли. Вот отрывок из воспоминаний Бориса Камира «Черные дни Маршака», заместителя главного редактора Детгиза. Собственно, можно было бы напечатать только заглавие этой мемуарной статьи, все же дадим отрывок из нее: «Чтобы покруче доконать издательство, рядом с „безродными космополитами“ появилась „обойма“. „Обойма“, дескать, всем завладела и близко никого не допускает… В центральной печати появился памфлет (говорят, что автором его был Александр Безыменский. — М. Г.)»:

А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль —
С. Маршак, Барто, Кассиль.

Подошла очередь, и на Поварской взялись за Комиссию по детской литературе Союза писателей. Ее возглавлял Маршак. На этот раз отличилась «Учительская газета» (1949. № 15). Обзор о критиках и критике в детской литературе скалькирован с «Правды»: «…с особой пристальностью следует приглядываться… к попыткам в отдельных случаях столкнуть ее (детскую литературу. — М. Г.) на враждебный нам путь космополитизма и гурманского эстетства».

13 марта 1952 года, когда следствие по делу ЕАК завершалось, было принято постановление начать следствие по делам всех тех, имена которых фигурировали на допросах. Надо ли говорить, как часто упоминалось имя Маршака, не только как

активного деятеля ЕАК, но и переводчика стихов Квитко, Галкина, Фефера, находившихся под арестом. В списках тех, кто обречен был на такие же муки, какие испытали Перец Маркиш и Квитко, Маршак, безусловно, значился. Спасительным стал день 5 марта 1953 года. Спасительным — но надолго ли?..

В своих воспоминаниях об отце Иммануэль Самойлович написал: «Только невероятная стойкость могла позволить отцу выпустить через два года после этого удара судьбы (смерть сына Якова. — М. Г.) переводы сонетов Шекспира. Он сохранял мужественность до конца, написав в последующие восемнадцать лет почти всю свою лирику, книги „В начале жизни“ и „Воспитание словом“ — чуть ли не половину всех своих произведений, известных читателям».

В конце 1946 года Маршак получил письмо из Ленинграда от своего давнего знакомого Павла Ивановича Буренина — прообраза героя повести в стихах «Ледяной остров». Последний обратился к нему с просьбой помочь в устройстве на работу в хирургическую клинику: «Стольких людей спас в годы войны, а сейчас никому не нужен». Маршак написал письмо начальнику Военно-медицинской службы Советской армии генерал-полковнику Е. И. Смирнову. И тот принял участие в послевоенной судьбе П. И. Буренина. Маршак же с ответом П. И. Буренину опоздал: «У меня сейчас очень трудные обстоятельства. Болезнь жены выбивает меня из колеи…» После смерти Якова Софья Михайловна тяжело заболела, оказалась прикованной к постели. Софья Михайловна пережила сына всего на пять с небольшим лет — она умерла 24 сентября 1953 года. Вскоре после ее смерти Маршак написал такие стихи:

— Я гордая, я упрямая, —
Ты мне говорила в бреду.
И более верных, жена моя,
Я слов для тебя не найду.
Ты в истину верила твердо.
И я, не сдаваясь судьбе,
Хотел бы упрямо и гордо
Быть верным тебе и себе.

А в конце 1953 года умер брат Маршака — Илья Яковлевич — талантливый писатель, высоко ценимый самим Фадеевым. В письме от 5 ноября 1953 года к Илье Яковлевичу Самуил Маршак сделал приписку: «Люсенька, Фадеев говорил о тебе очень тепло. Вызвался написать тебе. Сказал, что поможет мне выбраться из

Барвихи для свидания с тобой. Говорит с большим уважением о твоей работе, о том, что ты делал и делаешь для нашей литературы.

С. М.».

ФАДЕЕВ И МАРШАК

Александр Александрович Фадеев и Самуил Яковлевич Маршак знакомы были еще со времени Первого съезда Союза советских писателей, а может быть, встречались раньше. Но дружить они стали, когда Маршак переехал в Москву. Фадеев не скрывал не только своего уважения, но и симпатии к Маршаку. Очень считался с его мнением. Не со многими Маршак был на «ты». В числе этих немногих — Фадеев. Не имея прямого доступа к Сталину, Маршак не раз обращался с просьбами о помощи к другу-писателю Фадееву, а тот уже к самому вождю. Так было не раз.

Сегодня, когда стало привычным, едва ли не признаком хорошего тона не только рассуждать, но и осуждать прошлое, разговор о Фадееве в книге о Маршаке не только уместен, но и необходим.

Немногие сумели так емко и лаконично сказать о творчестве Маршака, как это сделал Фадеев в своем выступлении в Колонном зале Дома союзов 14 ноября 1947 года, на вечере, посвященном шестидесятилетию Маршака: «Самуил Яковлевич принадлежит к самым крупным писателям нашей Советской страны, к той когорте писателей, которые принесли советской литературе общенародное признание и мировую славу…

Мне кажется, что если рассматривать Самуила Яковлевича в разрезе детской литературы, то он является первым во всей той линии развития советской детской литературы, которая выделяет ее в мире как основательницу совершенно новой, принципиально новой литературы для детей.

Маршак в полной мере является отцом этой литературы, и новаторство его в этой области имеет настолько принципиальное значение, что можно смело, без преувеличений сказать, что творчество Самуила Яковлевича для детей является новым словом в мировом развитии детской литературы…

Поэтому я прежде всего и хочу отметить эту главную сторону в творчестве Маршака: он является новатором мирового масштаба в развитии детской литературы, потому что сказал в ней действительно новое слово детского писателя социалистического общества…

И наконец, Маршак является великолепным переводчиком западноевропейской, в частности английской, поэзии, которая в переводах Маршака, в его художественной интерпретации стала фактом русской поэзии…

Мне кажется, что это соединяется в Маршаке через

изумительное и не так часто распространенное качество, существующее в нем (может быть, в наибольшей степени, чем среди других наших поэтов) светлое и прозрачное пушкинское начало, при котором Маршаку решительно все, к чему бы ни притронулась его рука, хочется сделать очень ясным, светлым, прозрачным, гармоничным…

Всем своим творчеством он является коренным отрицанием формалистической линии в поэзии, и не только формалистической линии, а коренным отрицанием всякой литературщины в поэзии…

С. Я. Маршак идет в нашей поэзии именно по этой пушкинской линии. Если искать родство его стихов с какими-нибудь стихами в прошлом, то они прежде всего родственны пушкинскому стиху. И пусть это парадоксальное мое утверждение не будет вами принято в том смысле — а что похожего у него на „Полтаву“ или на „Я помню чудное мгновенье“? Пусть это будет понято в том прямом и в то же время сокровенном смысле, в каком я сказал: творчеству Маршака присуща пушкинская ясность стиха, прозрачность, отсутствие литературщины, принятие стиха только тогда, когда он может с такой же ясностью и прозрачностью дойти до любого читателя».

Человек, так много сделавший для становления и развития новой советской литературы, Александр Александрович Фадеев не нуждается в адвокатской защите. И все же приведу пример порядочности Фадеева. Это строки из дневника Корнея Ивановича Чуковского, написанные 12 ноября 1946 года: «Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно. Выслушав фрагменты моей будущей книги, он написал 4 письма: два мне, одно Симонову в „Новый мир“, другое Панферову — в „Октябрь“, хваля эту вещь; кроме того, восторженно отозвался о ней в редакции „Литгазеты“ и, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня».

И еще был писатель, в судьбе которого приняли участие и Маршак, и Фадеев. Речь идет о Михаиле Булгакове. Булгаков и Маршак были знакомы еще с начала 1930-х годов. Тому немало свидетельств в дневниках Булгакова. Самуил Яковлевич не входил в круг близких друзей Михаила Афанасьевича, но они уважали и ценили друг друга. Фадеев же появился в доме Булгакова лишь в 1940 году, когда Михаил Афанасьевич был тяжело болен. 5 марта 1940 года Булгаков записал в дневнике: «Приход Фадеева. Разговор (подобрался сколько мог)». Булгаков, указав на Елену Сергеевну (жена Булгакова. — М. Г.), сказал ему: «Я умираю, она все знает, что я хочу». Фадеев, стараясь держаться спокойно и сдержанно, ответил: «„Вы жили мужественно, вы

умираете мужественно“. После чего выбежал на лестницу, уже не сдерживая слез».

Еще в годы войны Елена Сергеевна Булгакова приступила к исполнению своего обещания, данного умирающему мужу. Подтверждение тому — письмо Фаины Раневской к Михоэлсу (1944 год): «Дорогой, любимый Соломон Михайлович! Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам. Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата! Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков. Может быть. Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова…»

В 1946 году Елена Сергеевна обратилась к Сталину с просьбой помочь спасти творчество Булгакова от незаслуженного забвения: «Дорогой Иосиф Виссарионович, я прошу Вашего слова в защиту писателя Булгакова. Я прошу именно Вашего слова — ничто другое в данном случае помочь не может.

Сейчас, благодаря Вам, Советская Россия вспомнила многие несправедливо забытые имена, которыми она может гордиться. Имя Булгакова, так беззаветно отдавшего свое сердце, ум и талант бесконечно любимой им Родине, остается непризнанным и погребенным в молчании. Я прошу Вас, спасите вторично Булгакова, на этот раз от незаслуженного забвения».

На сей раз, в отличие от довоенного периода, когда вождь удостоил Булгакова беседой по телефону, вдове писателя он не удосужился не только позвонить — он даже не ответил на ее письмо. Шли тяжелые послевоенные годы. И только во времена хрущевской «оттепели» была создана комиссия по литературному наследию Булгакова. Вошли в нее Фадеев и Маршак. Неоднократные обращения в эту комиссию Елены Булгаковой ни к чему не привели. Потеряв надежду, она обратилась к Маршаку лично: «Дорогой Самуил Яковлевич, простите, что на машинке, но так будет легче и для Вас, и для меня, — привычка, я и детям и маме пишу всегда на машинке.

Я нарочно пишу Вам, а не звоню по телефону, потому что, когда я слышу Ваш больной голос, я не могу ничего толком сказать Вам, мне делается стыдно, что и я затрудняю Вас своими делами. Но сказать мне необходимо, так как Вы — единственный человек, с которым я могу говорить об этом. К Александру

Александровичу (к Фадееву. — М. Г.), к моему великому сожалению, я не могу позвонить.

Что же касается Леонова, Федина, которых я знаю мало, или Суркова, Поликарпова, которых я совсем не знаю, то к ним я не могу звонить. Да и кроме того, если Федин мог сказать Вам, что „это трудное дело, ведь вот Горьким [имеется в виду наследники. — М. Г.] не продлили [авторские права. — М. Г.]“ — о чем тогда говорить?..

И Вы хотите, чтобы я сейчас звонила к людям, равнодушным людям, мало мне знакомым, и просила их о милости. Нет, родной мой, тогда не нужно ничего!..

Сейчас булгаковскую судьбу решают трусливые редакторы их издательства „Искусство“. А почему не читатель? Если бы объявить подписку Булгакова и напечатать столько экземпляров, на сколько будет сделана подписка? А почему издательство „Советский писатель“ не хочет издавать Булгакова?

Пишу Вам ночью, потому что мысли меня одолели и мне не спится. Только Вы мне не звоните по телефону, а лучше напишите. Я не могу говорить обо всем этом без слез, а потом проклинаю себя ночами за это.

И последнее — если все мои предположения, все мои надежды на Вас обоих ошибочны, то, прошу Вас, верните мне все эти бумаги, я проделаю последнюю попытку добиться справедливости, написав письмо Правительству. Я не могу медлить, все сроки прошли!

Обнимаю Вас.

Ваша Елена Булгакова.

В ночь на 6 января 1955 года».

Итак, в очень трудные минуты у вдовы Булгакова сохранилась надежда лишь на два имени — Фадеев и Маршак.

В письме Корнею Ивановичу Чуковскому от 10 мая 1960 года Маршак писал: «Фадеев накануне самоубийства пришел ко мне и застал у меня Тамару Григорьевну. Он был немного более сдержан, чем всегда, но по его виду я никак не мог предположить, что передо мной человек, который на другой день лишит себя жизни.

Он подробно расспрашивал меня о моем здоровье, о том, куда я намерен поехать лечиться.

А я заговорил с ним о Твардовском, с которым он незадолго перед этим серьезно поссорился. Мне очень хотелось их помирить.

Не желая мешать нашему разговору, Тамара Григорьевна поспешила проститься с нами, и я вышел проводить ее. В

коридоре она сказала мне вполголоса, но твердо и уверенно:

— Не говорите с ним ни о себе, ни о Твардовском. Вы посмотрите на него!

Она заметила то, что как-то ускользнуло от меня, знавшего Фадеева гораздо больше и ближе».

Самуил Яковлевич рассказал об этой встрече с Фадеевым своему сыну и другу Иммануэлю Самойловичу. И добавил: «Как жаль, что я не напомнил Александру Александровичу слова Иова: „Что бы ни предпринимал человек, он делает это для жизни своей“».

Вскоре после самоубийства Фадеева Маршак посвятил памяти своего многолетнего, искреннего и истинного друга такие стихи:

Молодой, седой и статный,
Как березы стройный ствол,
В путь ушел ты невозвратный,
Раньше времени ушел.

Не в тайге, где ты когда-то
Партизаном воевал,
Не в боях на льду Кронштадта
Ты убит был наповал.

Ты, не знавший неудачи,
Скошен собственной рукой.
Погубил тебя на даче
Беспокойный твой покой.

«ЖИТЬ И В ПУТИ УМЕЙ»

Это только казалось, что времена наступили другие.

Год 1956-й принято считать началом хрущевской «оттепели». Но были проблемы, в которых «либеральный» лидер не допускал изменений. Одна из них — отношение к государству Израиль. Хотя при Хрущеве были восстановлены дипломатические отношения с Израилем, прерванные после знаменитой провокации в советском посольстве в Тель-Авиве в 1953 году, до дружбы было далеко. В октябре 1956 года свершилась так называемая «тройственная» агрессия: Англия и Франция, не желая примириться с национализацией Египтом Суэцкого канала, решили отстоять его силой и зачем-то (может быть, как ближайшего соседа) взяли своим союзником Израиль, страну, более других пострадавшую от закрытия канала. Реакция Хрущева ясна — «приручив» президента Египта Насера, а значит, и Египет, он тем самым выступил в защиту жертв империалистов. Разумеется, надо было «воздать должное» Израилю. И советские евреи обязаны были в этом воздании принять участие. Появились письма «евреев — гордости русского народа», возмущенных поведением Израиля. Среди подписантов оказались не только «постоянные клиенты», но и те, кто мог бы воздержаться, промолчать, — Михаил Ромм, например, и другие. Маршак откликнулся слащаво-ироническим стихотворением «Расправа с правом», опубликованным в «Правде» 6 ноября 1956 года:

О жизненном значении
Канала
Твердили власти в Лондоне давно.
Теперь бомбежка чуть не доконала
Канал, закон и право заодно.

Так Идеен
С Ги Моле
И Гурионом
Расправились с законом
И ООН'ом.
Но пусть узнают Идеен с Ги Моле,
Что есть
И честь,
И совесть на земле
И что нельзя в столетии двадцатом
Средневековым подражать пиратам.

Так что год 1953-й, когда Маршаку пришлось подписаться под «Письмом советских евреев», не канул в бездну. Может быть, дабы успокоить самого себя, он твердил знаменитые слова, высеченные на копях царя Давида: «Все проходит, и это пройдет», и продолжал писать стихи, политические и философские:

Даже по делу спеша, не забудь:
Это короткий путь —
Тоже частица жизни твоей.
Жить и в пути умей.

В 1957 году Маршак много работал — завершал подготовку своего четырехтомного собрания сочинений, оттачивал для публикации переводы из Гейне — и потому мало общался с друзьями, о чем очень сожалел. Вот что он писал А. Т. Твардовскому, с которым дружил еще с довоенных лет:

«Мой дорогой Александр Трифонович, меня очень обрадовал твой привет. Ведь ты всегда со мной — даже тогда, когда я подолгу тебя не вижу и не получаю от тебя никаких вестей.

Очень хотелось бы мне выбраться в Коктебель, но не знаю еще, удастся ли. Много всякого трудного дела, да к тому же я еще связался с одной областью медицины, которая называется „стоматологией“, — проще говоря, лечу зубы. Если не увидимся в Крыму, буду ждать тебя в Москве. Обо многом хотелось бы посоветоваться с тобой, — в частности, о моих статьях и заметках, которые я должен скоро сдать в Гослитиздат.

Но, конечно, не только в этом дело. Буду попросту рад увидеть и обнять тебя.

Если задержишься в Коктебеле, напиши как-нибудь несколько слов о себе…»

В своих воспоминаниях В. Я. Лакшин пишет, что Твардовский прислушивался к Маршаку более чем к кому-либо. И это при том, что еще до войны Маршак не оставил камня на камне от стихов для детей, которые сочинил юный Твардовский. Позже Александр Трифонович не раз с благодарностью говорил о беспощадности Маршака, отучившего его раз и навсегда «писать для детей снисходительно, как бы между делом». Это, считал Маршак, то же самое, что приходить в церковь и не молиться.

МАРШАК И ГЕЙНЕ

Пушкин назвал переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения». И это воистину так. Не могу согласиться с Робертом Фростом, сказавшим, что поэзия погибает в переводе. Мне гораздо ближе Жуковский: «Переводчик в стихах — соперник». Почему в этой книге мы так много говорим о Маршаке-переводчике? Потому что, как сказал Корней Иванович Чуковский, Маршак переводчиком в буквальном смысле этого слова никогда не был. Наверное, Чуковский при этом исходил из своего же постулата: «Перевод — это автопортрет переводчика». Слова эти к Маршаку имеют непосредственное отношение. Лучшие его переводы — это действительно автопортрет Самуила Яковлевича, это его судьба, мысли. Нигде, даже в автобиографической книге «В начале жизни», Маршак не самовыразился так, как в переводах из Шекспира, Блейка, Бёрнса и, в особенности, Гейне. О переводах из Гейне и пойдет речь в этой главе.

Маршак всегда четко отделял перевод вообще, скажем, технический, юридический, от перевода художественного. В его статье «Портрет или копия?», опубликованной в 1957 году в журнале «Новый мир», читаем: «Художественный перевод немыслим без затраты душевных сил, без воображения, интуиции, — словом, без всего того, что необходимо для творчества». И далее он говорит, что перевод — не механическая замена одних слов другими, что каждый язык имеет свои прелести, особенности, причуды и прихоти. «„Перевод, переводить, переводчик“ — как мало, в сущности, соответствуют эти общепринятые, узаконенные обычаем слова тому содержанию, которое мы вкладываем в понятие художественного, поэтического перевода… Когда-то академик А. Ф. Кони, говоря о том, какое значение имеет порядок, расположение слов и как меняется смысл и характер фразы от их перемещения, подтвердил свою мысль выразительным примером перестановки двух слов: „кровь с молоком“ — и „молоко с кровью“». А я бы сказал, что тем самым академик А. Ф. Кони проиллюстрировал суть каббалы о значимости порядка слов в мироздании. Маршак-переводчик, корни которого восходят к видным каббалистам XVII–XVIII веков, знал это сокровенное учение. Вместе с тем Маршак не однажды повторял, что подстрочный перевод, даже добросовестно сделанный, не всегда передает содержание произведения, не говоря уже о его художественных особенностях. Другую опасность, по мнению Маршака, представляет для переводчика

работа на заказ. Впрочем, об этом писал еще Александр Сергеевич Пушкин: «Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения… Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба…» И «Потерянный рай» потерялся даже в переводе такого поэта, как Шатобриан. Маршак говорил, что лучшие стихотворные переводы — дети любви, но не брака по расчету. Бывает, что после поэта остаются не его оригинальные стихи, а лучшие переводы, им осуществленные.«… Перевод трилогии Данте был жизненным подвигом Дмитрия Мина и Михаила Лозинского, а переводы из Гейне — подвигом Михаила Илларионовича Михайлова», — пишет Маршак. Неудивительно, что переводы — «дети любви» — стали органичной частью творчества таких поэтов, как Бунин, Ахматова, Веселовский, Чуковский, Пастернак, Лозинский. «Истинно поэтические переводы надо копить, а не фабриковать. Изготовить за год или за два новое полное собрание сочинений Шелли, Гейне, Мицкевича, Теннисона или Роберта Браунинга, так же невозможно, как поручить современному поэту написать за два или даже за три года полное собрание сочинений».

Стихи Гейне Маршак переводил на протяжении всей творческой жизни. Цикл стихов Гейне в его переводах публиковался в журнале «Новый мир» в 1951 и 1957 годах. Для многих читателей это было откровением — Маршака считали «англичанином», переводы же с других языков были для него занятием, если не побочным, то второстепенным. И вдруг — переводы с немецкого… да еще такие виртуозные, что не возникает даже мысли о наличии подстрочника.

Первый перевод из Гейне юный Самуил Маршак сделал еще в 1903 году, находясь на лечении в Осиповке (местечко в Подолии), куда его привез Давид Горациевич Гинцбург. В письме к В. В. Стасову от 13 июня 1903 года он сообщает: «Написал я одно большое стихотворение (из Гейне), а мои очерки — так легко пишу я их (еще легче, чем стихи), что для меня это совершенно не представляет затруднения». Этот перевод, очевидно, вольный (сам Маршак назвал его стихотворением), увы, не сохранился. До нас дошел другой ранний маршаковский перевод знаменитого стихотворения Гейне «Психея» (его он включил в подборку своих лирических стихов за 1921–1922 годы). Содержание «Психеи» Гейне восходит к книге Апулея «Золотой осел». Общеизвестная легенда о любви Психеи к Амуру в стихотворении Гейне получила новую интерпретацию. Меньше всего его занимала идея вечного раскаяния души из-за совершенного Психеей греха (нагое тело бога любви Амура возбудило в ней восторг и страсть). В стихотворении «Психея» Гейне, вероятно, намеренно шел

наперекор христианской морали. Вообще его часто обвиняли в неподобающем отношении к религии. Так, сборник «Стихотворения Михайлова», выпущенный в России в 1866 году, был запрещен только из-за того, что содержал перевод стихотворения Гейне «Брось эти иносказания». Если бы в упомянутом сборнике был перевод «Психеи», то не только книгу запретили, но и автора сослали бы в края не столь отдаленные.

«Психею» Маршак перевел в 1908 году, в двадцатилетием возрасте. И, разумеется, шедевра не получилось:

…Кровь моя течет ручьем,
Жизни пыл в потоке том
Гаснет, я изнемогаю
И с победой — умираю.

Но для нас этот перевод интересен тем, что он показывает, каким было вхождение Маршака в мир Гейне. Что же касается «Психеи», то это стихотворение переводили многие русские поэты, первым это сделал Майков. Но самый «гейновский» перевод «Психеи», по моему мнению, принадлежит Александру Кочеткову:

В жар и в дрожь ее бросает, —
Всех живых прекрасней он.
Бог любви разоблаченный
Убегает, пробужден.

Восемнадцати столетий
Казнь бедняжке суждена,
Грех великий: обнаженным
Бога видела она!

И еще хочу привести удачный, на мой взгляд, перевод последней строфы, выполненный З. Васильевой:

Вечно длится искупленье!
На прощенье нет надежд.
Ах, зачем она глядела
На Амура без одежд.

В 1925 году Маршак ездил на лечение в Германию, но посвятить время исключительно своему здоровью — не «по-

маршаковски». Он совершенствовал свои познания в немецком, который изучал еще в гимназии, и естественно читал в оригинале Гёте и Гейне. И разве мог он не прочитать знаменитую «Лорелею». Ведь это стихотворение Гейне перевели десятки — да-да, десятки русских стихотворцев: Майков, Михайлов, Павлова, Вайнберг, Блок, Левик…

Пройдет двадцать лет, и Маршак-переводчик тоже обратится к немецкой легенде о волшебнице и обольстительнице Лорелее, которая своим дивным пением и белокурыми волосами пленяла, завораживала рыбаков. Забыв обо всем, они теряли контроль за ходом судна и погибали в рейнских водоворотах.

…Там девушка, песнь распевая,
Сидит на вершине крутой.
Одежда на ней золотая
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Неведомой силы полна… —

так «Лорелею» перевел ученик и друг Маршака Вениамин Левик. А вот как эти строфы переведены Блоком:

…Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы.

Златым убирает гребнем.
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога затаена…

Эта же строфа из «Лорелеи» в переводе Маршака:

…Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
И блещут, как золото, пряди
Под гребнем ее золотым…

Проводит по золоту гребнем

И песню поет она.
И власти и силы волшебной
Зовущая песня полна…

Когда-то поэт Лев Владимирович Гинзбург, много переводивший с немецкого, сказал: «Я иногда ревную Маршака к англичанам. Когда я читаю его переводы с немецкого, в особенности — из Гейне, они кажутся мне более ясными и определенными, чем в оригинале. В переводах Маршака, в отличие даже от таких блистательных переводчиков Гейне, как Фет и Блок, образы Гейне становятся более четкими, зримыми, сохраняя при этом немецкую интонацию».

Существует мнение, что наиболее трудна для перевода первая строфа «Лорелеи». Вот ее подстрочник: «Я не знаю, что бы это значило, / Что (почему, отчего) мне так грустно, / Сказка (или легенда) старых времен / Не выходит у меня из головы (из моей головы)». Вот эта строфа в переводе Льва Мея:

Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит…

Перевод этой строфы, достаточно близкий к оригиналу, почти подстрочный, читаем у В. Гиппиуса:

Не знаю, что за причина,
Что так печален я;
Все той же сказкой старинной
Полна душа моя.

Совсем иначе выглядит эта строфа в переводе Блока:

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен…

Нелегко далась эта строфа и Самуилу Яковлевичу. Сохранилось более двадцати вариантов маршаковского перевода этой строфы.

Я имел счастье слышать рассказ самого Маршака о работе над переводом «Лорелеи». Однажды у нас с ним зашел разговор о Гейне.

— Гейне знаете? Читали в оригинале? — спросил он.

— Это мой любимый поэт, — ответил я и, желая «проявить» свои познания, прочел наизусть на немецком «Лорелею» и свой перевод:

В каком-то душевном разладе
Давно нахожусь я с собой.
Забытая старая сказка
Совсем отняла мой покой.

За Рейном высокие горы…
В какой-то невидимой мгле
Мне видится — девушка в белом
Стоит на высоком холме.

Маршак снял очки и так пронзительно посмотрел на меня, что я смутился и замолчал.

— Ну, знаете, голубчик, — сказал с ехидцей Самуил Яковлевич, — по поводу «душевного разлада» у Гейне в этом стихотворении нет ни слова. А что касается «девушки в белом», то перевод вы делали, видимо, под влиянием не Гейне, а Есенина… — И, улыбнувшись, продекламировал: — «Да, мне нравилась девушка в белом, а теперь я люблю в голубом…» А вот «мгла»… Что-то я у Гейне не нахожу этого слова. Да еще «невидимая мгла»! Мгла потому и мгла, что она «невидимая»… Впрочем, вы не первый — «Лорелею» переводили на русский язык десятки поэтов, но ей не выпала в русской поэзии такая счастливая судьба, как, скажем, другому стихотворению Гейне «На севере диком». Перевел это стихотворение Тютчев, но его перевод остался незамеченным, хотя немецкий язык он знал в совершенстве.

Самуил Яковлевич вдохновенно прочел перевод Тютчева:

На севере мрачном, на дикой скале,
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он и в инистой мгле,
И сон его буря лелеет…

Я хотел было спросить Самуила Яковлевича, почему такой дивный перевод остался «незамеченным», но не отважился. А

глупый вопрос все же задал:

— Так все же у Гейне — сосна или кедр?

По выражению лица Самуила Яковлевича я все понял… После паузы он продолжил:

— Есть в переводах непостижимая тайна. Их можно сделать очень близкими к оригиналу, но неожиданно для переводчика возникает новое стихотворение, ничего общего не имеющее с оригиналом. А бывает, что переводчик «уходит» от оригинала, а его творение передает что-то самое сокровенное, что было у автора.

Не знаю, будете ли вы еще возвращаться к переводу «Лорелеи» — кто знает… Но помните — в этих стихах Гейне очень близок и к лирической балладе, и к народной песне. Не учитывая этого, переводить «Лорелею» невозможно.

(То же самое Маршак написал и московской девятикласснице Веронике Хорват, приславшей ему в 1948 году свои переводы из Гейне, в частности — «Лорелею»: «А я „Lorelei“ — при всем сходстве мыслей и настроений — в вашей передаче не вполне узнаю. В этих стихах Гейне очень близок к народной песне, к лирической балладе. При утрате подлинного размера и ритма эта близость пропадает».)

— Почему так трудно дается, а вернее, не поддается переводу «Лорелея»? — продолжал Маршак. — Героиня старой немецкой сказки не желает переселиться с берегов Рейна на берега, скажем, Невы. Нева не похожа на Рейн. В переводе «Лорелеи», сделанном Блоком, есть строфа:

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор…
В вечерних лучах алеют
Вершины далеких гор.

В первых двух строках мне так видится Нева, что последние строки не рассеяли этого впечатления.

Я переводил «Лорелею» в течение многих лет. Не получалось. Мне мешали и уже существующие переводы. «Лорелею» переводили многие русские поэты XIX века, и было у всех них желание, даже страсть, сделать это очень немецкое стихотворение русским, оставив при этом что-то от Гейне… Я сделал более двадцати вариантов перевода — ни один из них не радовал меня… Лет пятнадцать тому назад я отдал переводы в журнал «Новый мир». Тогда первая строфа звучала так:

Не знаю, о чем я тоскую,

Но в сердце такая грусть.
Старинную сказку простую
Весь день я твержу наизусть.

Через день я позвонил в редакцию и попросил переделать первую строфу так:

Не знаю, какая причина
Того, что в душе моей грусть.
Старинную сказку простую
Весь день я твержу наизусть.

В том переводе меня смутила строка «Не знаю, какая причина» — слишком далеко от оригинала. Я снова позвонил в редакцию и попросил внести изменения:

О чем я тоскую — не знаю.
Но полон я грустных дум.
Старинная сказка простая
Весь день мне приходит на ум.

Прошло несколько дней, и я в очередной раз вернулся к «Лорелее»; перевод первой строфы мне показался плохим. Снова звоню редактору, прошу не сердиться, но необходимо чуточку изменить первую строфу:

Не знаю, о чем я тоскую,
Когда и чем огорчен.
Забыть ни на миг не могу я
Преданье далеких времен.

Спустя время я вновь прочел перевод и испугался. Строка «Когда и чем огорчен» показалась мне чудовищной. Звонить уже боюсь. Передаю новый перевод с посыльным. Редактор позвонил мне, пообещал внести очередное исправление, сказав при этом: «Надеюсь, это последнее изменение, я должен сдать рукопись в набор».

Не знаю, какая причина,
Что сердце полно тоской.
Отрывок из сказки старинной
Тревожит весь день мой покой.

Когда через месяц я прочел уже набранный текст, меня охватил ужас: снова вкрались слова «какая причина», а уж «Отрывок из сказки старинной тревожит весь день мой покой» — совсем не годится… Неужели это мой перевод? Я немедленно «отозвал» свою рукопись и только через несколько месяцев вернул ее снова в редакцию.

— И какой же вариант вы оставили?

— Сделал новый:

Не знаю, о чем тоскую,
Покоя душе моей нет.
Забыть ни на миг не могу я
Преданье далеких лет.

Самуил Яковлевич прочел до конца свой перевод «Лорелеи» и вдруг сказал:

— Нет, что-то не так. Я еще вернусь к этому переводу…

Я часто вспоминал рассказ Маршака о переводе «Лорелеи». Однажды захотел прочесть стихи Гейне из книги «Ламентации» в его переводе. Открыв томик, начал с эпиграфа к этому циклу:

Удача — резвая плутовка;
Нигде подолгу не сидит;
Тебя потреплет по головке
И, быстро чмокнув, прочь спешит.

Несчастье — дама много строже:
Тебя к груди, любя прижмет.
Усядется к тебе на ложе
И не спеша вязать начнет.

Перевод показался мне незнакомым, даже чужим. Оказалось, я держу в руках довоенное издание Гейне. Я взял другое — послевоенное. И нашел этот же эпиграф в другом переводе — Маршака:

Уходит счастье без оглядки, —
Не любит ветреница ждать.
Рукой со лба откинет прядки,
Вас поцелует — и бежать!

А тетка Горе из объятий
Вас не отпустит долгий срок.
Присядет ночью у кровати
И вяжет, вяжет свой чулок.

Еще раз задумался я о волшебстве и непостижимой тайне Маршака-переводчика.

Юдифь Яковлевна когда-то сказала мне: «Брат так мечтал перевести „Еврейские мелодии“ Гейне, если не полностью, то хотя бы поэму об Иегуде бен Галеви. Самуил Яковлевич очень любил этого поэта и, кажется мне, читал его стихи в оригинале».

На стихотворении Гейне «Рокочут трубы оркестра» хочу остановиться особо. Примечательно оно не только потому, что в нем — эпизод из биографии Гейне: молодой Генрих был влюблен в свою кузину Амалию, любовь эта была взаимной, но выйти замуж за Генриха девушке не позволили — слишком беден был жених. Стихотворение «Грохочут трубы оркестра», как и «Лорелею», переводили многие русские поэты. Среди них и Афанасий Фет:

Ликуют флейты и скрипки,
И вторят валторны им;
Любимая в пляске зыбкой
Кружится, венчаясь с другим.

Раздолье нынче тромбонам,
Литаврам звонким простор;
И тут же плачем и стоном
Исходит ангелов хор.

В переводах Фета по несчастной любви плачет и стонет хор ангелов. У Маршака же, как и у Гейне, — не хор, а сами ангелы вздыхают, и не абстрактно, не о ком-то, а «о нас», о влюбленных. Стихотворение это из цикла «Лирическое интермеццо» — второй книги стихов Гейне, изданной в 1823 году. Называлась она тогда «Трагедии с лирическим интермеццо». В этом издании было посвящение в стихах отцу Амалии, Соломону Гейне («Соломон Гейне — снова прими эти страницы как знак почтительности и симпатий автора»), В последующих изданиях посвящение это отсутствовало.

А вот перевод Маршака, во многом отличный от того, что сделал Фет:

Рокочут трубы оркестра,
И барабаны бьют.
Это мою невесту
Замуж выдают.

Гремят литавры лихо,
И гулко гудит контрабас.
А в паузах ангелы тихо
Вздыхают и плачут о нас.

Маршак знал историю любви Генриха Гейне. У Соломона Гейне было три дочери. И Генрих поочередно влюблялся в каждую из них. Естественно, это отразилось в его поэзии:

Прекрасный старинный замок
Стоит на вершине горы.
И любят меня в этом замке
Три барышни — три сестры…

…В замке устроили праздник
Для барышень милых на днях.
Съезжались бароны и дамы
В возках и верхом на конях…

Стихотворение Гейне «Грохочут трубы оркестра» переводили до Маршака и В. Гиппиус, и Ю. Тынянов, и многие другие. Вот последняя строфа этого стихотворения в переводе Ю. Тынянова:

…Меня туда не позвали,
А тут-то и вышел грех.
Заметили тетки и дяди —
И подняли их на смех…

А вот эта строфа в переводе Маршака:

…Но жаль, что меня не позвали.
Не видя меня на балу,
Ехидные сплетницы-тетки
Тихонько смеялись в углу…

Почему к переводам из Гейне Маршак вернулся после весьма

длительного перерыва (напомним, «Психею» он перевел в 1908 году, к тому же включал это стихотворение не в переводы, а в собственные лирические стихи), лишь в конце 1940-х годов, то есть в ту пору, когда был отмечен очередной Сталинской премией (1949) за переводы «Сонетов» Шекспира?

Напомню еще раз слова Маршака, сказанные им Льву Гинзбургу: «… смотрите не только в текст, но и в окно». А что было за окном в то время? После публикации в «Правде» передовицы (28 января 1949 года) «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» едва ли не каждый день все газеты в СССР выступали с призывом бороться с космополитами, препятствующими развитию советской культуры и науки. Большинство из этих людей, как известно, были евреями. Большинство, но далеко не все. В журнале «Новый мир», где вскоре Маршак напечатает свои переводы из Гейне, была опубликована статья В. М. Вежлаева «Проповедник космополитизма: нечистый смысл „чистого искусства Александра Грина“». После этой публикации книги Грина были изъяты из всех библиотек. А в Большой советской энциклопедии, изданной в 1952 году, Александр Грин был представлен как буржуазный космополит.

Слово «космополит», восходящее, как известно, к греческому «kosmopolites» — «гражданин мира», в конце 1940-х годов звучало в советской прессе уничижительно. В ту пору еще свежи были в памяти доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и постановление, последовавшее за этим докладом. Именно в то время был ликвидирован Еврейский антифашистский комитет, активным членом которого с первого дня его существования был Самуил Яковлевич Маршак. В январе 1948 года был убит Соломон Михоэлс, после чего последовали аресты лучших представителей еврейской интеллигенции. Сред них были поэты, с коими был дружен и стихи которых переводил Маршак, — Л. Квитко, С. Галкин. В 1949 году в «правдинской» статье «Культура и жизнь», разоблачавшей «идеологических диверсантов», упомянуто было имя Генриха Гейне — оказывается, он «с того света» влиял на творчество Павла Антокольского, Саввы Голованивского, в творчестве которых была и еврейская тематика. Первый из них написал стихи «Теряются следы», второй — поэму «Авраам». Кто знает, может быть, эта публикация (конечно же не только она) способствовала возвращению Маршака к Гейне. В особенности к превратностям посмертной его судьбы. В книге немецкого литературоведа XIX века Вильгельма Бельше, посвященной творчеству Гейне (она была издана в Лейпциге в 1888 году), читаем: «Немецкие литературоведы литературную личность

Гейне конструировали всегда простейшим образом: еврейство — это ствол, и от него идут три основные ветви — антинемецкая сущность, отсутствие характера и фривольности… Историки готовы согласиться, что у этого мерзавца Гейне бывали светлые минуты, и вот тогда-то он и был способен улавливать немецкий народный стиль… К трем тезисам обвинителей, сходящимся в едином „потому что“ — так получает объяснение неистребимая популярность Гейне». Читал ли Маршак эту книгу — не столь уж существенно. Он и без Вильгельма Бельше знал, как относились к Гейне в Германии и при его жизни, и после смерти. Но когда приступил к переводам из Гейне, думал не столько о превратностях его судьбы, сколько о судьбе книг великого немецкого поэта: в 1930-х годах их сжигали на кострах фашисты. И «Книга песен» пылала среди них. Исключение вынуждены были сделать лишь для «Лорелеи», объявив ее народной песней (в лучшем случае ее объявляли песней неизвестного автора). Что-то похожее происходило в начале 1950-х годов в Москве: книги еврейских советских писателей, арестованных в конце 1940-х годов, были изъяты из библиотек, запрещены. Вскоре они горели на Малой Бронной, во дворе ГОСЕТа, на таком же костре, как и книги Гейне 15–20 лет назад. Думаю, это и привело Маршака к Гейне, что еще раз подтверждает мысль Чуковского о том, что Маршак переводчиком в буквальном смысле слова никогда не был. Когда Самуил Яковлевич не имел возможности выразить свои чувства в стихах, он делал это «под именем» Шекспира, Бёрнса, Гейне.

Кричат, негодуя, кастраты,
Что я не так пою.
Находят они грубоватой
И низменной песню мою.

Это стихотворение Гейне Маршак перевел в 1950 году. Задолго до Маршака его перевел В. Гиппиус, может быть, более резко: «Кастраты зароптали, / Едва раскрыл я рот; / Роптали и шептали: / „Он слишком грубо поет!“» Но суть одна — поэту не дают петь свои песни.

Теперь становится понятным, почему в эти годы Самуил Яковлевич так много «общался» с Генрихом Гейне. Великий немецкий поэт, а не почести и награды, полученные Маршаком от государства в ту пору, когда народу, его породившему, грозила опасность, возвращал его к жизни. Наверное, не раз перечитывал он тогда строки из заметок Гейне: «История современных евреев трагична, но вздумай кто-нибудь написать об этой трагедии, его

еще осмеют. Это трагичнее всего… Один еврей сказал другому: „Я был слишком слаб“. Эти слова рекомендуются в качестве эпиграфа к истории еврейства».

А в жизни Маршака, его творчестве Генрих Гейне занимает особое место, особую нишу.

МАРШАК, АХМАТОВА, БРОДСКИЙ

Эта глава неслучайна в нашей книге. Маршак и Ахматова были знакомы давно. Когда они встретились впервые, сегодня установить трудно, но не вызывает сомнения, что знали друг о друге еще в 1910-х годах, на закате Серебряного века русской литературы. «Познакомил» их не Шекспир, не Бёрнс, а Уильям Блейк — поэт, оказавшийся первой любовью Маршака в английской поэзии. Есть у Николая Гумилёва стихотворение «Память», написанное им в 1919 году:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах и на земле.

Сердце не будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Незадолго до того как Гумилёв написал эти стихи, а именно — летом 1918 года, в газете «Русские мысли» были опубликованы отрывки из поэмы Блейка «Мильтон» в переводе Маршака:

Мой дух в борьбе несокрушим,
Незримый меч всегда со мной.
Мы возведем Ерусалим
В зеленой Англии родной.

Надо ли говорить, что стихотворение «Память» Гумилёва перекликается с блейковским «Мильтоном» в переводе Маршака. По словам Валентина Дмитриевича Берестова, Анна Андреевна восторженно отзывалась о библейских стихах Маршака, предрекая большое будущее этому молодому поэту. Впрочем, даже если это не более чем разговоры, то жизнь обернулась так, что Ахматова и Маршак не редко встречались в Петрограде — Ленинграде.

Из книги П. Н. Лукницкого «Встречи с Анной Ахматовой»: «19 ноября 1928 года звонил С. Я. Маршак, спрашивал, нет ли у А. А. в виду человека, которому можно было бы поручить написать

детскую книгу о Пушкине. По-видимому, это была скрытая форма предложения самой А. А. — Маршак знал, что А. А. ничего не зарабатывает».

В самом начале войны, в сентябре 1941 года, Маршак при поддержке А. А. Фадеева помог Ахматовой, Габбе и другим литераторам выбраться из осажденного Ленинграда (списки покидающих блокадный Ленинград утверждал сам И. В. Сталин). Некоторое время Анна Ахматова жила в московской квартире Маршака на Чкаловской, потом уехала в Казань (даже один день была в Чистополе), а оттуда в эшелоне, в котором было выделено два вагона для эвакуации писателей, выехала в Ташкент. Маршак же поехал в Алма-Ату, где тогда находились Софья Михайловна и Яков, звал он в Алма-Ату и Анну Андреевну. Но она решила остаться в Ташкенте и прожила там долгое время в одной комнате с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

Забегая вперед, скажем, что Маршак был в числе немногих писателей, не принявших участие в травле Ахматовой и Зощенко после постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Историческое» это постановление ввергло Ахматову в очередное молчание. В 1946–1949 годах она написала так мало стихов, что их можно перечесть по пальцам. И среди них есть настоящие «ахматовские»:

Любовь всех раньше станет смертным прахом,
Смирится гордость и умолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенесть.

В 1947 году она написала четверостишие, посвященное Борису Пастернаку:

Здесь все тебе принадлежит по праву,
Стеной стоят дремучие дожди.
Отдай другим игрушку мира — славу,
Иди домой и ничего не жди.

В конце 1949 года в судьбе Анны Ахматовой произошла еще одна трагедия — 6 ноября был арестован ее сын Лев Гумилёв. Не поддавшись отчаянию, она пыталась вступить в схватку с вершителями судеб своим оружием. Ахматова создала такие стихи, о которых в прежние времена и думать не могла:

Пусть миру этот день запомнится навеки,

Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.

Ликует вся страна в лучах зари янтарной,
И радости чистейшей нет преград, —
И древний Самарканд, и Мурманск заполярный,
И дважды Сталиным спасенный Ленинград.

В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, —
Пусть вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.

И вторят городам Советского Союза
Всех дружеских республик города
И труженики те, которых душат узы,
Но чья свободна речь и чья душа горда.

И вольно думы их летят к столице славы,
К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.

Она знала, что стихи эти, посвященные семидесятилетию вождя, дойдут до него, и наивно полагала, что они помогут освобождению ее сына. Но есть в этом стихотворении строка, весьма опасная для поэта: «Легенда говорит о мудром человеке…» Тогда Анна Андреевна написала другое стихотворение:

И Вождь орлиными очами
Увидел с высоты Кремля,
Как пышно залита лучами
Преображенная земля…

И благодарного народа
Вождь слышит голос:
«Мы пришли
Сказать — где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»

Конечно же эти стихи судьбу Льва Николаевича не изменили.

Как всегда, в трудные минуты Анна Андреевна обратилась к Маршаку, но если в 1938 году он отважился пойти к самому Вышинскому на прием, то во времена борьбы с космополитами не решился на это. Но не помочь не мог. Маршак обратился к Фадееву. Позже в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской Анна Ахматова скажет: «Я Фадеева не имею права судить. Он пытался помочь мне освободить Леву». Но — тщетно.

Дошли ли хвалебные оды Сталину, написанные Анной Ахматовой, до «адресата» — неизвестно. Известно, что самой Анне Андреевне принесли лишь горесть. Напечатанные в журнале «Огонек», они стали известны и за рубежом. «Когда в журнале „Огонек“ (1950. № 14. — М. Г.) я встретила Ваши стихи, я усомнилась, что писали Вы, — быть может, соименница…

Прочла и ужаснулась: такую смерть для Вас придумать мог лишь он — лишь враг души — сам дьявол. Он птице поднебесной отрезал крылья легкие и дал ей пресмыкаться», — писала Ахматовой Мария Белозерская — литературовед, давно находившаяся в эмиграции. Не всем дано было понять, что творилось тогда в СССР. Спустя много лет в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской у Анны Андреевны вырвутся такие слова: «Осип (Мандельштам. — М. Г.) после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне: „Это была болезнь“ (страх. — М. Г.)».

Примерно в то же время, когда Ахматова посвящала оды Сталину, Маршак завершил работу над переводом сонетов Шекспира, получил в 1949 году очередную Сталинскую премию и писал совсем другие, «невинные» стихи. Многие были посвящены Пушкину, 150-летие со дня рождения которого стало всенародным праздником. Вот одно из таких стихотворений:

У памятника на закате летом
Играют дети. И, склонив главу,
Чуть озаренную вечерним светом,
Он с возвышенья смотрит на Москву.

Шуршат машины, цепью выбегая
На площадь из-за каждого угла.
Шумит Москва — родная, но другая —
И старше, и моложе, чем была.

А он все тот же. Только год от года
У ног его на площади Москвы
Все больше собирается народа
И все звучнее влажный шум листвы.

Участник наших радостей и бедствий,
Стоит, незыблем в бурю и в грозу,
Там, где играл, быть может, в раннем детстве,
Как те ребята, что снуют внизу.

Маршак, так высоко ценивший поэзию Ахматовой, далеко не всегда соглашался с ее оценками поэтов и поэзии. Самуил Яковлевич не воспринимал поэтов-модернистов (может быть, поэтому не воспринял стихи молодого Бродского: «Стихи мрачные, мрачные, слишком мрачные, но там внутри — свет»). Свидетельств «нелюбви» Маршака к поэтам-модернистам немало. За два дня до смерти, 2 июля 1964 года, когда в больнице его навестила племянница, приехавшая из Парижа, дочь Сусанны Яковлевны, он, вспоминая прошлое, заговорил с ней о встрече с Рабиндранатом Тагором, высоко оценив лучшие его произведения. Однако он все же заметил: «В Тагоре был какой-то модернизм».

Анна Андреевна же любила многих поэтов-модернистов, особенно австрийского поэта Райнера Марию Рильке. Еще в 1910 году она перевела его стихотворение «Одиночество»:

О святое мое одиночество — ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
Как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далеким не верь
И крепко держи золотую дверь,
Там, за нею, — желаний ад.

Но когда речь зашла об издании сборника стихов Рильке, как вспоминает Л. К. Чуковская, Маршак даже инициировал выпуск томика стихов Рильке. Уверен — только из уважения к Анне Андреевне. Из записок Л. К. Чуковской об Ахматовой: «И тогда же Ахматова не раз просила Тамару (Т. Г. Габбе. — М. Г.) почитать ей свои переводы Рильке (это были годы, когда мы с помощью С. Я. Маршака и по его инициативе боролись за „реабилитацию“ Рильке и за издание сборника его стихов в Тамарином переводе)».

В отличие от Маршака, Анна Андреевна Ахматова защищала не только Бродского — человека, попавшего под брежневско-андроповский каток, но и Бродского-поэта. Она вольно или невольно оказалась и его учителем, и наставником. Вот отрывок стихотворения Бродского, посвященного А. А. Ахматовой и преподнесенного ей вместе с букетом роз в 1962 году:

Вы поднимете прекрасное лицо —
Громкий смех, как поминальное словцо,
Звук неясный на нагревшемся мосту —
На мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,
Не услышу я шуршания колес,
Уносящих Вас к заливу, к деревам.
По отечеству без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг.
Без поклонников, но также не для них,
Опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
Этот воздух запустевший только плоть
Душ, оставивших призвание свое,
А не новое творение Твое!»

В 1962 году Ахматова написала стихотворение «Последняя роза», предпослав ему эпиграф из упомянутого стихотворения Бродского: «Вы напишете о нас наискосок…» Оно было напечатано в «Новом мире» в 1962 году, но — без эпиграфа…

Однажды Лидия Корнеевна Чуковская пересказала Ахматовой разговор Маршака с директором Гослита В. А. Косолаповым. Последний, прочитав в «Правде» статью Маршака о Солженицыне, позвонил ему, чтобы выразить свое восхищение, а Маршак в трубку: «Да, Солженицын. Он в тех условиях остался человеком. А вот вы, Валерий Алексеевич… Что же это вы делаете? Молодого талантливого поэта преследуют мерзавцы. Они хотят представить его тунеядцем. А Бродский не только талантливый поэт — он замечательный переводчик. У вашего издательства с ним несколько договоров. Вы же, узнав о гонениях, приказали с ним договоры расторгнуть! Чтобы дать возможность мерзавцам судить его как бездельника, тунеядца. Хорошо это? Да ведь это же, Валерий Алексеевич, что выдернуть табуретку из-под ног человека, которого вешают». Услышав эту историю, Ахматова сказала: «Очень скверный признак — эти расторгнутые договоры. Дело затеяно и решено на самых высоких местах. Косолапое такой же исполнитель, как Лернер. Исполняет приказ».

«…Завтра в Ленинграде судят Бродского, — записала в дневнике Л. К. Чуковская. — Он из Тарусы уехал домой, и его

арестовали. Пользуясь своими барвихинскими связями, Дед и Маршак по вертушке говорили с Генеральным прокурором СССР Руденко и с министром Охраны общественного порядка РСФСР Тикуновым. Сначала — обещание немедленно освободить, а потом вздор: будто бы, работая на заводе, нарушил какие-то правила. И его будут судить за это. Все ложь…»

И еще из «Записок об Анне Ахматовой»: «Я впервые рассказала Маршаку о Бродском, когда Косолапов, по наущению Лернера, порвал с ним договоры. Самуил Яковлевич лежал в постели с воспалением легких. Выслушав всю историю, он сел, полуукутанный толстым одеялом, свесил ноги, снял очки и заплакал.

— Если у нас такое творится, я не хочу больше жить… Я не могу больше жить… Это дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице… Когда начиналась моя жизнь — это было. И вот сейчас опять».

Узнав от Л. К. Чуковской о том, что Бродский не принят в Союз писателей (возражали Шестинский и Эльяшевич; Лернер, по-жульнически прочитав дневники Бродского, цитировал их), Анна Ахматова сказала: «Иосиф — не член Союза писателей… К чему тут какая-то особая комиссия? А о Гранине больше не будут говорить: „Это тот, кто написал такие-то книги“, а „Это тот, кто погубил Бродского“. Только так». В расправе с Бродским были и элементы антисемитизма. «Дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице», — сказала Ахматова, в точности повторив фразу Маршака, и добавила: «А я лютая антисемитка на антисемитов. Ничего глупее на свете не знаю».

В отличие от Д. Гранина, А. Прокофьева и иже с ними, участвовавших в уничтожении Бродского, в борьбу за него включились К. Чуковский и К. Паустовский. Из дневника К. И. Чуковского (запись 2 февраля 1964 года): «Вчера в Барвиху приехал Маршак. Поселился в полулюксе № 23 в нижнем этаже. Когда я увидел его, слезы так и хлынули у меня из глаз: маленький, сморщенный, весь обглоданный болезнью. Но пышет энергией…

Говорил Маршак о своем разговоре с Косолаповым, директором Гослита по поводу поэта Бродского, с которым тот расторг договор:

— Вы поступили как трус. Непременно заключите договор вновь…»

А вот запись из дневника К. И. Чуковского от 17 февраля 1964 года: «Лида и Фрида Вигдорова хлопочут сейчас о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Л-де травит группа бездарных поэтов, именующих себя „русистами“. Его

должны завтра судить за бытовое разложение. Лида и Фрида выработали целый ряд мер, которые должны быть приняты нами — Маршаком и Чуковским, чтобы приостановить этот суд. Маршак охотно включился в эту борьбу за несчастного поэта. Звонит по телефонам, хлопочет».

Борьба за Бродского еще больше сблизила Маршака и Ахматову. Вот рассказ Анны Ахматовой, переданный Лидией Корнеевной Чуковской: «По ассоциации с мнимым сумасшествием Чаадаева я вспомнила одну недавнюю грустную реплику Маршака. Я ему рассказала, что Чаадаев, узнав о выходе за границей брошюры Герцена „Развитие революционных идей в России“ и услыхав, будто и он там числится в революционерах (чего вовсе не было: Герцен писал там лишь о толчке мысли и об образце поведения, которые дал русскому обществу этот человек, да еще издевался над Николаем, объявившим замечательного мыслителя слабоумным), — так вот, Чаадаев, не прочитав книгу, а только услыхав о ее существовании, срочно, спешно, не откладывая дела в долгий ящик, написал письмо — о, нет! Совсем не философское! Холопское! — письмо шефу жандармов, графу Орлову, в котором, благоговея перед Николаем, изливался в верноподданнических чувствах, а Герцена называл так: „наглый беглец, искажающий истину“. Что-то вроде. Под конец Петр Яковлевич выражал надежду, что граф не поверит клевете изменника и беглеца и сохранит к нему, Чаадаеву, свое сиятельное расположение… Каково? Герцен же, не подозревая об этом письме, чтил Чаадаева до конца своей жизни (хотя и не соглашался с ним), да и Чаадаев, прочитав брошюру, написал и тайком переправил Герцену за границу благодарное, любящее, даже благословляющее письмо.

„Горько мне было узнать об этом происшествии“, — сказала я однажды Самуилу Яковлевичу. Он понурился и ответил: „Очень русская история“.

— Нет, — сказала Анна Андреевна. — Тут не то. Это история общечеловеческая…»

Трагический этот рассказ (он описан и в книге литературоведа Михаила Гершензона, посвященной Чаадаеву) не только о временах Герцена — Чаадаева, но и об эпохе, в которую жили Ахматова и Маршак.

25 июня 1964 года, то есть за несколько дней до кончины, находясь в больнице, Маршак послал телеграмму Ахматовой: «Дорогая Анна Андреевна. От всей души поздравляю Вас <с> Вашим прекрасным, строгим и таким молодым 75-летием… Низко Вам кланяюсь.

Ваш Маршак.

Больница Кунцево».

Есть у Анны Андреевны стихи, на мой взгляд, очень точно отражающие время, в которое она жила:

И это станет для людей
Как времена Веспасиана.
А было это — только рана
И муки облачко над ней.

О МОЛОДЫХ ПОЭТАХ

Среди большого литературоведческого наследия Маршака его статья «О молодых поэтах» занимает особое место. Опубликованная посмертно в «Новом мире» (1969. № 9), она не потеряла своей значимости и сегодня. В конце 1950-х — начале 1960-х годов поэты собирали аудитории почти такие же, как футбольные матчи. Попасть в Политехнический на вечера Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского было труднее, чем в Большой театр. В ту же пору в литературу вошли Наум Коржавин, Римма Казакова, Валентин Берестов, Юнна Мориц, Новелла Матвеева. Еще были популярны поэты, пришедшие в литературу из окопов Великой Отечественной войны, — Семен Гудзенко, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Евгений Винокуров, Александр Межиров (его творчеству Маршак посвятил статью в «Известиях» «Уверенная поступь» 19 января 1963 года), но все это не идет в сравнение с популярностью молодых поэтов, бурно ворвавшихся в поэзию в годы хрущевской «оттепели». «В разных концах нашей страны все увереннее заявляют о своем существовании поэты, о которых мы раньше не слыхали. А целая плеяда молодых успела приобрести за несколько лет такую широкую известность, какую их старшие собратья завоевывали долгими годами труда, — писал С. Я. Маршак. — Как в первые годы революции, в дни молодости Маяковского и его ровесников, молодые поэты находят не только читателей, но и многочисленных слушателей.

Стихи, читаемые вслух с эстрады, вызывают немедленный и непосредственный отклик аудитории — не то что страницы стихов в журналах и сборниках. Лучшие поэты тридцатых, сороковых и пятидесятых годов редко слышали столь шумные аплодисменты, какие выпали на долю молодых поэтов последних лет.

Для Маяковского подмостки были трибуной. В сущности, вся его поэзия — оратория, рассчитанная на чтение вслух.

Но если эстрада — не трибуна, а только эстрада, она таит для поэтов серьезные опасности. К аплодисментам надо относиться с осторожностью».

Быть может, откровеннее и конкретнее других свое видение вхождения в поэзию выразил Евгений Евтушенко в стихотворении «Трамвай поэзии»:

В трамвай поэзии,
словно в собес,

Набитый людьми и буквами,
Я не с передней площадки влез —
Я повисел на буфере.
Потом на подножке держался хитро
С рукой,
прихлопнутой дверью,
А как наконец прорвался в нутро,
И сам себе я не верю.
Место всегда старикам уступал.
От контролеров не прятался.
На ноги людям не наступал.
Мне наступали — не плакался…
Я с теми,
кто вышел и строить и месть,
Не с теми,
кто вход запрещает.
Я с теми,
кто хочет в трамваи влезть,
Когда их туда не пущают.
Жесток этот мир, как зимой Москва,
Когда она вьюгой продута.
Трамваи резиновы.
Есть места!
Откройте двери, кондуктор!

Маршаку небезразличны были пути развития русской поэзии. Именно поэтому он не назидательно, но предостерегает от чрезмерной самоуверенности тех, кто входит в поэзию уже после бума, начавшегося в конце 1950-х. По сравнению с ними Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, которым тогда, в начале 1960-х было около тридцати, чувствовали себя стариками, о чем Евгений Евтушенко написал:

…Приходят мальчики,
надменные и властные,
Они сжимают кулачонки влажные
И, задыхаясь от смертельной сладости,
Отважно обличают
мои слабости.

Спасибо, мальчики!
Давайте!
Будьте стойкими!
Вступайте в спор!

Держитесь на своем!
Переставая быть к другим жестокими.
Быть молодыми мы перестаем…

Молодые поэты, вошедшие в литературу в период хрущевской «оттепели», едва ли задумывались о страшной судьбе советских поэтов старшего поколения. Им не надо было скрывать стихов (как Маршаку «Сиониды»), написанных когда-то давно. Они могли публиковать, а если не напечатают — прочесть на стадионе, где «тираж» читателей был немногим меньше, чем тираж книг. В конце 1950-х — начале 1960-х да и позже (может быть, исключая времена Андропова) хватка советской власти была уже не та, что в 1930— 1950-х годах. Можно ли себе представить в те годы очередь — длинную, гудящую, — выстроившуюся за сборником стихов того же Евтушенко. Наверное, поэтому Маршак в своих набросках к статье о молодых поэтах строго предупреждает: «Молодого поэта можно почувствовать или не почувствовать, принять его или не принять.

А рассматривать его стихи, как ученическую тетрадку, подчеркивая строчки и предостерегая автора восклицательными знаками на полях, — дело бесполезное, да и обидное, если только перед нами не первая робкая попытка начинающего.

Но человек, выступающий в печати, да не с отдельным стихотворением, а с целым сборником стихов, не может и не должен ждать скидки на молодость».

Мой друг, зачем о молодости лет
Ты объявляешь публике читающей?
Тот, кто еще не начал, — не поэт,
А кто уж начал, тот не начинающий.

Не знаю, можно ли считать тридцатилетнего Евтушенко начинающим поэтом, но неоспоримо то, что автор строк «Собою были мы разбиты, как Рим разгромлен был собой…» для читателей был пророком, равно как поэтом несоизмеримой популярности, написав строки: «Постель была расстелена, / А ты была растеряна, / И ты шептала шепотом: / — А что потом? А что потом?» Пожалуй, больше всего внимания в статье «О молодых поэтах» Маршак уделяет Вознесенскому: «Один из самых „пенистых“ — и вместе с тем один из самых талантливых молодых поэтов — Андрей Вознесенский. Он пишет размашисто, безоглядно, безудержно, порой опрометчиво, сталкивая различные эпохи и стили. Подчас он не заботится об укреплении

своих позиций, веря, что его поймут и с полуслова.

Неизвестно, куда бы завело поэта стремление к остроте — движение „по лезвию“, если бы его иной раз не спасали неожиданные при такой стремительности пристальность и зоркость.

Это особенно заметно в цикле стихотворений „Треугольная груша“, который вызвал у нас столько споров».

И все же между строк улавливается: из молодых поэтов Маршаку ближе Евтушенко: «Но день за днем мы стали все больше узнавать Евгения Евтушенко, поэта разнообразного, неровного, может быть, еще не вполне проявившего себя, но всегда внятного и заставляющего прислушиваться к своему голосу.

Хорошо сделала „Молодая гвардия“, выпустив в этом году довольно большой том его стихов.

Многое в этом сборнике оказалось для меня — думаю, и для других читателей — неожиданным и новым.

По первым своим впечатлениям я никак не ожидал от Евтушенко таких полновесных и зрелых стихов, как, например, „Глубина“.

Я не могу отказаться от желания процитировать их здесь полностью":

Будил захвоенные дали
Рев парохода поутру,
А мы на палубе стояли
И наблюдали Ангару.
Она летела озаренно,
И дно просвечивало в ней
Сквозь толщу волн светло-зеленых
Цветными пятнами камней…
…И я хотел бы стать волною
Реки, зарей пробитой вкось,
С неизмеримой глубиною
И с каждым камешком насквозь!

Воспроизведя полностью стихотворение, Маршак заканчивает статью словами: «В этих прозрачных до дна стихах Евтушенко следует основному направлению русской поэзии, ясной и глубокой, верной пушкинскому началу…»

Без «пушкинского начала», по убеждению Маршака, не может существовать современная поэзия. В той же статье «О молодых поэтах», в первой ее части, он пишет: «В драматических произведениях Пушкина есть два сходных между собой эпизода.

В сцене у фонтана Григорий Отрепьев признается честолюбивой Марине Мнишек, что он не царевич, хоть это признание для него и невыгодно и опасно. Но он не хочет, чтобы „гордая полячка“ любила в его лице мнимого царевича, а не его самого.

В „Каменном госте“ Дон Жуан (у Пушкина — Дон Гуан. — М. Г.), добившись свидания с Донной Анной, признается ей, что он не дон Диего, чьим именем он себя назвал, а Дон Жуан, убийца командора, ее мужа».

Пройдут годы, и в одной из своих лирических эпиграмм Маршак напишет еще афористичнее:

У Пушкина влюбленный самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признается пушкинский испанец.
Что он — не дон Диего, а Жуан.

Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой к подложному Диего — донну Анну…
Так и поэту нужно, чтоб не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.

Да, непросто быть поэтом без маски. Вернемся снова к статье «О молодых поэтах»: «…Из всех молодых поэтов, появившихся за последние годы, пожалуй, больше других сказал о себе и при этом с наибольшей открытостью Евгений Евтушенко… Аудитория, состоящая из молодежи, раньше признала Евтушенко, чем мы, люди более зрелого возраста. Что-то демагогическое, бьющее на эффект, какое-то самолюбование, а порой нескромная интимность заставляли нас настораживаться при чтении его стихов, изредка и случайно доходивших до нас. Что-то изнеженное, родственное Игорю Северянину, а то и Вертинскому чувствовалось иной раз в его стихах…» «…Многие из наших молодых поэтов берут случайные размеры — такие, какие бог на душу положит.

Грешит этим — правда, далеко не всегда — и Евгений Евтушенко…»

И еще важная мысль из работы Маршака «О молодых поэтах»: «Писатель должен быть профессионалом, а не любителем, но прежде всего он должен быть человеком и не терять непосредственного — а не только писательского — интереса к жизни и к людям». А еще писатель должен верить в свои силы (кому-кому, а Евтушенко этого не занимать), но «нельзя придавать чрезмерное значение временному успеху и похвалам

окружающих людей».

Евтушенко, к счастью, познал и временный, и постоянный успех, бывало и противоположное. Не случайно свою биографическую книгу он назвал «Волчий билет». Одно из самых нашумевших (в хорошем смысле этого слова) стихотворение «Бабий Яр» связывает имена Маршака и Евтушенко. Стихотворение это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Быть может, только повесть «Один день Ивана Денисовича» Солженицына произвела такое же впечатление. Немного в русской поэзии стихотворений, о которых бы столько говорили, столько писали. Среди если не осудивших, то не принявших «Бабий Яр» Евтушенко был сам коммунист № 1 — Никита Сергеевич Хрущев. На встрече руководителей партии и правительства с деятелями искусств и литературы он сказал: «За что критикуется „Бабий Яр“? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить именно фашистских преступников за совершенные ими массовые убийства в Бабьем Яру. В стихотворении дело изображено так, что жертвами фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей других национальностей… У нас не существует „еврейского вопроса“, а те, кто выдумывают его, поют с чужого голоса». Если так воспринял стихотворение «отец оттепели», то надо ли говорить, какое раздражение, злобу оно вызвало у тех, кто считал, что развитию настоящей русской литературы мешают инородцы. Поэт Алексей Марков (с ним Евтушенко был знаком с юности) выступил с резким памфлетом:

Какой ты настоящий русский.
Когда забыл про свой народ.
Душа, как брючки, стала узкой,
Пустой, как лестничный пролет…

Что же так возмутило Алексея Маркова? Уверен, не отсутствие памятника жертвам фашизма в Бабьем Яру (его установили много лет спустя после публикации евтушенковского «Бабьего Яра»), Думается мне, Маркова испугало другое: русский поэт представил себя еврейским мальчиком из Белостока или Кишинева во время жесточайших еврейских погромов конца XIX — начала XX века.

Немногие решались ответить Маркову. Отповедь, ходившую в «списках», дал Самуил Яковлевич Маршак:

Был в царское время известный герой

По имени Марков, по кличке «Второй».
Он в Думе скандалил, в газете писал,
Всю жизнь от евреев Россию спасал.

Народ стал хозяином русской земли,
От Марковых прежних Россию спасли.
И вот выступает сегодня в газете
Еще один Марков, теперь уже третий.

Не мог не сдержаться «поэт-нееврей»!
Погибших евреев жалеет пигмей.
Поэта-врага он долбает ответом,
Завернутым в стих хулиганским кастетом.

В огромной антологии русской поэзии «Строфы века», составителем которой был Евгений Евтушенко (Е. Витковский был научным редактором), наряду со стихами Блока, Твардовского есть имена совсем или почти неведомые, а вот места для стихов Маршака не нашлось. Может быть, Евгений Александрович так поступил в знак «благодарности» за стихотворение Маршака «Мой ответ (Маркову)». Думается, биографию Евтушенко поступок этот не украсит, а место Маршака в русской поэзии не изменит. Напомню сказанное Борисом Сарновым в книге «Самуил Маршак» (я не полностью разделяю это мнение, но все же…): «Место, которое занимал Маршак в литературоведческой „табели о рангах“, определилось давно. Это было весьма достойное место, и со смертью поэта оно не стало ни более, ни менее достойным…»

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Из воспоминаний друга и ученика Маршака Александра Гольдберга об одной из таких встреч: «Лето 1962 года Маршак провел в Тессели. Он жил неподалеку от бывшей дачи Горького, и с балкона его комнаты виден был сад, опускавшийся прямо к морю.

Самуил Яковлевич похудел, стал менее подвижен, но стоило ему рассмеяться, и лицо молодело, а глаза щурились и прыгали под очками. В то время он работал над лирическими стихами, и рукопись лежала на его рабочем столе — непривычно маленьком по сравнению с московским.

— Послушайте, голубчик, мое любимое":

Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства,
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь…

Словарь, слово — для Маршака это были не просто лингвистические понятия. В статье «Мысли о словах» он написал: «Каждое поколение вносит в словарь свои находки — подлинные или мнимые. Одни слова язык усыновляет, другие отвергает.

Но и в тех словах, которые накрепко вросли в словарь, литератору следует разбираться точно и тонко.

Он должен знать, например, что слово „чувство“ гораздо старше, чем слово „настроение“, что „беда“ более коренное и всенародное слово, чем, скажем, „катастрофа“.

На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: „Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку…“

…Словарь отражает все изменения, происходящие в мире. Он запечатлел опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни… Более того, в нем таится чудесная возможность обращаться к нашей памяти, воображению, к самым разным ощущениям и чувствам, вызывая в нашем представлении живую реальность».

Здесь, в этом тихом городке («Тессели» в переводе означает

«тишина»), к нему снова вернулись работоспособность, жажда жизни. Он много пишет, переводит. В письме А. И. Любарской (22 июля) он сообщает: «Написал (вернее, устно сочинил) и несколько своих четверостиший. В последнее время я почему-то пишу только отдельные четверостишия — по-видимому, последние капли пересыхающего потока».

Читатель мой особенного рода:
Умеет он под стол ходить пешком.
Но радостно мне знать, что я знаком
С читателем двухтысячного года.

Сюда же, в Крым, он привез с собой, дабы продолжить работу, одно из самых проникновенных своих прозаических произведений — «Дом, увенчанный глобусом». Приступая к «Дому, увенчанному глобусом», Маршак не расставался с книгой «В начале жизни». Своим венгерским друзьям Агнессе Кун и поэту Анталу Гидашу он пишет: «…Я прошу своего секретаря — Розалию Ивановну (которую Вы, надеюсь, помните) послать Вам единственную имеющуюся у меня книгу — о моем детстве и юности — „В начале жизни“. Между прочим, на польский язык ее перевел перед самой своей кончиной Владислав Броневский. Я не успел даже его поблагодарить.

Когда прочтете эту книгу, напишите мне. Это не мемуары, а попытка увидеть себя на фоне пережитой эпохи (или эпох) и проследить почти неуловимые переходы от возраста к возрасту». Книге «В начале жизни» Маршак придавал особое значение. Он мечтал о хорошем ее переводе на английский, о чем писал Марии Игнатьевне Будберг (в прошлом — секретарь А. М. Горького): «А книга эта для меня — одна из самых дорогих. Видно, наш читатель это почувствовал: ни одна моя работа не вызывала столько теплых и сердечных откликов.

Еще раз сердечно благодарю Вас за предпринятый Вами большой труд, который несомненно увенчается успехом.

Искренне Ваш

С. Маршак».

По замыслу Маршака «Дом, увенчанный глобусом» мог бы стать продолжением «В начале жизни». Конечно, между этими двумя книгами пролегли бы годы, заполненные событиями из жизни страны, из жизни Маршака, но, вероятно, они еще не были осмысленны так, как события, описанные в книге «В начале жизни». И, наверное, не оставили такой след, как события, связанные со знаменитым серым домом на Невском, ставшим волею истории литературной легендой: «Этот дом памятен мне

потому, что в нем я провел почти безвыходно много лет (сплошь и рядом мне и моим товарищам случалось работать в редакции не только днем, но и до глубокой ночи, а то и до следующего утра).

Дом книги стал моим вторым домом, когда мне было лет 37–38, а покинул я его в 50-летнем возрасте.

Это значительная часть моей жизни, годы бодрой деятельности, годы зрелости.

Ограбил ли я себя, отдавшись на столько лет почти целиком редакционной работе?..

Мало времени оставалось у меня для моей семьи, еще меньше для собственной литературной работы, которой я успевал заниматься главным образом летом, а в остальное время — то ночью, то по праздникам, то урывками в редакции.

И все же мне думается, что потратил я все эти годы не зря».

К работе над этими воспоминаниями Маршак приступил в самом начале 1961 года. Он хотел восстановить в памяти незабываемую атмосферу тех лет, ибо именно в этом доме начиналась та литература, которая позже была названа «советской детской». Маршак достаточно подробно рассказывает о своих друзьях-соратниках того времени, о людях высоко талантливых, которых полюбил он и полюбивших его. В частности, он пишет о Борисе Житкове, ставшем одним из классиков советской детской литературы:

«Многие рассказы, написанные им для детей, возникли из его устных импровизаций, из тех бесконечных историй, которые он так неторопливо, чуть картавя, рассказывал нам, затянувшись перед этим всласть дымом папиросы.

После каждой из его историй я настойчиво убеждал Бориса Степановича записать рассказ тут же, не откладывая. Так возникли замечательные книжки для детей — „Про обезьянку“, „Про слона“, „Дяденька“…»

Много интересного рассказывает Маршак о Виталии Бианки, о его знаменитой «Лесной газете», не устаревшей и сегодня. Там же, в «Доме, увенчанном глобусом», возник журнал «Новый Робинзон». Борис Житков вел в этом журнале отдел «Сделай сам», научный отдел возглавлял Ильин. Эти записи Маршака — живые воспоминания о возникновении книг, оставшихся в нашей литературе навсегда.

«Любопытна история „Приключений Буратино“ Алексея Николаевича Толстого.

Он принес в редакцию перевод итальянской повести Коллоди „Приключения Пиноккио“. Эта повесть, впервые вышедшая в русском переводе еще до революции, почему-то не пользовалась у

нас таким успехом, как на Западе.

Не знаю, завоевала ли бы она любовь читателей в этом новом переводе, но мне казалось, что такой мастер слова, как Алексей Толстой, мог бы проявить себя гораздо ярче и полнее в свободном пересказе повести, чем в переводе. Он помнил эту повесть еще со времен своего детства и с трудом отличал отдельные ее эпизоды от тех причудливых вымыслов, которыми дополнило и разукрасило их детское воображение. Вольный пересказ, не связывающий фантазии рассказчика, давал ему возможность сохранять и эти домыслы…»

Из этих же записок мы узнаем и о том, как в детскую литературу пришла писательница Татьяна Александровна Богданович, написавшая по совету Маршака свою первую повесть для детей «Шестьдесят лет». До встречи с Маршаком Т. А. Богданович писала книги для взрослых. Маршаку же в детскую редакцию порекомендовал ее историк Е. В. Тарле, знавший Татьяну Александровну давно — она была другом семьи В. Г. Короленко. Маршак пишет: «Можно с уверенностью сказать, что за последний десяток лет своей жизни Т. А. Богданович успела сделать больше, чем за все предшествующие годы. Она как бы пережила вторую молодость, работая рука об руку с людьми другого поколения.

И всем этим она была обязана детской литературе».

Маршак надеялся, что в тихом крымском городке Тессели ему удастся спокойно работать.

Дождись, поэт, душевного затишья,
Чтобы дыханье бури передать,
Чтобы легло одно четверостишье
В твою давно раскрытую тетрадь.

Но в октябре 1962 года он пишет Екатерине Павловне Пешковой: «Очень жалко, что меня не могли оставить в Тессели…» Маршака перевели в Ялту, в Дом писателей, где «друзья по цеху» да и просто почитатели не давали ему покоя. «Не проходит дня, чтобы кто-нибудь не просил меня прочесть объемистую рукопись или вышедшую книгу. На собственную работу почти не остается времени…»

И все же тогда в Крыму ему удалось написать несколько философских четверостиший:

Только ночью видишь ты Вселенную.
Тишина и темнота нужна,
Чтоб на эту встречу сокровенную.

Не закрыв лица, пришла она.

3 ноября 1962 года в день своего семидесяти пятилетия Маршак написал одно из самых лирических своих стихотворений:

Стояло море над балконом,
Над перекладиной перил,
Сливаясь с бледным небосклоном,
Что даль от нас загородил.

Зеленый край земли кудрявой
Кончался здесь — у синих вод,
У независимой державы,
Таящей все, что в ней живет.

И ласточек прибрежных стайки,
Кружась, не смели залетать
Туда, где стонущие чайки
Садились на морскую гладь.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов Маршак создал так много, что трудно себе представить, что сделать это мог один человек — тяжело больной, к тому времени потерявший в жизни многих близких и друзей. Может быть, этим и объясняются философские размышления, свойственные в ту пору Маршаку:

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука…

* * *

Мы принимаем все, что получаем.
За медную монету, а потом —
Порою поздно — пробу различаем
На ободке чеканно-золотом.

Создавать такие поэтические перлы на восьмом десятке лет удавалось немногим. Это была воистину вторая молодость. Не

случайно 22 апреля 1963 года Самуилу Яковлевичу была присуждена Ленинская премия в области литературы и искусства. Список кандидатов на эту премию был большой. А получили ее Чингиз Айтматов за «Повести гор и степей», Расул Гамзатов за книгу стихов «Высокие горы» и Самуил Маршак за книгу стихов для детей «Избранная лирика».

«Творчество выдающегося детского писателя, переводчика, критика, теоретика искусства С. Я. Маршака широко известно и получило всеобщее признание и любовь читателей всех возрастов, — писала „Правда“ 22 апреля того же года. — Лирика поэта — значительное явление в советской поэзии. Эти стихи совершенны по форме, афористичны. Простота и ясность стиля в них сочетаются с прекрасной тонкостью стиха, с высокой и точной образностью. В этих стихах мы видим широту взгляда на жизнь, глубокую веру в силу народа, жизнерадостность и человечность…»

…В тот же день, 22 апреля 1963 года, газета «Правда» предоставила слово лауреатам Ленинской премии. Вот что написал Маршак:

«У Тютчева есть такие строки:

Как грустно полусонной тенью
С изнеможением в кости
Навстречу солнцу и движенью
За новым пламенем брести.

Писатели моего поколения не чувствуют этой глубокой стариковской грусти. Они не плетутся „полусонной тенью“ за новым племенем, а вместе с ним идут „навстречу солнцу и движенью“. И, может быть, высшая радость людей моего возраста состоит в том, что голоса их находят живой отклик в сердцах людей нынешнего дня и даже завтрашнего, — то есть у наших детей.

Меня глубоко трогает, что почетнейшая из премий, носящая имя Ленина, присуждена мне за книгу лирики, в которую я вложил свои заветные чувства и мысли, и за книги, написанные мною для детей.

Я был очень обрадован, увидев в списке лауреатов Ленинской премии этого года рядом с моим именем имя чудесного дагестанского поэта Расула Гамзатова. По своему возрасту он мог бы быть мне сыном, но мы вместе, рядом, бок о бок идем „навстречу солнцу и движенью“, навстречу светлому будущему нашего народа, и всего человечества».

Вскоре после получения Ленинской премии Маршак

возвращается в Крым и вновь с головой уходит в работу. По-прежнему не оставляет без внимания ни одного из своих корреспондентов. Представляет интерес его письмо В. С. Матафонову от 7 мая 1963 года, аспиранту Ленинградского института имени Репина, работавшему над диссертацией «Книжная графика и эстетическое воспитание детей»: «Уважаемый Владимир Степанович, нездоровье мешает мне ответить на Ваши вопросы подробно. Могу только сказать Вам, что лучшими нашими художниками — создателями советской книги для детей я считаю Лебедева и Конашевича. Рисунки Сесиля Олдина я взял для моей книги „Детки в клетке“ из английского издания. А когда мне довелось встретиться с Евгением Чарушиным, который так замечательно рисует звериный детский сад, я решил заменить его рисунками отличные, но несколько старомодные рисунки Олдина.

В работе с Лебедевым инициатива исходила то от меня, то от него.

В книгах „Цирк“, „Мы — военные“ я писал стихи как подписи к лебедевским рисункам.

В книгах „Багаж“, „Сказка о глупом мышонке“, „Мистер Твистер“, „Круглый год“, „Разноцветная книга“, „Тихая сказка“ стихи предшествовали рисункам.

Вот и все, что я могу сообщить Вам».

В 1963 году Маршак написал стихи-воспоминания о жизни на Майдане:

Все мне детство дарило,
Чем богат этот свет:
Ласку матери милой
И отцовский совет,

Ночь в серебряных звездах.
Летний день золотой
И живительный воздух
В сотни верст высотой.

Все вокруг было ново:
Дом и двор, где я рос,
И то первое слово,
Что я вслух произнес.

Пусть же трудно и ново
И свежо, как оно,
Будет каждое слово,

Что сказать мне дано.

30 мая 1963 года он пишет внуку Якову: «Мы оба очень заняты и поэтому встречаемся редко». В этой связи любящий дедушка, прочитав сокровенные мысли внука о некоторых неудачах, постигших его в школе, так как, по мнению самого Якова, он «не был собой, а играл какую-то роль», дает внуку ряд очень важных педагогических советов: «…Я верю в твои способности и в твои силы… Главное зависит от умения умно и рационально распределять свое время и работать не порывами, а спокойно и систематически…» Трудности Якова в школе были вызваны тем, что учителя не всегда пытались понять его. Кто знает, может быть, под влиянием письма от Якова (во всяком случае, по времени совпадает) появилась знаменитая лирическая эпиграмма Маршака:

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет.

Воспоминания о работе в Ленинграде, в «цехе детской советской литературы», жили в Маршаке постоянно. В конце 1963 года он пишет литературоведу А. В. Македонову, писавшему в то время книгу о Заболоцком: «Вы совершенно правильно набрели на те влияния, которые оказывали на Заболоцкого близкие к нему поэты.

А что касается меня, то я убежден, что детская литература и ленинградская редакция оказали оздоровляющее влияние на Хармса, Введенского, а через них и непосредственно — на Заболоцкого. В свое время я привлек эту группу поэтов, изощрявшихся в формальных — а скорей даже иронически-пародийных — исканиях. Самое большее, чего я мог ждать от них вначале — это участия в создании тех перевертышей, скороговорок, припевов, которые так нужны в детской поэзии. Но все они оказались способными на гораздо большее.

Особенно мне жаль Хармса, человека с абсолютным вкусом и слухом и с какой-то — может быть, подсознательной — классической основой…» Почему так часто возвращается к прошлому Маршак? Дело, наверное, не только в возрасте. Впрочем, он ответил на этот вопрос примерно в те же дни, когда писал письмо Македонову:

Мелькнув, уходят в прошлое мгновенья.
Какого бы ты счастья ни достиг,
Ты прошлому отдашь без промедленья
Еще живой и неостывший миг.

«НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ТИШИНЫ…»

Вот одно из последних стихотворений Самуила Яковлевича Маршака, прочитанное им, как сообщает Иммануэль Самойлович Маршак, за несколько дней до смерти:

Все те, кто дышит на земле,
При всем их самомнении —
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рождения.
Но для чего страдать должны
Все эти отражения?

И неужели только сон —
Все эти краски, звуки,
И грохот миллионов тонн,
И стон предсмертной муки?..

Эти стихи могли бы послужить эпиграфом для последней главы книги о жизни Маршака. Как все высокие таланты, он, разумеется, размышлял и о жизни, и о смерти. И конечно же чувствовал приближающуюся смерть, но работал, «как будто жить рассчитывает вечно».

Конец весны — начало лета 1964 года. Здоровье Маршака опасений не вызывало. Но вечером 16 июня началось очередное воспаление легких. Уговоры лечь в больницу в течение десяти дней результатов не дали. «Я должен быть в Стратфорде. Я выздоровею окончательно, побывав в этом городе Шекспира» — так или примерно так говорил он всем: и Иммануэлю Самойловичу, и Иосифу Абрамовичу Кассирскому — другу и врачу, — и почти уже незрячий пытался вернуться к своей статье о Шекспире, к работе над которой приступил 12 января 1964 года.

Плохое состояние здоровья не явилось причиной не отвечать

на письма. Одно из последних писем, прочитанных Маршаком, было от Елены Иосифовны Андрушкевич, цыганки из Владимирской области, собирательницы цыганского фольклора, создавшей в 1942 году цыганский ансамбль в селении Хвойная Ленинградской области. Прибыло оно в начале мая 1964 года. Самуил Яковлевич очень обрадовался ему и продиктовал ответ Розалии Ивановне: «…Я рад тому, что мои стихи о цыганах дошли до сердца цыганки. Буду благодарен, если Вы пришлете написанную Вами музыку. Лучше всего магнитофонную запись. Только укажите, с какой скоростью Ваша музыка записана.

Если не трудно, напишите мне, что Вы помните о таборе и о цыганах „Яра“.

Шлю Вам свой искренний привет.

С. Маршак».

Австралийский писатель Алан Маршалл, автор повести «Я умею прыгать через лужи», полюбивший книгу «В начале жизни» и мечтавший перевести ее на английский, побывал у Маршака 17 июня 1964 года. «Я не намеревался писать историю своего детства: я пытался рассказать, что такое детство вообще», — говорил ему Самуил Яковлевич. Вот фрагменты рассказа Маршалла об этой встрече: «Маршак сидел за рабочим столом, среди книг и других сокровищ культуры, присланных ему из других стран. Он сидел словно охваченный их объятиями — объятиями мудрости и знаний. И я подумал: мудрость и знания должны сами тянуться к нему, как достойному их хранителю. Ведь вся сложность и значимость мира бесплодны, пока не раскроет их человек, обладающий этими высокими качествами. А Маршак одарял мудростью своих читателей, всех, кто его знал…

Взглянув в глаза Маршака, я увидел глаза ребенка, хотя в них светилась и мудрость, которая приходит лишь с опытом долгой жизни. Жизни, которая не озлобила его, не разрушила веру в Человека…»

27 июня, когда здоровье его несколько улучшилось, Самуил Яковлевич согласился лечь в больницу, чтобы после окончательного выздоровления сделать операцию по удалению катаракты. Уж очень хотелось ему в день четырехсотой годовщины со дня рождения Шекспира быть в его доме и конечно же зрячим. Из воспоминаний Иммануэля Самойловича: «В больнице наступило ухудшение, он еще больше ослабел. Но даже 3 июля, за день до смерти, лежа в постели, почти весь день правил корректуру „Умных вещей“, присланную из журнала „Юность“. Ему в этом помогала (читала текст, объясняла, как он набран) технический редактор Валентина Семеновна Гриненко, профессионализму и тщательности которой он абсолютно

доверял.

Закончив работу над корректурой, он продиктовал Валентине Семеновне свое последнее письмо — к белгородским школьникам. Вот текст этого письма, которое я отправил ребятам белгородской школы № 16 уже после похорон Самуила Яковлевича:

[3.7.1964, Москва,

Кунцевская больница]

„Дорогие ребята,

ваше письмо получено во время тяжелой болезни Самуила Яковлевича. Сейчас он находится в больнице.

Он был рад хорошим вестям от вас и обещал написать, как только немного поправится.

Самуил Яковлевич просит передать привет вам всем, вашей учительнице Софье Ивановне, а маленького героя Володю просит крепко обнять и расцеловать“».

Случилось так, что «Умные вещи» оказались последней работой Самуила Яковлевича Маршака. Редакция «Юности» во главе с главным редактором Борисом Полевым, вопреки существующим в журнале обычаям — не печатать пьесы и сценарии, решила опубликовать эту пьесу. Из воспоминаний Бориса Полевого: «Вот Самуил Яковлевич у себя дома за обеденным столом читает свое самое последнее произведение — пьесу „Умные вещи“. Среди других приглашенных и мы, как он нас называл, юниоры, то есть работники „Юности“ — Леопольд Железнов и я. Читает, слушаем. Чай, лимон, сушки, больше ничего. Бодро звучит хрипловатый, напористый голос. Умные вещи! Вещь, изделие рук человеческих, воплощение мастерства. Тема! Но не темой, а каким-то особым внутренним, глубоко прочувствованным сказочным миром пленяет всех эта последняя пьеса. И персонажи-то вроде традиционные. И глуповатый царь, и вздорная царица, и тупой придворный, и умные портные. И все-таки все новое. Маршаковское. Согретое маршаковским юмором. Напечатай без подписи, все узнают автора. Берем!

Вопреки традиции „Юности“ не печатать пьес и киносценариев, берем. Старик доволен. Мы тоже. Яростно пьем чай. Грызем сушки. Даже по такому случаю Самуилу Яковлевичу дома не дают поблажки.

И вот последняя страница, как бы завершающая для меня портрет этого удивительного писателя. Лето. Пьеса „Умные вещи“ публикуется в журнале. Мы уже все знаем, автор тяжело болен, лишился зрения, дни его сочтены. Его не разрешают беспокоить посещением. И, несмотря на это, он требует, именно требует, гневно требует листки верстки. Посылаем, разумеется, так, для

вежливости. До рукописи ли человеку, когда врачи ведут борьбу за каждую минуту его жизни?

И вдруг мне на дачу в Болшево звонок — женский голос:

„С вами хочет говорить Самуил Яковлевич“.

Зная его состояние, я, признаюсь, подумал: скверный розыгрыш. Сразу же приходит на ум один наш общий знакомый, который умеет отлично его изображать. Я уже готов соответственно отреагировать на эту, как мне кажется, неуместную шутку, а в трубке уже слышится:

— Бога ради, простите… Я, голубчик, беспокою вас на отдыхе. Ведь да? Ну вот, видите!.. Я насчет верстки. Мне ее прочитали. Извините, но вот беспокою вас, надо внести некоторые поправки. Да-да, очень существенные поправки. Так что, голубчик мой, примите их по телефону.

Все, все знаю. И то, как он болел. И то, сколько ему осталось жить. Неужели это действительно звонит он? Нет, конечно же розыгрыш. И я говорю как можно суше и бюрократичнее:

— Не понимаю, о каких поправках речь.

И тут я слышу то, что сразу убеждает меня, что это не мистификация, что я говорю с настоящим Маршаком, с поэтом, находящимся при смерти.

— Голубчик мой, вы, наверное, слышали, что я ослеп. Ничего не вижу. Но гранки мне прочли. Поверьте, там есть серьезные огрехи. Нет-нет, не ваши, а мои огрехи… Гранки перед вами? Найдите страничку такую-то. Нашли? Реплика царя. Разве царь может так говорить? Возьмите карандашик, я вам продиктую поправку.

Мне становится страшно:

— Самуил Яковлевич, я к вам заеду. Журнал потерпит.

— Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. У нас миллионы читателей, им надо вовремя доставлять журнал. Записывайте. — Это звучит уже как приказ…

С облегчением положил на рычаг трубку: значит, все не так страшно. Но уже на следующий день слушали мы сообщение о кончине Самуила Яковлевича Маршака».

В журнале «Юность», членом редколлегии которого Маршак состоял до конца жизни, пьеса была напечатана вместе с некрологом. В нем были такие слова: «Маршак всегда совершенствовал свои произведения, пока это было возможно… Он умер, как боец, не выпуская из рук своего оружия». Спектакль же по пьесе был впервые поставлен Государственным академическим Малым театром Союза ССР в 1965 году. Режиссером-постановщиком стал давний друг Маршака Евгений Рубенович Симонов. Однажды он сказал мне: «Над этой пьесой я

работал с такой же охотой, как когда-то отец над „Принцессой Турандот“. Все говорят о Маршаке как о большом поэте, гениальном переводчике. Мне кажется, что в драматургии он был не менее талантлив, чем в других видах литературы».

Итак, вечером 3 июля 1964 года Маршак, продиктовав письмо школьникам из Белгорода, продолжил работать с Валентиной Семеновной. Он напомнил ей, чтобы она завтра принесла рукопись лирических эпиграмм. В тот же вечер, ближе к ночи, он позвонил по телефону сыну: «Я чувствую себя немного лучше. Спокойной ночи, мой мальчик» — это были последние слова отца, услышанные Иммануэлем Самойловичем. На следующее утро Иммануэлю Самойловичу на работу позвонил врач и попросил его немедленно приехать. «Когда сломя голову я примчался в больницу, он лежал под кислородной палаткой, судорожно глотая воздух.

— Кто это? — спросил он, ничего не видя. — Дай руку.

Через несколько часов его не стало».

Незадолго до этого он написал такие стихи:

И час настал. И смерть пришла, как дело,
Пришла не в романтических мечтах,
А как-то просто сердцем завладела,
В нем заглушив страдание и страх.

«В последние дни он был каким-то особенно ясным и просветленным, трепетным, как натянутая струна, — вспоминает Иммануэль Самойлович. — Моя жена, Мария Андреевна Маршак, первого и второго июля навещала его вместе с приехавшей из-за границы, чтобы повидаться с Самуилом Яковлевичем, его племянницей — художницей Авиталь Сагалиной-Шварц, дочерью его сестры, Сусанны Яковлевны. Во время этих посещений он подробно рассказывал о всей своей жизни, о множестве встреченных им людей, говорил о своем отношении к искусству, прочитал на память много стихов. Жена сделала на клочке бумаги беглые записи этих бесед, которые позже мы с ней постарались привести в порядок. Возможно, что нам не удалось восстановить последовательность того, о чем тогда говорилось. Кое-что было упущено. Привожу основную часть этих записей.

…Второго июля Самуил Яковлевич сразу начал говорить об искусстве. Первые его слова были:

— Ну, вот что, слушай меня, — как будто он перед этим готовился к беседе.

Усадив Авиталь около своей кровати и взяв ее за руку („Твое прикосновение — такое легкое“, — сказал отец по-английски), он

начал:

— Я всегда считал, что искусство состоит из единства трех основных факторов: мысли, чувства и воли. Очень важно сохранить свою волю, детскую. В детстве мы себя чувствуем как „воля“. Как-то мой маленький брат, Люся, тонул. А старший брат (находившийся на берегу) тоже не умел плавать. Он закричал: „Плыви, негодяй, плыви, мерзавец!“ — и тот почувствовал, что у него есть сила. Своей волей старший брат заставил младшего плыть, спастись.

— Лень — это аморфность, противоположность воле. Все механическое — это смерть…

В театре часто аплодируют не игре актера, а благородным поступкам. А в жизни — не умеют. („В театре жизни видел он не сцену, а лысины сидящих перед ним“.)

— „Лирические эпиграммы“, — добавил он, — это мое завещание».

Вот две эпиграммы-«завещания» Маршака:

Пускай бегут и после нас,
Сменяясь, век за веком, —
Мир умирает каждый раз
С умершим человеком…

* * *

Не погрузится мир без нас
В былое, как потемки.
В нем будет вечное сейчас,
Пока живут потомки…

В последний путь Маршака провожали с самыми высокими почестями, таких удостаиваются немногие. Средства массовой информации распространили сообщение от Совета министров СССР:

«Совет министров СССР с глубоким прискорбием извещает, что 4 июля 1964 года, после тяжелой, продолжительной болезни скончался выдающийся советский поэт, лауреат Ленинской премии Маршак Самуил Яковлевич».

7 июля 1964 года в «Литературной газете» выступил Сергей Владимирович Михалков: «Советский народ потерял сегодня не только крупнейшего представителя нашей литературы, культуры, но и мудрого наставника нескольких поколений строителей

нового общества, замечательного, верного друга миллионов детей всех национальностей. С. Я. Маршак был учителем многих, ставших ныне известными, поэтов разных поколений. Основоположник великой советской литературы для детей, он заложил основы той сокровищницы, которую мы призваны неустанно пополнять. Самуил Маршак — символ всего умного, жизнерадостного, оптимистического в нашей литературе…

Со смертью Самуила Яковлевича Маршака опустел капитанский мостик большого корабля советской детской литературы… Но корабль будет уверенно продолжать свой путь по солнечному курсу, будет по-прежнему открывать для наших детей чудесные архипелаги Новых стихов, Новых повестей, Новых сказок…

И это будет лучшей памятью прославленному капитану той литературы, которая отвечает перед человечеством за будущее планеты".

Мы знали бойца — Маршака,
И вдруг его рядом не стало —
Упал знаменосец полка,
Но знамя полка не упало!

Бойцы продолжают поход,
На знамени солнце играет,
Маршак с нами рядом идет:
Поэзия не умирает!

А вот фрагменты из пронзительной статьи «Учитель, который знал все» Расула Гамзатова, напечатанной в той же газете: «Мы звоним вам по печальному поводу: умер Маршак — так сообщили мне из Москвы… Хожу, потрясенный известием: Маршак Самуил Яковлевич, мой дорогой, мой учитель!..

Давно, очень давно покинул я родной аул. Давно опустела моя сакля, и не горит там в отцовском камине огонь. Но каждый раз возвращался я туда — то навестить друзей детства, то похоронить близких или родственников. С каждым годом мне становилось грустнее и горше в доме, где я родился, потому что с каждым годом все больше редела моя родня, больше становилось надгробных камней над дорогими мне могилами, тоньше стали нити, связывающие меня с аулом…

Чем ближе к зиме, тем тише становятся речки и ручьи в горах, но совсем они не иссякают. Так не прерывались и струны моего сердца, они всегда звучали и звучат. И это потому, что на больших дорогах, куда забрасывала меня судьба, я встречал все

новых и новых друзей, людей со щедрым сердцем и высокими мыслями. Они дарили мне светлые волнения, своей красотой, умом, нежностью и мужеством воскрешали в памяти незабываемых аульчан. Они восхищали меня и спасали от разочарований.

Хорошая, крепкая родня появилась у меня и в Москве. Но с годами и в Москве стала редеть моя родня. Это я особенно сильно почувствовал сегодня, узнав, что умер Маршак, мой дорогой учитель.

Я его полюбил еще до того, как увидел впервые. А потом… Помню, как, будучи студентом Литературного института, я робко поднялся к нему, оставив свои калоши в парадном. Хоть и старался я тогда его слушать, но не слышал, а все смотрел на него, на его лицо. Чувство, которое испытал я в те часы, было чувством удивления, и оно никогда не покидало меня при встречах с поэтом. Читая или слушая Самуила Яковлевича, я всегда испытывал удивление, — как мальчишка, который заворожен могучими горскими пловцами. Около него те, кого я считал большими, становились маленькими. Казалось, что он прожил не десятилетия, а века. Казалось, он был свидетелем всех до единого событий, которые происходили на нашей земле еще задолго до его рождения.

Есть люди, в которых сочетаются восточная мудрость и западная культура. А в Маршаке это сочетание согревалось еще и его особой маршаковской мудростью и культурой. Наверно, поэтому мне порою казалось, что Маршак знает обо всем на свете…

Я не могу сравнивать Маршака ни с кем, кроме как с Маршаком, как и своего отца не могу сравнивать ни с кем, кроме как с отцом. Самуил Яковлевич не был похож на моего отца. Но каждый раз, будучи с ним, я вспоминал отца…

Потрясенный, брожу я по комнате… Мне кажется, что гроб с телом Маршака стоит в моей квартире, в моей сакле, во всех городах и селениях нашей страны, в далекой Шотландии.

Мне кажется, что все дети мира несут его гроб… Мне кажется, что у гроба вместе с нами стоят и Бёрнс, и Шекспир, и Гейне, и Гёте. И я, один из его многочисленных учеников, стою у гроба любимого поэта…»

Из Шотландии прилетел проводить в последний путь своего друга Эмрис Хьюз — видный общественный деятель, депутат парламента от городка Аллоуэй, где родился Бёрнс. «Конец старинной песни» — так назвал он свой некролог по Маршаку. Назвал не случайно — слова эти произнес шотландский лорд, тот самый, кто подписью своей скрепил печать договора,

положившего конец независимости Шотландии. То есть с потерей независимости ушли и старинные шотландские песни. Слова эти пришли на память Эмрису Хьюзу, когда он 9 июля 1964 года наблюдал за вереницей людей, проходящих мимо гроба Маршака. «Долгая и значительная жизнь Маршака закончилась. Это было „концом старинной песни“…»

«Вечером накануне похорон мне принесли несколько наших фотографий, сделанных в Ялте фотокорреспондентом Халипом, которого Маршак в шутку хотел утопить. На одной из них, снятой в доме Чехова, Маршак сидел за тем самым столом, за которым Чехов любил посидеть один в теплые утренние часы, обдумывая свои великие пьесы, и смотрел в чеховский сад…

И, провожая глазами людей, проходивших мимо, чтобы проститься с Маршаком, я постарался вообразить, что бы подумал он сам, если бы сидел со мною рядом. И мне пришло в голову, что он сказал бы:

— Все очень торжественно и значительно, и все здесь такие милые люди, так горько переживающие утрату. Но это причиняет слишком много боли. Для чего мы мучаем живых ради мертвых, если уж они мертвы? Мне трудно переносить эту обстановку. С останками следовало бы расставаться совсем по-другому. Давайте выйдем на солнце и свежий воздух и немножко покурим.

Неужели это тело в гробу — Маршак? Разве это в самом деле „конец старинной песни“?

Нет, сила, которая водила пером Шекспира, Бёрнса, Блейка, Толстого, Чехова, которая управляла рукой Маршака, не иссякла. Она жива. Вдохновение не умирает вместе с телом, оно бессмертно. Мелодия продолжает звучать.

Тело в гробу! Это не он! И я вспомнил фразу Рабиндраната Тагора, которую как-то процитировал мне Маршак:

„Когда старые слова замирают на губах, новые мелодии вырываются из сердца. И когда зарастают старые тропы, открываются новые величественные пути“. А еще я вспомнил одно из последних стихотворений Маршака":

Исчезнет мир в тот самый час,
Когда исчезну я,
Как он угас для ваших глаз,
Ушедшие друзья.

Не станет солнца и луны,
Поблекнут все цветы.
Не будет даже тишины,
Не станет темноты.

Нет, будет мир существовать,
И пусть меня в нем нет,
Но я успел весь мир обнять,
Все миллионы лет…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Попытка описать события недавнего прошлого, еще не ставшего историей, но уже унесенного ветрами времени, — дело рискованное, напоминающее хождение босыми ногами по еще неистлевшим угольям. А уж писать о судьбах людей, современники которых еще живы, — занятие, похожее на игру с огнем, но «Quod scripsi scripsi» — «Что написал, то написал».

Со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака минуло почти сто двадцать лет, но как много памятников, воздвигнутых за это время и, казалось бы, на века, рухнуло! Что поделаешь — история хладнокровна, а порой — насмешлива: имена многих правителей, распоряжавшихся по своему произволу судьбами тысяч людей, она сохранила лишь потому, что в пору своего владычества они пытались унизить, а иногда — уничтожить великих своих современников. Однако во все времена литература и искусство в большей или меньшей мере оказывали воздействие на самый ход истории. Тиранам, огнем и мечом покорявшим целые народы и страны, не удавалось господствовать над властителями умов, над теми, кто дарил людям огонь свободы.

Истинный художник возвышается не только над своей судьбой, но и над своим временем. Добровольно или по велению Бога взвалив на себя тяжелую ношу, он обречен идти навстречу испытаниям и мукам. Бальзак однажды сказал, что талант, гениальность — это болезнь («Высокая болезнь» — Пастернак), и каждый, награжденный или наказанный ею, «носит в своем сердце чудовище, которое пожирает все его чувства по мере того, как они зарождаются. Кто кого победит: болезнь человека или человек — болезнь». Такова цена служения музам, ибо искусство — ревниво и от подданных своих требует всей жизни или смерти…

По отношению к поэтам приговор этот особенно беспощаден и «обжалованию не подлежит», ибо, как утверждали древние, путь поэта пролегает через теснины — к вершинам, «через тернии — к звездам», через муки — к высшим целям.

О вы, кого манит успеха путь кремнистый,
В ком честолюбие зажгло огонь нечистый,
Вы не достигнете поэзии высот.
Не станет никогда поэтом стихоплет…

(Н. Буало, пер. Э. Липецкой)

Примечательно, что в Словаре иностранных слов (Москва, 1949 год) слово «поэт» определяется как стихотворец, создающий произведения в стихах. Едва ли составителям упомянутого словаря была известна мысль Горация о том, что «быть поэтом посредственным (не просто стихотворцем! — М. Г.) не позволят ни люди, ни книжные лавки». Однако во времена, когда «героем становится любой», а «каждую кухарку можно научить управлять государством», сделаться поэтом и «шагать с песней по жизни» — дело немудреное. И не надобно было для этого «позволения людей» — было бы разрешение богов (земных, разумеется), а уж поэтов они выбирали себе (или назначали) сами.

Тем же, кто не хотел «добровольно» служить земным богам, была уготована иная судьба — судьба Александра Блока, задохнувшегося от «свежего ветра» нового времени; судьба отвергнувших кровавую революцию и вдоволь настрадавшихся вдали от отчизны Ивана Бунина, Саши Черного, Владислава Ходасевича, Георгия Иванова; судьба погибших в застенках сталинского ГУЛАГа Осипа Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова; судьба претерпевших столько ударов и унижений Анны Ахматовой Бориса Пастернака, Иосифа Бродского. Те же, кто в течение десятилетий послушно занимался убогим ремеслом, получали за него не только деньги, но и звания, награды. И не задумывались они ни о «книжных лавках», ни, тем более, о том, что«…истребит Господь все уста лживые и язык велеречивый». А сколько «непризнанных» поэтов, так и не увидевших при жизни ни одной книги своих стихов, несли трагедию в сердце. А сколько «признанных», отмеченных при жизни всеми почестями, писали об умерших (по существу, погубленных) поэтах воспоминания, не забыв при этом причислить себя к их друзьям и доброжелателям. И только Время — единственный безапелляционный судья — выносит окончательный приговор: «Поэт или не поэт»…

* * *

Стихи Самуила Яковлевича Маршака читали и читают люди разных поколений, издаются они огромными тиражами и в наши дни. Имя его внесено во все издания Большой советской энциклопедии, в литературные энциклопедии разных лет, не говоря уже о справочных литературоведческих изданиях. Воспроизведу отрывки из статьи о Маршаке в первой советской Литературной энциклопедии: «Самуил Яковлевич Маршак — современный детский писатель. В печати выступил в 1907 году с

лирическими стихами и переводами… После октябрьского переворота был одним из организаторов первого детского театра в СССР… Работал в Ленинградском театре юного зрителя, совместно с Е. Васильевой издал сборник „Театр для детей“.

Первая детская книга — „Детки в клетке“ — была выпущена в 1923 году. Затем… переходит к разработке производственных тем („Почта“, „Как рубанок сделал рубанок“) и затем — к показу нашего социалистического строительства и борьбы человека со стихиями („Война с Днепром“, „Доска соревнований“)». И далее в той же статье (заметим: седьмой том Литературной энциклопедии был выпущен в 1934 году) отмечается, что автор придает особое значение лозунгу «Труд — дело чести, доблести, геройства». Сообщается, что Маршак «участвует и в работе художника над оформлением книги», а также «в течение многих лет состоит редактором и консультантом детского сектора ОГИЗа, а затем „Молодой гвардии“».

В 38-м томе первого издания Большой советской энциклопедии, выпущенном четырьмя годами позже 7-го тома Литературной энциклопедии, Маршак — уже советский писатель. Слово «детский» отсутствует. Революция, названная в ЛЭ «октябрьским переворотом», здесь именуется «Великой Октябрьской социалистической». «В течение многих лет вел большую работу как редактор детской литературы в издательстве „Молодая гвардия“, в детском секторе ОГИЗ и теперь в Детиздате ЦК ВЛКСМ. На 1-м Всесоюзном съезде советских писателей М[аршак] выступил с докладом о детской литературе… В „Мистере Твистере“ Маршак разрешает задачу интернациональной тематики (правда, при этом умалчивается, сколько раз он перерабатывал „Мистера Твистера“. — М. Г.). Маршак также немало сделал для создания юмористической книжки для детей („Багаж“, „Рассеянный“ и др.)».

Но в БСЭ, как и в ЛЭ, повторяется фраза: «Литературную деятельность начал в 1907 году». При всем уважении к редакторам вышеуказанных энциклопедий хочу сказать, что не могли они не знать, что первые и весьма интересные стихи, замеченные прессой и отмеченные самим В. В. Стасовым, появились в печати в 1904 году. «Искренне поздравляю тебя с первым напечатанным твоим стихотворением. Оно прекрасно» — это о стихотворении «20 Таммуза», опубликованном в шестом номере «Еврейского журнала».

* * *

В русской словесности XX века Самуил Яковлевич Маршак — явление особенное. О его творчестве написаны книги, исследования, диссертации, сотни статей. Среди писавших о Маршаке — Анна Ахматова и Корней Чуковский, Борис Шкловский и Валентин Катаев, Вера Смирнова и Бенедикт Сарнов, Валентин Берестов и Василий Субботин… Список этот, разумеется, можно продолжить. Суть в другом: поэт Маршак до сих пор по-настоящему литературоведами не изучен, а во многом — неведом не только читателям, но и литераторам.

Валентин Дмитриевич Берестов поведал мне: «Анна Андреевна Ахматова, прочитав в известном русско-еврейском журнале (речь идет об октябрьском номере „Еврейского мира“ за 1909 год) стихотворение „Книга Руфи“, в сердцах произнесла: „Кто знает, быть может, он станет первым поэтом России“. А позже говорила Маршаку, что без его „Книги Руфи“ не было бы ее „Лотовой жены“ и других стихов на библейскую тему. А спустя много лет… в беседе с Лидией Корнеевной Чуковской Анна Андреевна сказала: „Впервые я поняла, в чем сила этого человека: в неистовой одержимости искусством“».

Знал ли об этом уважаемый литератор Бенедикт Михайлович Сарнов, утверждавший в своей монографии о Маршаке, изданной в 1966 году: «Однако самобытным художником, тем Маршаком, каким мы его знаем, он стал только в советское время»? Думаю, Бенедикт Михайлович не прав — немало хороших стихов Маршака (вот уж где «настоящий Маршак»!) до сих пор неизвестны или мало известны читателям. Даже Александр Трифонович Твардовский — друг Маршака, один из любимых его поэтов — ошибался, говоря, что Маршак «начал свой путь советского писателя зрелым человеком, прошедшим долгие годы литературной выучки, не оставив, однако, за собой значительных следов в дооктябрьской литературе. Ему вообще не было нужды на глазах читателя что-то в своем прошлом пересматривать, от чего-то отказываться…» А как же цикл стихов «Сионiды», «Палестина»? Да и многие другие стихи, написанные под впечатлением путешествия на Ближний Восток в 1911 году.

Давно скитаюсь, в пылкой радости
И в тихой скорби одинок.
Теперь узнал я полный сладости
И верный древности Восток.

И навсегда — в одном из плаваний —
Я у себя запечатлел,
Как бездна звезд мерцала в гавани

И полумесяц пламенел.

Мне нравилось от борта темного
К огням прибрежным плыть в челне,
В пустыне города огромного
Бродить всю ночь, как бы во сне.

У трапа лодочники властные,
Шумя, сдвигали челноки.
Мелькали греческие красные,
Как у пиратов, кушаки.

А вот писатель более позднего поколения, Юрий Карабчиевский, намеренно оскорбил не только значимость творчества, но и память о Маршаке: «Человек этот, написавший кучу страниц, слывший мэтром не только официально, но и среди приличных и одаренных людей, не написал ни одного живого слова. Он ни разу не вскрикнул, не заплакал, не выругался — ни в переводах, ни в оригинальных стихах. Читать его — утомительнейшее занятие…

…Безоговорочная лояльность Маршака в самые разные времена… — это не только простительная трусость, но главным образом просто характер… Вписываться было у него в крови, мягко, беззубо, бесчувственно укладываться в любую готовую форму…» (Новый мир. 1993. № 10). Эти слова Карабчиевского подхватили современные литературоведческие нувориши и муссируют их в периодической печати… В газете «Московские новости» я прочел: «50 лет назад был создан первый полный перевод на русский язык „Приключений Чиполлино“, написанных Джанни Родари (1920–1980) в 1951 году. Сказку перевела Злата Потапова, редактором перевода был Самуил Маршак. Есть мнение, что редакторская работа Маршака превратилась в его собственный пересказ, впрочем, не исключено, что трусоватый Самуил Яковлевич, известный своей „безоговорочной лояльностью“ (Ю. Карабчиевский), мог ослабить политические намеки… подбавить бодрости и исторического оптимизма, для чего и был назначен редактором. Потом детская книга о классовой борьбе Лука с Лимоном и Помидором издавалась в СССР бессчетное число раз». Это действительно так. Но работа над переводами стихов Джанни Родари для Маршака не была случайностью. Итальянский язык Маршак выучил благодаря Ахматовой, «чтобы прочесть божественную „Божественную комедию“ в оригинале». Уже много лет спустя знания

итальянского пригодились ему, когда он переводил Родари:

У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.

Мимо столярной
Идешь мастерской —
Стружкою пахнет
И свежей доской…

Пахнет кондитер
Орехом мускатным.
Доктор в халате —
Лекарством приятным…

Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье
Не пахнет никак.

Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята!

Маршак написал небольшое эссе «Почему я переводил Родари»: «Отрадно отметить, что ритмом народной детской песни проникнуты и стихи для детей в современной демократической поэзии Запада.

Таковы, например, стихи молодого итальянского поэта Джанни (Джованни) Родари, хорошо знакомые юным читателям его страны. Многие стихотворения Родари написаны по просьбе, по заказу читателя-ребенка». Чего стоят после этих слов рассуждения и философствования людей о временах, им совсем неведомых. Хорошо бы им помнить слова Анны Ахматовой: «Кто не жил в эпоху террора — этого никогда не поймет».

С. Я. Маршак не нуждается в адвокатской защите. И все же напомню слова Твардовского: «Ученик и воспитанник великого Горького, Маршак сам сделал свою эту судьбу. Неустанным трудом он развил свой поэтический дар, обогатил его обширнейшей образованностью, знанием высших ценностей литературы, искусства».

Споры вокруг творчества Маршака, возникшие еще при его жизни, продолжаются и сегодня. Пророческой оказалась эпиграмма Маршака, написанная незадолго до смерти:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

Думаю, что настоящая книга стихов Маршака (та самая «недописанная страница») — впереди. В ней найдется место не только для широко известных его произведений, ставших хрестоматийными, но и для его стихов, полузабытых или «забытых» вовсе. И это будет последняя страница поэтического наследия Поэта, имевшего право написать:

Я думал, чувствовал, я жил.
И все, что мог, постиг.
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Шмуэль Эдельс (Махаршак) — предок С. Я. Маршака, знаменитый раввин XVII века.

Острогожск. Конец XIX в.

Яков Миронович Маршак — отец поэта.

Евгения Борисовна Маршак (урожденная Гиттельсон) — мать поэта.

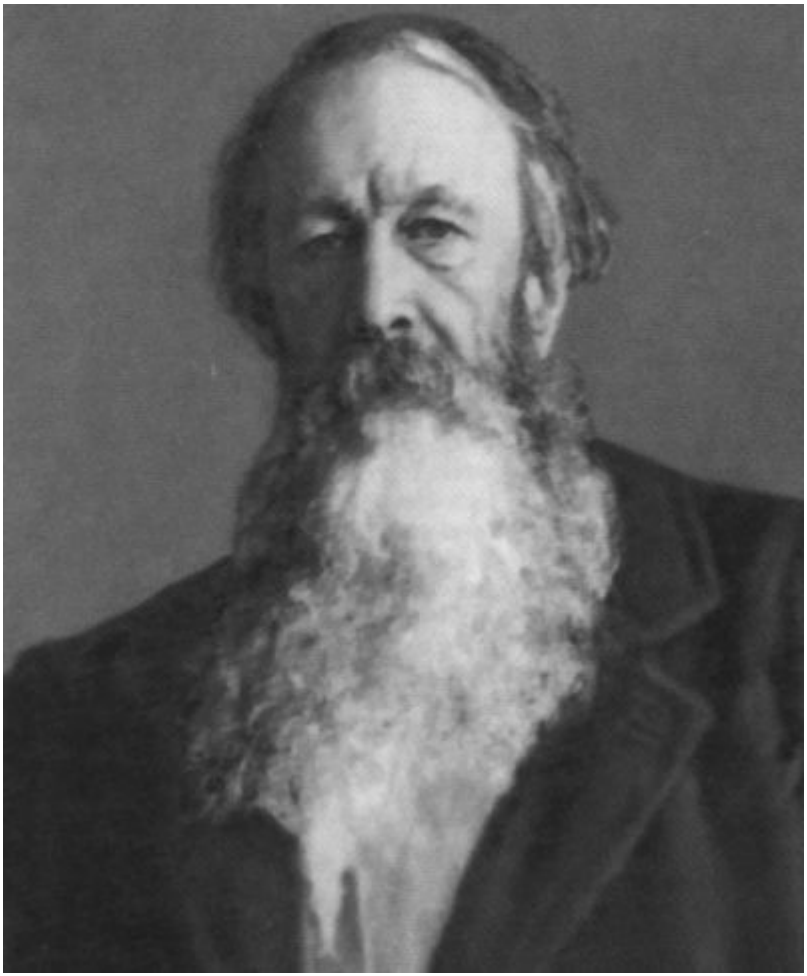
Борух Гиттельсон — дед Маршака.

Самуилу Маршаку два года.

Самуил с одноклассником.

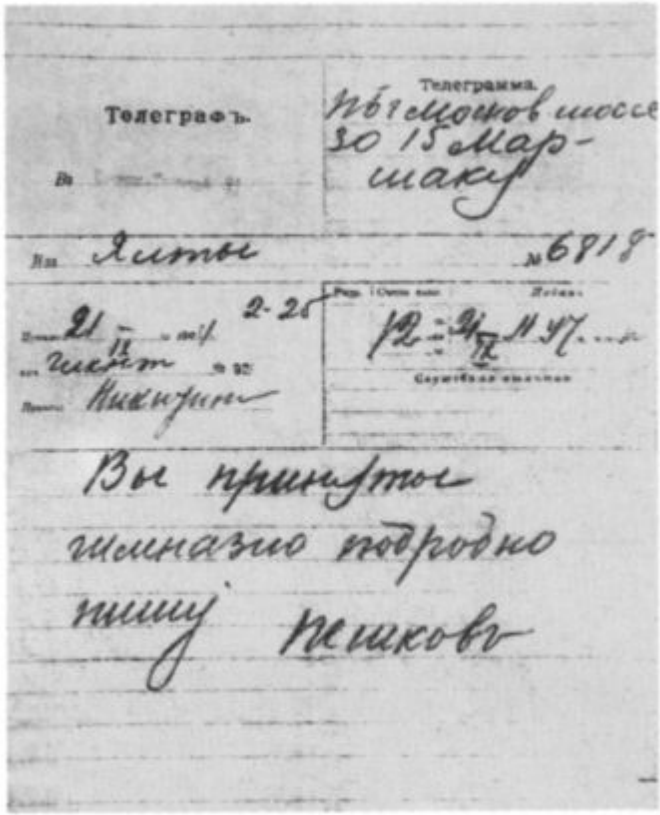
Острогожская мужская гимназия, в которой учились Моисей и Самуил Маршаки.

Моисей и Самуил — гимназисты.



Владимир Владимирович Стасов.

На даче у В. В. Стасова. Справа от Владимира Владимировича — Самуил Маршак и скульптор И. Я. Гинцбург.



Телеграфъ.

Телеграмма.

Ялты

№6818

Вы приняты гимназию подробно пишу Пешков

Телеграмма М. Горького, адресованная юному Маршаку.

Ялтинская мужская гимназия, в которой учился Самуил Маршак с 1904 по 1906 год.

Александр Блок.

Хаим Нахман Бялик.

Саша Черный.

Яков Годин.

Самуил Маршак и Софья Мильвидская во время путешествия в Палестину. 1911 г.

Софья Мильвидская — невеста Маршака. Иерусалим, 1911 г.

Родня: Маршаки и Гиттельсоны. 1912 г.

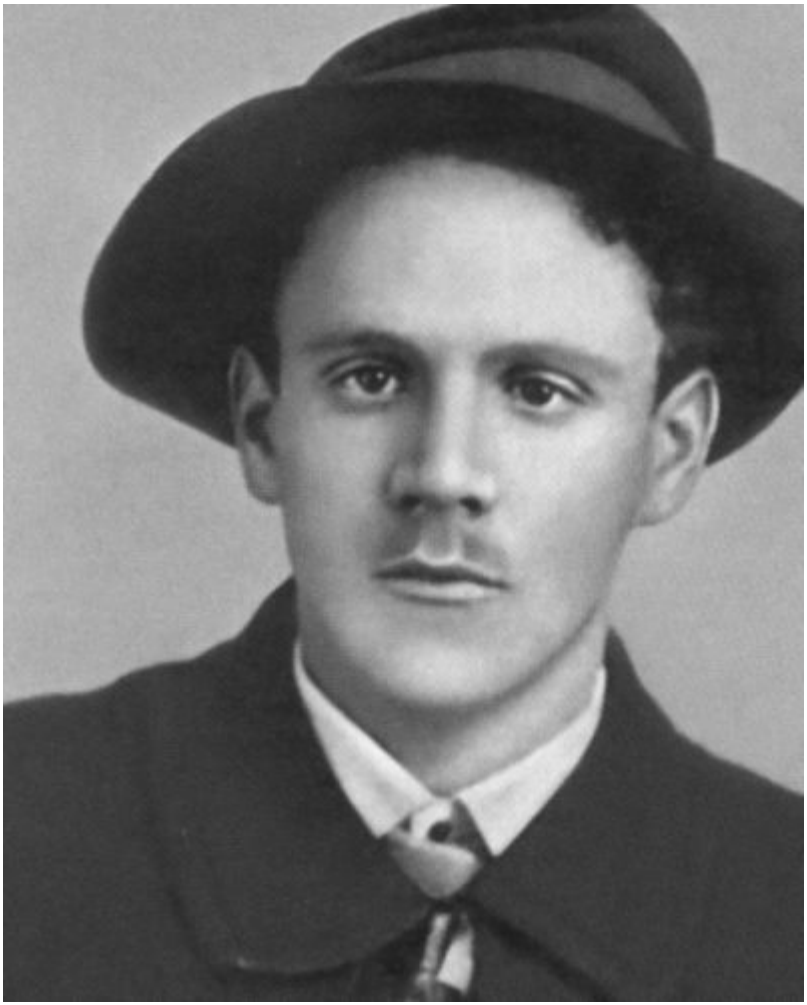
Самуил Маршак с женой и сестрой Сусанной в Англии. 1913 г.

Гостиница «Уайт Харт» в Эппинг-Тауне, в которой останавливался Самуил Маршак во время своего первого путешествия по Англии в декабре 1912 года.

Самуил Маршак с отцом в Англии. 1913 г.

Семья Маршаков. 1913 г.

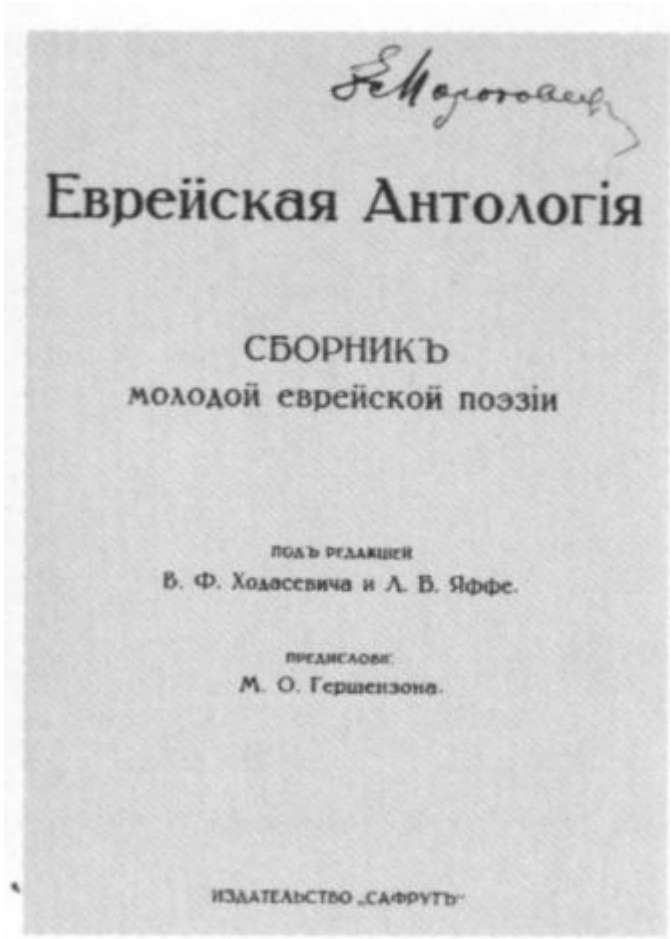
Справа налево: Самуил Яковлевич, Софья Михайловна, их дочь Натанель и Сусанна Яковлевна Маршак.



Самуил Яковлевич.

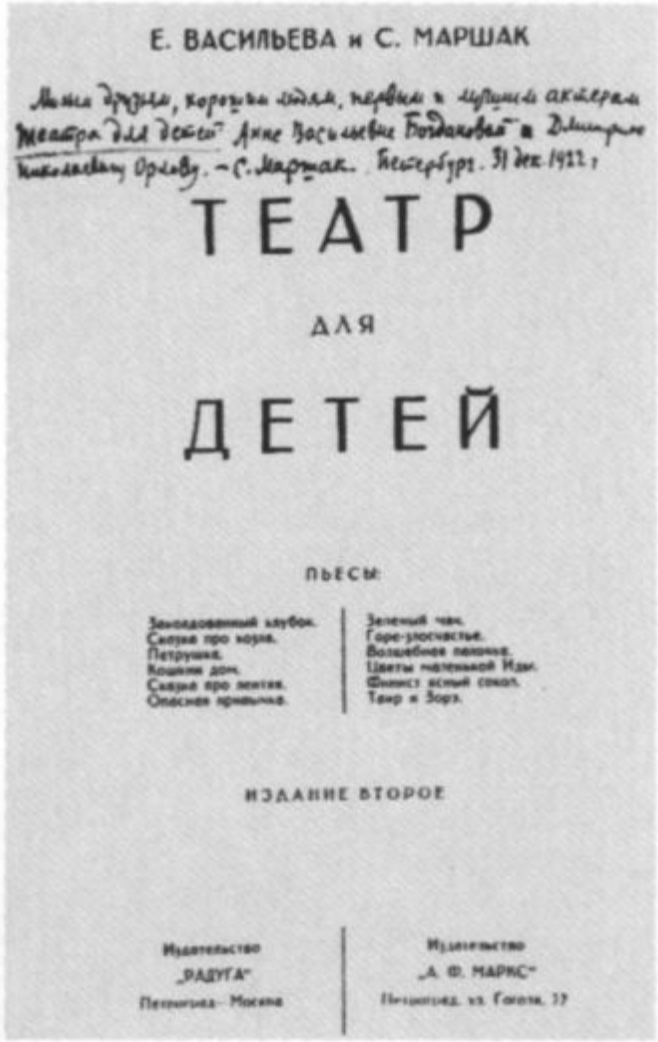
Софья Михайловна Маршак.

Л. Б. Яффе.



Поэтический сборник, в котором принимал участие молодой С. Маршак.

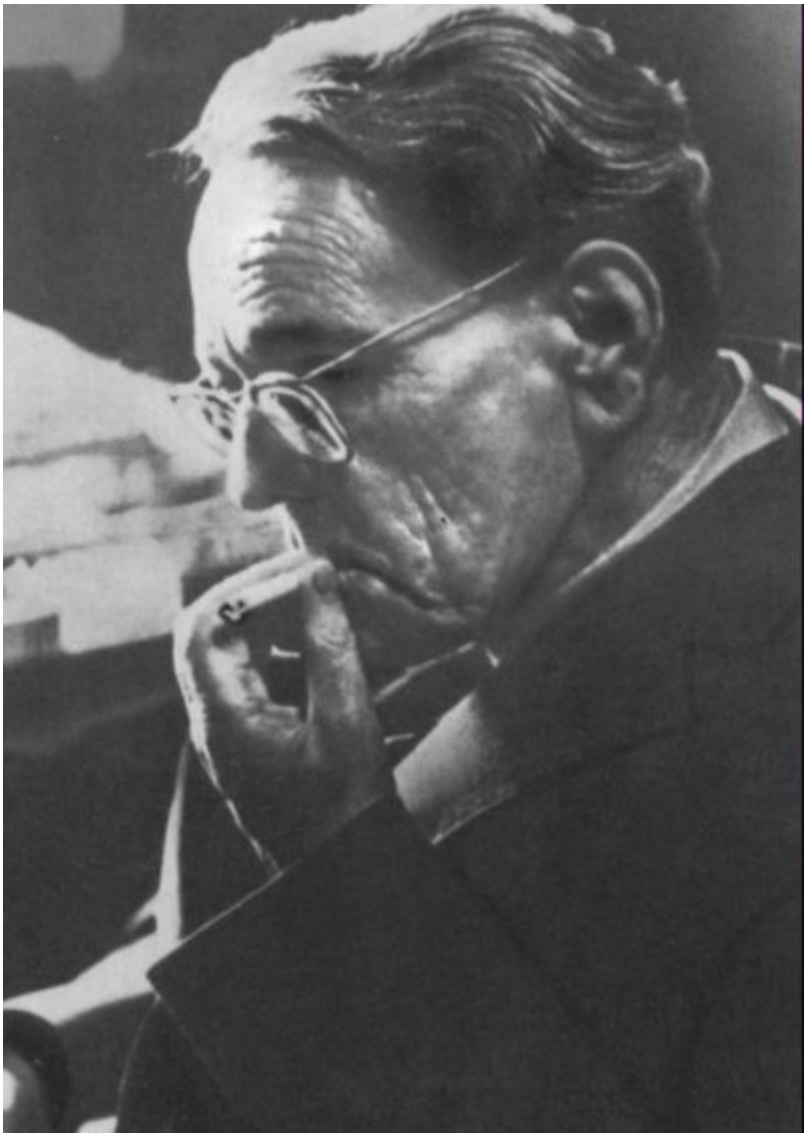
Журнал, издававшийся С. Маршаком.



Сборник пьес для детей, написанных совместно С. Маршаком и Е. Васильевой.

С. Я. Маршак и художник-иллюстратор В. В. Лебедев.

В редакции детской литературы Ленинградского отделения Госиздата: И. М. Олейников, В. В. Лебедев, З. И. Лилина, С. Я. Маршак, Е. Л. Шварц, Б. С. Житков. Конец 1920-х гг.



Самуил Яковлевич Маршак.

Е. И. Васильева (урожденная Дмитриева, литературный псевдоним — Черубина де Габриак).

Т. Г. Габбе.

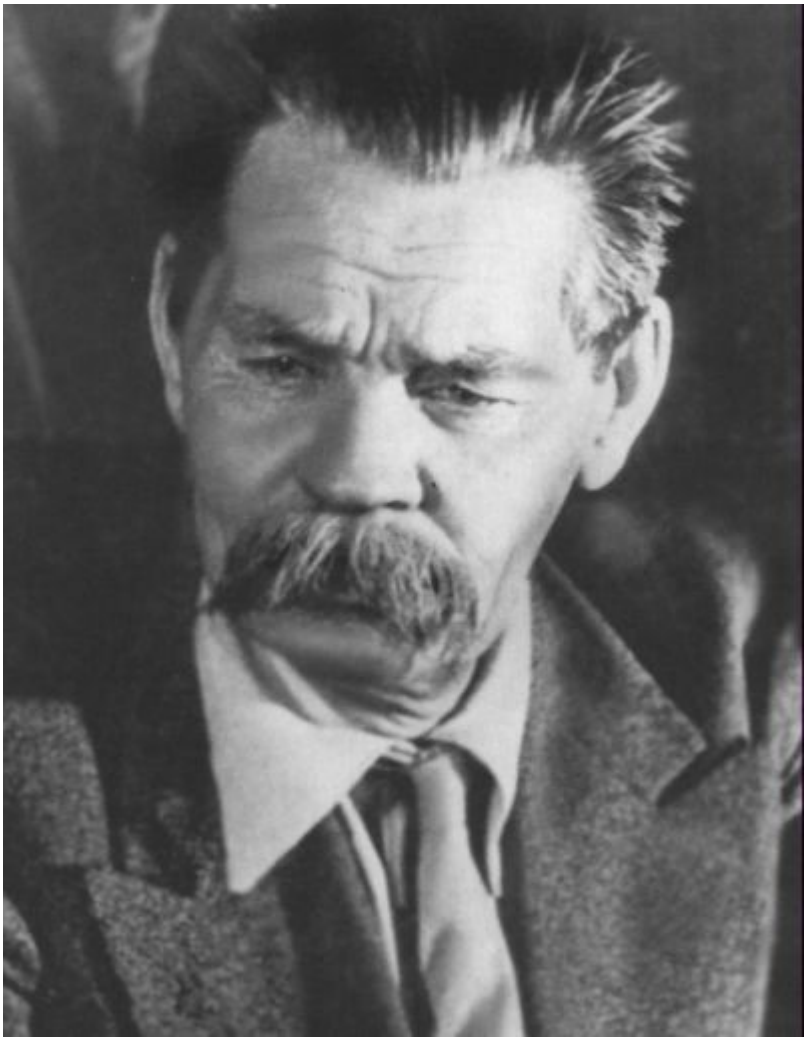
С. Я. Маршак среди сотрудников Лениздата.

Даниил Хармс.

Самуил Яковлевич с сыном Иммануэлем (слева) и писателем Леонидом Пантелеевым (справа). Конец 1920-хгг.

С Л. М. Квитко. 1939 г.

С. В. Михалков, М. Ильин (И. Я. Маршак), С. Я. Маршак, А. Л. Барто, М. И. Калинин, А. Н. Толстой, М. И. Анигер, К. М. Симонов и Е. А. Долматовский после вручения орденов в Кремле. Март 1939 г.



Максим Горький.

С. Я. Маршак с младшим сыном Яковом на улице Чкалова в Москве. Лето 1944 г.

Школьники в гостях у Самуила Яковлевича (на руках у поэта внук Алеша). Москва, 1939 г.

А. А. Елистратова, М. Р. Хьюз и С. Я. Маршак в аэропорту г. Глазго. Январь 1945 г.

С. Я. Маршак, П. П. Кончаловский, С. М. Михоэлс. 1946 г.

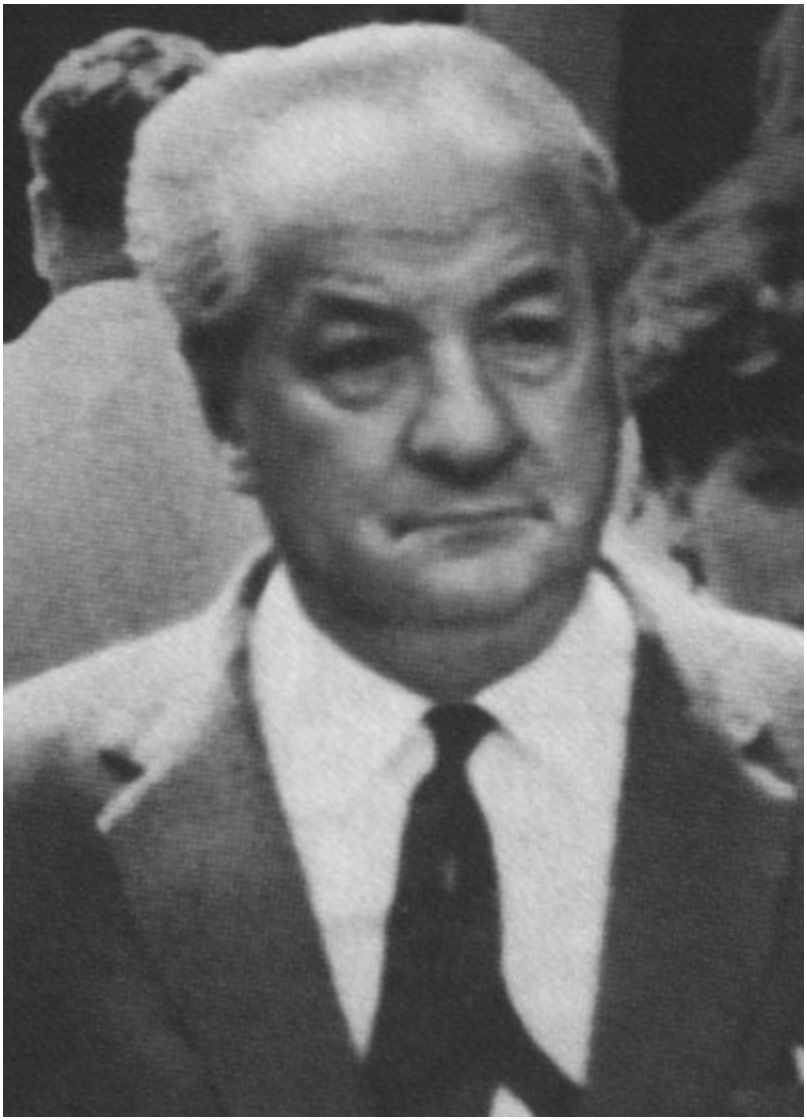
Члены Президиума ЕАК: С. Я. Маршак, П. Д. Маркиш, Д. Р. Бергельсон.

М. В. Исаковский, С. Я. Маршак, А. Т. Твардовский. Конец 1940-х гг.

Самуил Яковлевич на своем юбилее в 1947 году.

С сыном Иммануэлем. 1947 г.

Александр Фадеев.

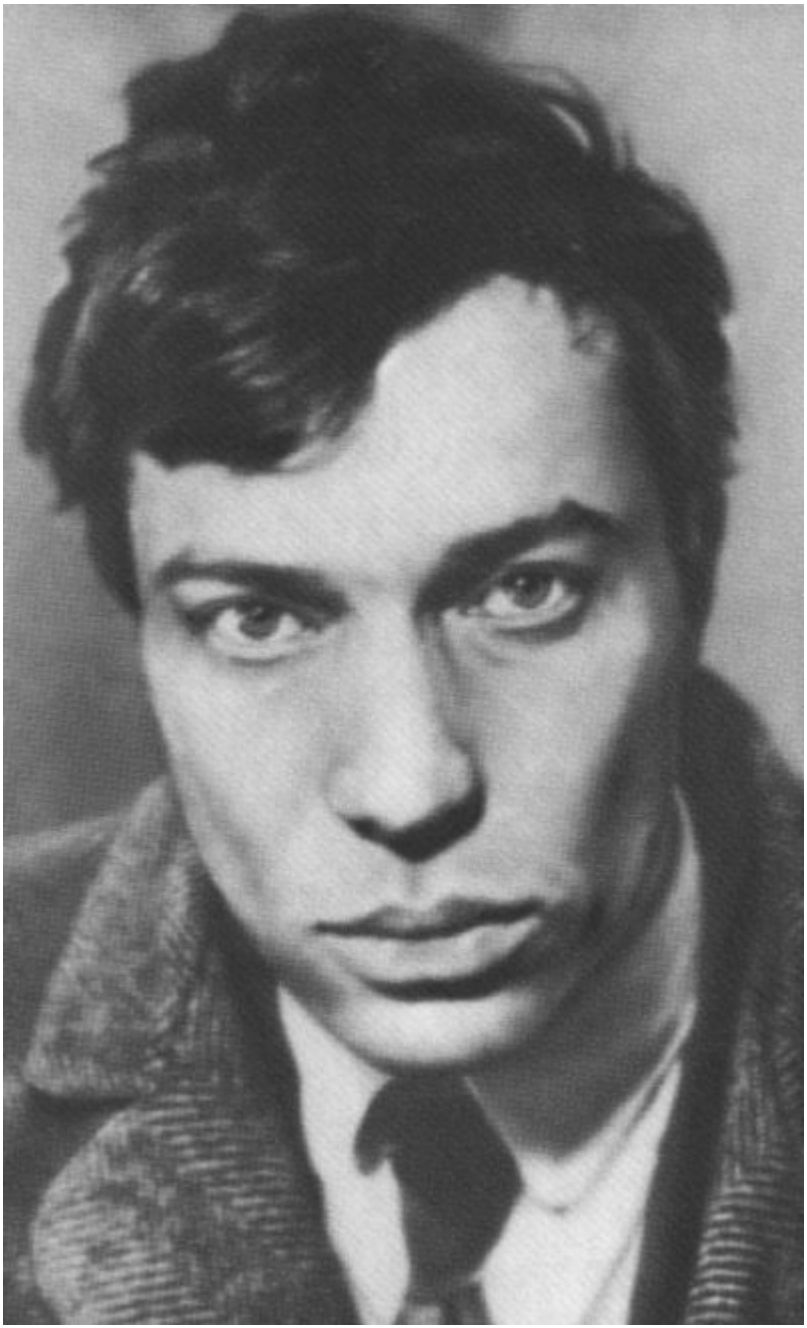


Ираклий Андроников.

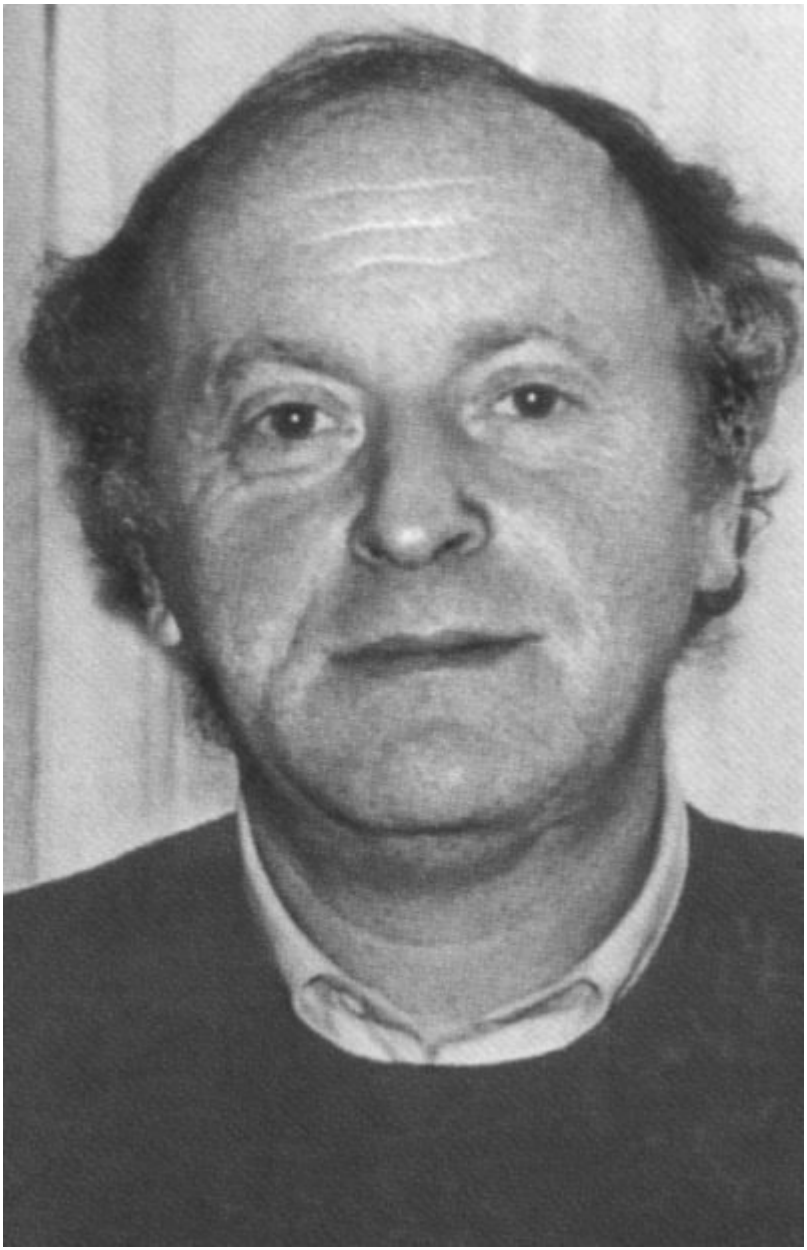
Корней Чуковский.

С внуками Яковом (слева) и Александром (справа). Москва, 1952 г.

С. Я. Маршак играет на шотландской волынке. Слева от него А. А. Елистратова и Б. Н. Полевой. Шотландия, г. Эйр, январь 1955 г.



Борис Пастернак.



Иосиф Бродский.

Марина Цветаева.

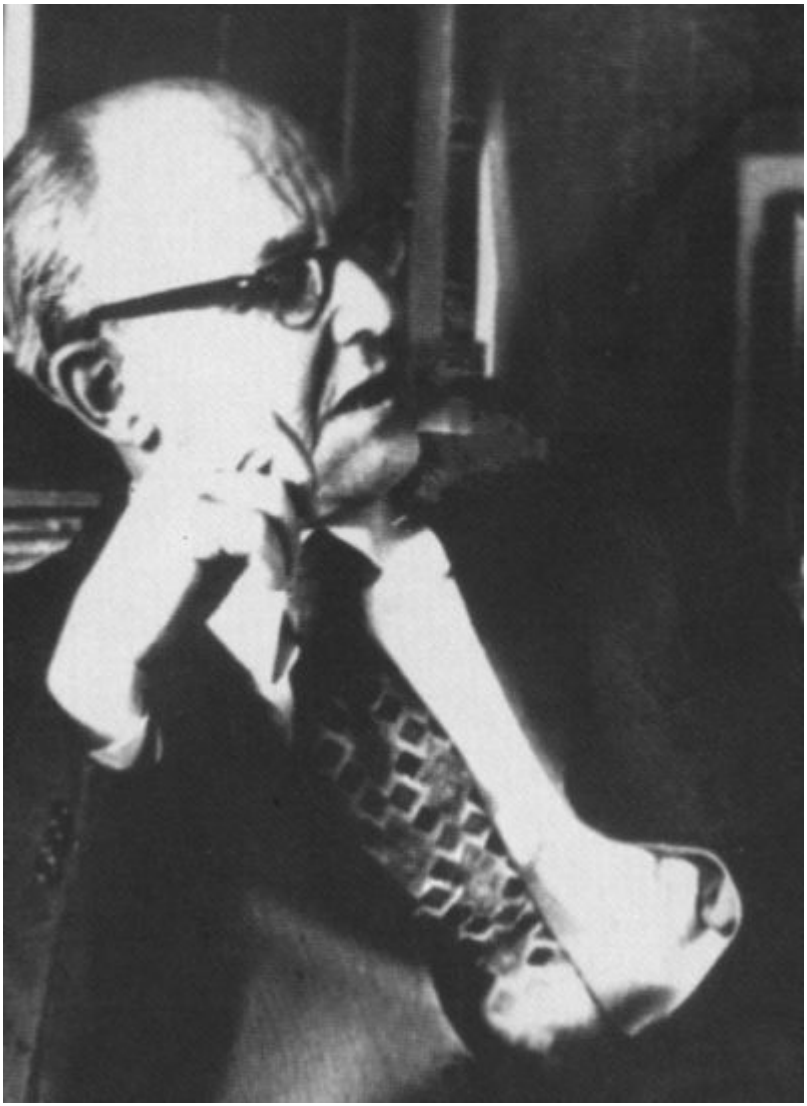
Анна Ахматова.

Семья С. Я. Маршака с Е. П. Пешковой. Барвиха. 1961 г.

С Дмитрием Шостаковичем.

С. Я. Маршак, В. Е. Субботин и В. Д. Берестов в Ялтинском доме творчества писателей. 1962 г.

Джанни Родари в гостях у Маршака. Москва, декабрь 1963 г.



Иммануэль Самойлович Маршак.

П. Н. Крылов, справа М. В. Куприянов, в середине Н. А. Соколов). Москва, май 1964 г.

Одна из последних фотографий поэта.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С. Я. МАРШАКА

1887, 3 ноября (22 октября) — В Воронеже в семье Якова Мироновича и Евгении Борисовны Маршаков родился сын Самуил.

1889 — В семье Маршаков родилась дочь Сусанна.

1893 — Семья Маршаков переезжает в Витебск. Рождение дочери Юдифи.

1894 — Семья Маршаков переезжает в Покров (под Владимиром).

1895 — Маршаки переезжают на Украину — в Бахмут.

1895 (1896) — У Маршаков родился сын Илья.

1896 — Семья Маршаков переезжает в Майдан — пригород Острогожска. 1899, 10 ноября — Самуил Маршак принят в первый класс острогожской гимназии.

1900 — Семья Маршаков переезжает из Майдана в Острогожск.

1901 — Яков Миронович и Евгения Борисовна Маршаки с младшими детьми уезжают в Петербург.

1902, 4 августа — Самуил Маршак знакомится с В. В. Стасовым.

По предложению Стасова Самуил Маршак пишет «Кантату в память Антокольского. Из Библии». Музыку к ней сочинили Глазунов и Лядов.

1903 — Самуил Маршак принят в Третью петербургскую гимназию. 1904— Самуил Маршак знакомится на даче у Стасова с Горьким, Шаляпиным, Репиным, со многими композиторами Могучей кучки. Горький приглашает Маршака в Ялту.

С. Маршак приезжает в Ялту, поступает (по рекомендации Горького) в местную гимназию.

Первая публикация С. Маршака в журнале «Еврейская жизнь». Отзыв Стасова.

1905 — С. Маршак ведет большую общественную работу по оказанию помощи голодающим детям.

Переводит с идиша стихотворение Бялика «Последнее слово». В журнале «Молодая Иудея» и в альманахе «Песни молодой Иудеи» публикует стихи «Две зари» и «Нашей молодежи».

1906 — Маршак уезжает из Ялты.

С. Маршак знакомится с Ицхаком Бен Цви — видным политическим деятелем, одним из организаторов Поалей Цион. Под его влиянием переводит гимн еврейского рабочего движения

«Ди Швур».

Пишет лирические стихи («В долинах ночь еще темнеет…» и др.).

1907 — Принят на работу в журнал «Сатирикон». Знакомится с Блоком.

В журнале «Еврейская жизнь» публикует стихи из цикла «Сионiды».

1907–1908 — Выпускает домашние журналы, где наряду с Маршаками — Ильей, Сусанной, Моисеем — публикуются Саша Черный и Яков Годин.

1908 — Встреча с Блоком.

1909 — Участвует в подготовке к изданию сборника, посвященного памяти Стасова.

1910–1911 — Активно сотрудничает с периодическими изданиями. Во «Всеобщей газете» (23 января 1911 года) публикует очерки «Зимовье на юге», «Авиация» и др.

1911, весна — Маршак отправляется на Ближний Восток с поэтом Яковом Годиным. Знакомится с С. М. Мильвидской — будущей женой.

Октябрь — Маршак возвращается в Петербург.

1912, 13 января — Маршак женится на Софье Михайловне Мильвидской.

1912–1913 — Печатается в периодических изданиях Москвы, Петербурга и Киева под разными псевдонимами («Д-р Фрикен», «Яковлев» и др.).

Октябрь — Самуил и Софья Маршаки уезжают в Англию на учебу. С. Маршак переводит Блейка и других английских поэтов.

1914 — начало Первой мировой войны. Маршак спешно возвращается на родину. По пути в Россию останавливается в Финляндии в городе Тинтерне.

29 (16) мая — У Самуила и Софьи Маршаков родилась дочь Натанель.

1915 — По пути в Россию заезжает с семьей в Велиж (Белоруссия), потом в силу обстоятельств, связанных с мобилизацией, возвращается в Острогожск.

3(16) ноября — Погибла дочь Маршака Натанель.

1916, 15 февраля — С. Маршак получил документ о непригодности к военной службе.

1917, январь — С. Маршак возвращается в Петроград.

25 февраля (10 марта) — В семье Софьи и Самуила Маршаков родился сын Иммануэль.

Конец мая — Яков Миронович Маршак в поисках работы переезжает с семьей в Екатеринодар. Вместе с ним переезжают на Кубань Софья Михайловна и Иммануэль. С. Маршак продолжает

жить в Петрограде.

В Петрограде готовится к изданию «Еврейская антология». Для этого сборника Маршак выполняет переводы из Шнеура и Шимоновича.

Октябрь — С. Маршак едет к семье в Екатеринодар.

Конец года — Умирает мать Маршака — Евгения Борисовна. Маршак возвращается в Петроград, оттуда едет в Петрозаводск, где работает в детской колонии.

1918 — Маршак приезжает к семье в Екатеринодар, знакомится там с поэтессой Черубиной де Габриак — Е. И. Дмитриевой (Васильевой по мужу).

1918–1919 — Маршак публикуется в периодических изданиях Екатеринодара.

1919 — В белогвардейском Екатеринодаре выходит сборник «Сатиры и эпиграммы» — первая книга С. Маршака.

1920 — С. Я. Маршак и Е. И. Дмитриева ведут занятия в драматической студии Клуба Красной армии.

2 ноября — Маршак избран лектором английского языка факультета общественных наук Кубанского университета.

1921 — Пишет пьесы для Краснодарского детского театра, вместе с группой единомышленников создает Детский Городок, является участником поэтического кружка «Птичник».

1922, середина мая — Семья Маршаков уезжает из Краснодара в Петроград.

В Петрограде С. Маршак получает должность завлита в Театре юного зрителя. Его заместителем назначена Е. И. Васильева (Дмитриева).

1923, 8 июля — В Ленинградском ТЮЗе поставлена пьеса Е. Васильевой и С. Маршака «Таир и Зорэ».

Начало литературной работы для детей. Выходит первая книга «Детки в клетке». По предложению К. И. Чуковского для готовящейся книжки «Сказки Киплинга», им переведенной, Маршак переводит стихи Киплинга, которыми заканчиваются сказки.

1924, апрель — Умирает Яков Миронович Маршак.

Лето — С. Я. Маршак пишет «Сказку о глупом мышонке». Параллельно с работой в ТЮЗе получил должность в библиотеке пединститута имени Герцена.

1924–1925 — Маршак работает редактором ленинградского журнала «Новый Робинзон».

1925, 27 января — в семье Маршаков родился сын Яков;

С. Я. Маршак едет в Силезию на лечение.

1926 — Маршаку поручают возглавить издательство для детей.

1927 — Маршак переписывается с М. Горьким, знакомится с Б. Пастернаком.

1929 — Маршак негласно становится признанным руководителем детской литературы. Растет число его учеников и друзей, но и врагов становится не меньше.

1931 — Маршак по приглашению М. Горького едет в Италию, в Сорренто. На даче у Горького встречается с Бабелем.

13 мая — В Ленинград приезжает Горький. Чуковский и Маршак встречаются с Горьким.

1933 — С. Маршак публикует «Мистера Твистера».

1933–1934 — Часто встречается с М. Горьким, по его поручению готовит доклад (содоклад) по детской литературе, пишет статьи для периодических изданий.

1934, август — Выступает на Первом съезде Союза советских писателей.

1935 — В альманахе «Год восемнадцатый» (№ 8) публикует статью «Повесть об одном открытии», которая стала предисловием к очеркам, написанным для детей выдающимися учеными М. П. Иоффе и М. П. Бронштейном.

1936 — Участвует в совещании по детской литературе, организованном ЦК ВЛКСМ. Знакомится с секретарем ЦК ВЛКСМ А. Косаревым.

1938 — С. Я. Маршак переезжает в Москву. Участвует в работе совещания ЦК ВЛКСМ, посвященного развитию литературы для детей. Редактирует книгу педагогов и детей заполярного города Игарки «Мы из Игарки».

1939 — С. Я. Маршак награжден орденом Ленина.

1941 — Маршак посещает 7-ю Бауманскую дивизию народного ополчения. Пишет стихи «Боевое прощание», «Детский дом в Ельне».

1942— Маршак пишет стихи и статьи о войне, вместе с Кукрыниксами создает плакаты, придумывает лозунги.

За сатирические стихи и подписи к плакатам С. Маршаку присуждена Сталинская премия.

1943 — Маршак выезжает на фронт, пишет стихи для фронтовых газет.

1944 — С. Я. Маршак награжден Сталинской премией как драматург.

1945 — Маршак награжден орденом Отечественной войны I степени.

1946, 16 февраля — Умер сын Маршака Яков.

1947 — Переводит Шекспира, Бёрнса. Готовит к изданию книгу «Сонеты Шекспира», пишет стихи «Наш герб».

1948 — Маршак завершил перевод «Песен Литовского гетто»,

опубликованных в США в том же 1948 году.

1949 — Маршак награжден Сталинской премией за перевод «Сонетов Шекспира».

1950 — Пишет много стихов для детей. Его сборник «Стихи для детей» отмечен Сталинской премией. По предложению Фадеева создает вместе с композитором Прокофьевым ораторию «На страже мира».

1953, 24 сентября — Скончалась Софья Михайловна Маршак.

15 ноября — Умер Ильин — брат Маршака.

1954, декабрь — На Втором Съезде Союза писателей СССР Маршак выступает с краткой речью.

1955, январь — Маршак отправляется в Шотландию на юбилей Бёрнса. 1956–1959 — Пишет много лирических стихов, статей, выступает против создания союза переводчиков.

1960 — В «Новом мире» (№ 1–2) опубликована повесть Маршака «В начале жизни».

1962 — 3 ноября Маршаку исполнилось 75 лет. Он часто болеет. Продолжает писать стихи, посвященные Габбе.

1963, 22 апреля — Маршак награжден Ленинской премией.

1964, 4 июля — Самуил Яковлевич Маршак скончался.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Творческий путь С. Я. Маршака длился более шестидесяти лет. Первые его стихи были опубликованы в 1904 году, последние книги («Лирические эпиграммы», «Вильям Блейк в переводах С. Маршака») — вскоре после смерти. С. Я. Маршак создал более 3000 стихотворений, написанных на русском языке; он перевел около 1500 произведений поэтов, писавших на разных языках мира: на английском и немецком, на итальянском и французском; на иврите и идише; на чешском, сербскохорватском, венгерском, финском, латышском, литовском, украинском, армянском, татарском и др. Огромное публицистическое наследие С. Я. Маршака до сих пор не только не изучено, но даже не собрано. Его книги изданы на 75 языках общим тиражом около 70 миллионов экземпляров. Тираж книг на русском языке, включая восьмитомное собрание сочинений, превысил 65 миллионов экземпляров.

Ранние публикации С. Я. Маршака

20 Таммуза// Еврейская жизнь. СПб., 1904. № 6.

Из пророков Там же. 1905. № 6.

Песни скорби. Там же. № 11.

Нашей молодежи. Там же.

Кантата в память Антокольского. В кн.: М. М. Антокольский, его жизнь, творения, письма и статьи. СПб., 1905.

Нашей молодежи//Молодая Иудея. Ялта, 1906. № 1.

Сходка. Там же. № 2.

И гроб опустился… Там же.

Молодость смелая. Там же. № 3–4.

Две зари. Там же.

Из пророка Исаи // Еврейская жизнь. СПб., 1906. № 7.

Над могилой. Там же. № 8.

Птичка. Там же. № 10.

Из Мидраша. Там же. № 11–12.

Из Сионид// Еврейская жизнь. СПб., 1907. № 1.

Зимовье на юге // Всеобщая газета. СПб., 1911. № 470.

Авиация // Всеобщий ежемесячник. 1911. № 6.

Под железнодорожным мостом // Неделя. Современное слово. СПб., 1913. № 260.

На детской выставке// Биржевые ведомости. СПб., 1913. 10 апреля. Робинзон нашего времени. Там же. 14 апреля.

Отдых моряка//День. СПб., 1914. 23 февраля.

У рек вавилонских. М.: Сафрут, 1917. (Антология циклов стихов «Сионiды», «Палестина».)

Сатиры и эпиграммы. Екатеринодар, 1919.

Васильева Е., Маршак С. Театр для детей. Краснодар, 1922. Иерусалим. В кн.: Сафрут. Берлин, 1923.

Книги о жизни и творчестве С. Я. Маршака

О С. Я. Маршаке написаны сотни, быть может, тысячи статей, по его творчеству защищены диссертации. К. П. Дульнева и Г. М. Рудяков выпустили книгу «Самуил Маршак. Библиография критической литературы на русском языке за 1923–1967 годы». Книга издана в Москве в 1970 году, сегодня уже далеко не полная. За последние 35 лет о С. Я. Маршаке написано много новых работ не только в России, но в США, Израиле. Кроме того, вышли две книги воспоминаний о С. Я. Маршаке, а также книга «Жизнь и творчество С. Я. Маршака» под редакцией Б. Галанова, И. Маршака и М. Петровского, внесшая большой вклад в маршаковедение.

Галанов Б. С. Я. Маршак. Жизнь и творчество. 4-е изд., испр. и доп. М.: Детская литература, 1965 (1-е изд. — М.: Советский писатель, 1956; 2-е изд. — М.: Детгиз, 1957; 3-е изд. — М.: Детгиз, 1962).

Сарнов Б. Страна нашего детства. М.: Советский писатель, 1967.

Смирнова В. С. Я. Маршак. Критико-биографический очерк. М.: Детгиз, 1954.

Заславский И. Самуил Маршак. Литературно-критический очерк. Киев: Днипро, 1966 (на укр. яз.).

«Я думал, чувствовал, я жил…» Воспоминания о С. Я. Маршаке. М.: Советский писатель, 1978.

Статьи о творчестве С. Я. Маршака

Бегичева А. Спектакль-сказка // Известия. 1954. 29 июля.

Белогородский Б. Сказки // Известия. 1941. 9 апреля.

Берггольц О. В кн.: Дневные звезды. Петрозаводск: Карельское книжное изд-во, 1967.

Берестов В. Судьба девяностого сонета//Литературная газета. 1959. 12 сентября.

Бухштаб В. Стихи для детей. В кн.: Детская литература.

Критический сборник / Под ред. А. В. Луначарского. М.; Л.: ГИХЛ, 1931.

Вильям-Вильмонт Н. Лирика Маршака//Литературная газета. 1947. 8 февраля.

Владимиров С. О драматургии С. Маршака. В кн.: Очерки истории русской советской драматургии. Л.; М.: Искусство, 1966.

Высотская О. Чародей слова // Советская Россия. 1962. 3 ноября.

Галанов Б. Мистер Блистер и Мистер Твистер. В кн.: Книжка про книжки. М.: Детская литература, 1970.

Гамзатов Р. Учитель, который знал все//Литературная газета. 1964. 7 июля.

Гинзбург Л. Слово о Маршаке. Алма-Ата // Простор (Алма-Ата). 1966. № 10.

Горький М. В кн.: О детской литературе. М.: Детгиз, 1952.

Заболоцкий Н. Н. В кн.: Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., Согласие, 1998.

Зинченко Г. Читая Маршака. Сб.: Детская литература, 1963. М.: Детгиз, 1963.

Ивич А. Заметки о детских стихах С. Маршака. В кн.: Воспитание поколений. О советской детской литературе. М.: Детская литература, 1967.

Карабчиевский Ю. Филологическая проза//Новый мир. 1993. № 10.

Кассиль Л. Наш Маршак//Литературная газета. 1947. 12 ноября.

Он же. Несравненный мастер//Литературная газета. 1964. 9 июля.

Он же. Читая Маршака//Вечерняя Москва. 1963. 23 февраля.

Константинов Н., Реет Б. Поэт, редактор, исследователь// Литературный Ленинград. 1934. 27 августа.

Кугультинов Д. В кн.: Утоление жажды. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1966.

Лакшин В. Слово — золото // Новый мир. 1962. № 4.

Лейбсон В. Детский Маршак. Сб.: Детская литература. 1967. М.: Детская литература, 1968.

col1_1 Маршак и ленинградская редакция в конце тридцатых годов. Сб.: О литературе для детей. Вып. 12. Л.: Детская литература, 1967.

Миндлин Э. Самуил Маршак. В кн.: Необыкновенные собеседники. М.: Советский писатель, 1968.

Морозов М. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака и Роберт Бёрнс. В кн.: Шекспир, Бёрнс, Шоу. Сборник статей. М.: Искусство, 1967.

Наровчатов С. Добрый и старый друг// Известия. 1963. 8 марта.

Он же. О редакторском искусстве Маршака. В кн.: Редактор и книга. М.: Искусство, 1963.

Оснос Ю. Добрая мудрость сказки. О сказках Маршака // Театр. 1966.

Пантелеев Л. Маршак в Ленинграде. В кн.: Живые памятники. М.; Л.: Советский писатель, 1966.

Паперный З. Вместо поэзии //Литературная газета. 1966. 24 сентября.

Паустовский К. Завещание поэта //Литературная газета. 1964. 9 июля.

Петровский М. Вначале было слово народное // Дошкольное воспитание. 1965. № 2.

Он же. Самуил Маршак// Дошкольное воспитание. 1962. № 2.

Полевой Б. Многообразный талант//Правда. 1963. 11 февраля.

Он же. Последний разговор//Литературная газета. 1964. 7 июля.

Райт Р. О новых переводах Маршака из Роберта Бёрнса // Иностранная литература. 1962. № 11.

Рассадин Ст. Единственный Маршак. В кн.: Обыкновенное чудо. М.: Детская литература, 1964.

Он же. В кн.: Так начинают жить стихом. М.: Детская литература, 1967.

Рубашкин А. Слушая Маршака // Сибирские огни. 1963. № 6.

Рыленков Н. Вдохновенное мастерство//Литературная Россия. 1963. 15 февраля.

Сарнов Б. Каждый раз — исключение//Литературная газета. 1966. 26 мая.

Он же. О новом по-новому // Пионер. 1957. № 11.

Он же. Самуил Маршак. Очерк поэзии. М.: Художественная литература, 1968.

Смирнова В. Радостное содружество искусств//Литературная газета. 1941. 20 апреля.

Она же. Разноцветная книга//Литературная газета. 1947. I октября.

Она же. Учитель, друг, мастер. В кн.: Книги и судьбы. М.: Советский писатель, 1968.

Она же. Хорошо и честно исполненный долг // Вопросы литературы. 1966. № 9.

Твардовский А. Роберт Бёрнс в переводах С. Маршака. В кн.: Статьи и заметки о литературе. М.: Советский писатель, 1963.

Он же. Слово о Маршаке//Литературная газета. 1964. И

июля.

Цветаева М. О новой русской детской книге//Детская литература, 1966. № 6.

Чуковский К. В кн.: Высокое искусство. М.: Советский писатель, 1964.

Он же. Что вспомнилось// Прометей. 1966. № 1.

Шпет Л. В кн.: Советский театр для детей. Страницы истории. 1918–1945. М.: Искусство, 1971.

Гаспаров М. Л. Маршак и время //Даугава (Рига). 1987.

Он же. Маршак и время //Литературная учеба. 1994. № 6.

Автономова С. С. Сонеты Шекспира — переводы С. Я. Маршака // Вопросы литературы. 1969. № 2.

notes

Примечания

1

Марком меня зовут только родные и близкие люди. Это имя, данное мне при рождении. Во время Великой Отечественной войны мои метрики были утеряны. После долгих перипетий (о них здесь не место рассказывать) мне выдали новые документы, в которых меня записали Матвеем. Так что теперь у меня два имени.

2

Каббала (ивр. — «наследие») — мистическое направление в иудаизме. Сокровенное учение, направленное на постижение скрытого тайного смысла Священного Писания, разгадку тайн мироздания и достижение непосредственного общения с Всевышним. Распространенная в Средневековье так называемая практическая Каббала сводилась к поиску магических формул и методов, дававших возможность совершать чудеса.

3

Тора (ивр. — «учение») — первые пять книг Священного Писания, иногда называются Хумаш, ивр. «пятирица». По традиции Тора, лежащая в основе иудаизма и содержащая все основы учения, была дана Всевышним Моше Рабейну для народа Израиля на горе Синай во время Исхода из Египта вместе с устной Торой. Поэтому в неиудейской традиции Тора называется также Пятикнижием Моисеевым, а сам иудаизм — Моисеевым Законом.

4

Талмуд (ивр. — «изучение») — второй по значимости после Танаха монументальный свод священных еврейских текстов.

5

Мишна (Мишне, Шас, ивр. — «повторение, устное обучение») — основная часть Талмуда, сборник трактатов, написанных на иврите, в которых изложена так называемая устная Тора, то есть свод обычного права.

6

Мидраш (ивр. — «толкование») — об шее название сборников раввинистических толкований священных текстов III–XI веков н. э., не вошедших в Талмуд. Мидраш — особый литературный жанр, представляющий собой притчи и легенды, отвечающие на вопросы учеников.

7

Кущи — праздник шатров, один из трех главных еврейских праздников, с 15-го по 23-й день седьмого месяца (соответствует сентябрю), в память странствия евреев по пустыне и жизни в шатрах.

8

Местечко в Подолии.

9

Псевдоним историка Раппопорта.

10

Мужчина (ивр.).

11

Маршак имеет в виду рубаи (четверостишия) персидского поэта Омара Хайяма (ок. 1040–1123), с которыми он познакомился в классическом переводе на английский язык Р. Фицджеральда.